

ISSN 0132-0637

2000

7

Октябрь

Октябрь

7 2000

ОКтябрь

НЕЗАВИСИМЫЙ
ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙ
ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛ РОССИИ

ИЗДАЕТСЯ С МАЯ 1924 ГОДА

7

2000

ИЮЛЬ

В Н О М Е Р Е:

ПРОЗА И ПОЭЗИЯ

Андрей ЖИТКОВ. Агитрейд. Повесть	3
Алексей КУБРИК. Время дождя и рассвета. Стихи	43
Максим ГУРЕЕВ. Внутри. Рассказы	46
Евгений ЧИЖОВ. Темное прошлое человека будущего. Повесть. Окончание	57
Светлана АКСЕНОВА-ШТЕЙНГРУД. Дует вселенский сквозняк... Стихи	104
Михаил ЛЕВИТИН. Рассказы	109
Владимир СОТНИКОВ. Смотритель. Рассказ	119
Леонид САКСОН. Наваждение. Стихи	124
Вячеслав ПЬЕЦУХ. Дневник читателя	127

Нечаянные страницы

Кирилл КОБРИН.
Маленькая коллекция 151

ПУБЛИЦИСТИКА И ОЧЕРКИ

Михаил ЭПШТЕЙН.
Хроноцид. Пролог к воскрешению времени 157

Александр МЕЛИХОВ, Андрей СТОЛЯРОВ.
Пока не требует поэта... 172

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

Терпение бумаги

Ольга СЛАВНИКОВА.
Призрак Лермонтова 178

Актуальная культура

Владимир БЕРЕЗИН.
Символ женщины 185

Песни познания

Изрекший: «...квинтер, син» 189

Главный редактор
Анатолий АНАНЬЕВ

Ирина БАРМЕТОВА *заместитель гл. редактора*

Редакция:

Инесса НАЗАРОВА	<i>отв. секретарь</i>
Алексей АНДРЕЕВ	<i>зав. отделом прозы</i>
Анна ВОЗДВИЖЕНСКАЯ	<i>зав. отделом критики</i>
Виталий ПУХАНОВ	<i>проза</i>

Общественный совет:

Леонид Баткин, Юрий Буртин, Алексей Варламов, Борис Васильев, Андрей Вознесенский, Игорь Волгин, Александр Гельман, Даниил Гранин, Юрий Карякин, Давид Кугультинов, Юнна Мориц, Анатолий Найман, Владислав Отрошенко, Олег Павлов, Людмила Петрушевская, Леонид Филатов, Юрий Черниченко, Родион Щедрин, Сергей Юрский.

**Из общего тиража каждого номера институт «Открытое общество»
выкупает и безвозмездно направляет в библиотеки России
и ряда стран СНГ 3850 экземпляров журнала.**

Адрес редакции: 125124, Москва, А-124, ул. «Правды», 11/13.

Телефоны: главный редактор – 214-62-05, заместитель гл. редактора – 214-63-64, ответственный секретарь – 214-34-44, отдел прозы – 214-51-68, отдел поэзии – 214-63-64, отдел критики – 214-71-34, отдел публицистики – 214-60-24.

Телефон для справок: 214-31-23.

© «Октябрь». 2000. Электронная версия журнала www.infoart.ru/magazine/October

При перепечатке материалов ссылка на журнал обязательна.

Редакция не имеет возможности
рецензировать рукописи и возвращать их по почте.

Учредитель — трудовой коллектив редакции журнала «Октябрь».

Регистрационное свидетельство № 1 от 14 августа 1990 г.

Технический редактор Татьяна ТРОШИНА.

Сдано в набор 26.05.2000. Подписано к печати 16.06.2000. Формат 70x108¹/₁₆.
Офсетная печать. Усл. печ. л. 16,80. Усл. кр.-отт. 17,50. Учетно-изд. л. 21,61.
Тираж 8460 экз. Заказ № 1423. Цена 36 руб.

ОАО «Производственное объединение «Пресса-1».
125865, ГСП, Москва, А-137, ул. «Правды», 24.

Андрей ЖИТКОВ

А г и т р е й д

ПОВЕСТЬ

Луна была полной. Она висела над горной грядой, ярко освещая большую долину. Деревья словно плыли в белизне светящегося лунным светом тумана. Туман рвался о кустарник и лохмотьями стекал в низины, где лениво журчали арыки. Вода стеклянно блестела, луна в ней то вытягивалась по течению белой тряпкой, то съеживалась до размеров точки, похожей на звезду, то дрожала, напоминая куриное яйцо.

Он прислушался, отодвинул широкий засов и потянул на себя массивную, почти полуметровой толщины деревянную дверь со скошенным краем. Дверь заскребла о каменные плиты ржавым железом, которым был обит ее низ. «Блин!» — прошептал он и на несколько секунд замер, ожидая, что сверху слышатся шаги и клацанье автоматов, но было тихо, только ветер слегка покачивал серебряные бутоны цветов на клумбе да стрекотала одинокая цикада. Он знал, что часовые в это время спят. Он тоже спал, когда приходилось стоять на башне с северной стороны. Минут через десять после того, как разводящий уводил смену, глаза переставали различать ветки деревьев, а затем и дорогу через сливовую рощу к посту, веки тяжелели, скатывались вниз, и наступала темнота. Но сейчас он слышал и скрип ступеней под ногами разводящего, который спускался на первый этаж в караулку, и шелест листвы, и мягкий стук грецких орехов о крышу... Грецкий орех рос под стеной поста. Сколько ему было лет, никто не знал, но его крона раскинулась выше укрепления из мешков с песком и деревянной будки, надстроенной на крыше. Орехи не успевали созреть и даже вырасти. Сбивали палками, стучали по стволу прикладами автоматов, толкали бронетранспортером — кто во что горазд. Сдирали зеленую кожуру, долбили скорлупу камнями, и ели-ели, ели-ели... не могли наесться, потому что ни к тушенке, ни к кашам, ни к картофельному «клейстеру» давно никто не прикасался. Какая, к черту, тушенка, когда лето и первый красный виноград уже сморщился и высох на лозе, когда вот-вот нальются желтизной яблоки в роще за минным полем и повеет теплым, пока еще едва уловимым ароматом первого вызревшего персика! Из-за персиков-то и поставили в прошлом году мины. Ушли двое. Было где-то около трех, солнце давно сожгло листву, и часовые под железными козырьками таяли, как свечки. Если они даже и видели этих двоих, люди показались им не более чем миражом. Один был сержантом, ему оставалось три месяца до дома. Говорили, что он уже купил себе и парадку, и значки и даже хвастался бабой, которая его будто бы дождалась... Второго он взял, чтобы нести персики. У него были вещмешок и большая коробка из-под сухпая. Хватились их на вечерней проверке, но до утра ни ротный, ни замполит не решились вывести людей на поиски — боялись засады. В полк сообщили утром, и через час пришло подкрепление. Растянувшись в цепь, они шли между деревьев, касаясь плечами склоненных под тяжестью персиков веток. Большие плоды мягко падали в черную траву и лежали в ней бордовыми шарами, как елочные украшения из

папье-маше. Они быстро приседали, совали персики за пазуху и шли дальше. Мягкие плоды давились о живот и «хэбэ», липкий сок стекал в трусы, на гимнастерках расплывались темные пятна.

Из двоих нашли только одного, с коробкой и вещмешком. Он лежал на краю роци в высохшем арыке под листьями и травой. Никто бы и не заметил его, если б не взводный. Он споткнулся о ботинок. Парню повезло: его просто зарезали. Наверное, духи решили, что сержант — важная птица, и взяли его в горы. А может, засыпали листьями где-нибудь подальше, и они просто не смогли его найти? Кто знает? Мираж...

Он протиснулся в щель между дверью и стеной. Затвор одного из автоматов цапнул о камень. Луна была такой яркой, что, оказавшись снаружи, он тут же сощурился и скользнул в тень дерева. Орех сорвался с ветки, шумно пробил листву и утонул в белой пыли. «Как в воду канул», — подумал он и зашагал по дороге, натянув ремни автоматов на плечах, чтоб не бренчали. Уже не боялся ни лунного света, ни часовых на башнях за спиной.

Ноги по щиколотку тонули в пыли. Он шел медленно, внимательно глядя на дорогу, — пытался увидеть мины. Но в тонкой, почти прозрачной пыли, которая поднималась вслед за ним небольшими белесыми облаками, ничего нельзя было разглядеть. Саперы здесь не работали.

Пятки давно потрескались и болели, да еще гвозди вылезли крохотными шляпками внутрь ботинок, расцарапывая трещины в кровь, но он не обращал на такие мелочи внимания, да и кто из них обращал? Главное — цел пока. Неожиданно тихо рассмеялся, потому что подумал о врагах, чьи автоматы сейчас висели у него за спиной. Он представил себе их растерянные, испуганные лица, бегущие глаза, выступивший на лбах холодный пот. Они бормочут себе в оправдание что-то жалобное, а рот взводного кривится, и он хлестко бьет их по щекам своей маленькой рукой с кольцом на безымянном пальце. При желании он мог бы забрать оружие отделения, но не сделал этого — пожалел пацапов своего призыва, — взял только у тех, кто крепко попортил ему крови за полгода, ну и свой АКС, конечно, — по два автомата на каждом плече.

Растяжку чуть выше щиколотки он почувствовал слишком поздно — проволочка натянулась, дрогнула, раздался щелчок, и тут же с обочины дороги одна за другой с воем стали вылетать ракеты. Едва взлетев, они плюхались в пыль и светились в ней зелеными, красными и желтыми огнями, напоминая гигантских светляков. Он успел прыгнуть с дороги в кусты до того, как все ракеты вылетели из тубы сигнальной мины. Тугие ветки хлестнули его по лицу, и он почувствовал, как зажгло правую щеку, поползла по шее капля крови. Зная, что оставаться рядом с дорогой нельзя, он рванулся вперед. Кустарник затрещал. С поста раздалось запоздалое: «Дрешт!», и тут же воздух вспорола длинная пулеметная очередь. Стреляли с северной башни, с той самой, на которой всегда стоял он. Слышно было, как пули роем пронесли высоко над головой и осыпали листву с ветвями где-то далеко впереди. Следующая очередь была короче и точнее. Пули подняли столбы пыли на дороге и обочине, там, где все еще тлели сигнальные ракеты. Он пополз вперед. Автоматные стволы за плечами через панаму больно тыкались в затылок. Он скинул оружие и потянул его за ремни по траве. К пулемету с северной вышки присоединился тот, который стоял на бронетранспортере, окопанном чуть поодаль от стены в винограднике. Сверху густо посыпались ветки. Он распластался, вжался во влажную, пахнущую гнилью землю, но только на мгновение, пока слышал пение пуль над головой, и тут же пополз дальше, матеря себя за то, что не заметил сигнальной мины. Ремень одного из автоматов в левой руке зацепился за корягу. Он с силой дернул несколько раз, но держало крепко, и пришлось выпустить ремень из руки. Последним к смертельному хору присоединился крупнокалиберный пулемет на «бэтэ-

эре»; видимо, до сих пор его лихорадочно заряжали — в винограднике несколько раз низко и глухо стукнуло, словно тяжелой кувалдой ударили по обернутой в войлок наковальне, и тут же в разные стороны полетели крупные и мелкие щепки, воздух засветился от раскаленного металла, ствол сливы треснул и повалился наземь, накрывая его. Он успел откатиться на метр, ветви небожно ударили по спине. Он понял, что сейчас его хватятся, пойдут искать, а потом будет плохо. Он даже представил себе, как Чуча бьет его в поддых, как это он обычно делал, и перевернулся на спину, боясь увидеть и Чучу, и Хомяка, и Духомора, склонившихся над ним, чтобы за шкирку вытащить из-под сливы. Вверху мелькали светящиеся точки. Трассирующие пули свистели, выли и жужжали на разные лады, сладко пахло свежесрубленным деревом и гарью. Из-за трассеров звезд в небе не было видно. Он лежал, укрытый густой листвой, и слушал, как стук сердца уходит во влажную землю и возвращается, заставляя траву вокруг содрогаться и стряхивать с себя росу. Неожиданно свист, вой и пение прекратились, видимо, где-то там, метрах в ста от него, за стенами крепости, ротный отдал приказ прекратить стрельбу. Снова стали видны звезды в небе. Он выбрался из-под ветвей, закинул автоматы за плечи и побежал, стараясь углубиться подалее в рощу. Среди зелени его никому никогда не найти — хоть всю армию посылай!

Впереди был большой, метра в четыре шириной, арык. Мутная вода бойко бежала по руслу, облизывая глинистые берега. Он устало опустил на землю, скинул оружие, подполз к берегу и сунул голову в воду, затем приподнялся на руках, несколько раз фыркнул и снова опустил голову в поток. Откатился в сторону и лег, раскинув руки. Он пробежал километра три, а может, и пять — «хэбэ» прилипло к ногам и спине. Прикинул, что дорога на Кабул должна быть слева, ближе к горной гряде. «Дневальные на ужин схавали снарядный ящик винограда, теперь только успевай штаны снимай!» — злорадно подумал он, подтянул к себе автоматы и решительно встал. Сам-то он винограда не ел, зная, что ночью идти. Будет еще в его жизни виноград! Автоматы звонко ударились друг о друга. Он поднял все три над головой и стал осторожно спускаться в арык. Склон оказался скользким, но он смог устоять на ногах и побрел в потоке, чувствуя, как ботинки увязают не то в глине, не то в иле, а течение клонит тело, как тростинку, пытаясь положить на воду. Посреди потока он все-таки не устоял и нырнул с головой. Его АКС выскользнул из рук, он попытался ухватить его за ствол, но автомат холодной рыбой ушел на дно. Вскинул руки, выбросил два оставшихся автомата на берег, снова выматерил себя за то, что не догадался сразу перебросить оружие, зажмурился и присел, стараясь нащупать на дне свой АКС. Как только оказался под водой, его ноги тут же оторвало ото дна — посредине арыка течение было сильнее, чем у берегов, — подхватило, понесло, он торопливо вынырнул, снова оперся ногами о дно и понял, что автомат ему не найти. Течение оттащило его метров на двадцать от того места, где он выкинул оставшиеся автоматы, и он испугался, как бы кто их не нашел. Он торопливо добрел до берега, вскарабкался наверх, с головы до ног вымазавшись в глине, бросился к оружию, не вылив воды из ботинок. Слава богу, автоматы были на месте. Он устало опустил на траву, снял ботинки. Вылил воду, затем разделся догола, тщательно отжал «хэбэ», трусы, панаму. Одедся. Одежда неприятно холодила тело, но он знал, что через час, когда солнце встанет, ему сделается жарко; «хэбэ» мгновенно высохнет, точно так же, как земля, трава, деревья и камни, вся вода уйдет, и останутся только песок, ветер и зной, от которых никуда нельзя будет скрыться.

Один из оставшихся автоматов принадлежал Чуче. Чуча выцарапывал на металлическом прикладе насечки о якобы убитых им душманах. На самом деле насечки эти были для понта, для несмышленных чижиков, чтоб уважали и боя-

лись. По жизни Чуча был трусом. Однажды он видел его в рейде: рота начала спускаться с хребта, когда с горы напротив заработал пулемет. Все, конечно, запрыгали, как зайцы, ища укрытия за камнями с другой стороны склона. Он залег за скальным выступом, передернул затвор, прицелился и дал короткую очередь по горе. Сбоку мелькнуло что-то большое, мешковатое, в маскхалате. Вниз со стуком посыпались камни. Он оглянулся и увидел Чучу, который на животе съезжал по склону, пытаясь за что-нибудь уцепиться. В его глазах был животный страх. Наконец ему удалось ухватиться за колючий кустарник, он поднялся и на дрожащих ногах стал карабкаться вверх, не замечая ни оцарапанного в кровь живота, ни разодранного маскхалата. Вскарabкался, залег рядом, прошептал торопливо и нервно, оправдываясь за свой страх: «Одна, сука, над ухом прошла в миллиметре, а две над башкой! Если б я не это... Склон крутой! Как не задело, а? Я их, пидоров, сделаю!» — и одной очередью выпустил весь рожок — на кого бог пошлет. А за то, что видел он Чучин страх, пришлось потом хлебнуть горя...

Неожиданно ему в голову пришла шальная мысль. Один автомат он повесил на плечо, а Чучин взял в руки, отжал пружину, открыл крышку ствольной коробки... Крышка полетела в одну сторону, пружина в другую. Затвор бултыхнулся в арык. То, что через минуту осталось от Чучиногo автомата, он забросил в гущу кустарника и зашагал своей дорогой.

В открытые передние люки бронетранспортера двумя густыми столбами струилась желто-серая пыль. Через окуляры пулеметных прицелов полковник смотрел на прыгающую перед глазами дорогу. Вот на нее вывернула старенькая «тойота», груженная деревом, стала осторожно огибать выбоины от мин; полковник чуть крутанул ручку, и «тойота» оказалась в прицеле крупнокалиберного пулемета. Водитель «тойоты» тут же резко затормозил, выскочил из машины и бросился к придорожной канаве. Полковник захохотал: «Живи, гнида!» Водитель бронетранспортера обернулся. «Ты из меня всю душу вытрясешь! Сколько еще до поста?» — крикнул полковник, отрываясь от окуляров. Под глазами у него, как дужки от очков, обозначились грязные разводы. «Операция была. Наша артиллерия дорогу долбила, — объяснил водитель. — Через пятнадцать минут будем». Полковник опять припал к окулярам, крутанул пулеметную башню — перед глазами замелькала густая зелень. Он попытался вспомнить фамилию сбежавшего с поста чирика. Кычанов Дмитрий Александрович, тысяча девятьсот шестьдесят шестого года рождения, уроженец Ленинграда. По характеристикам командиров в учебке зарекомендовал себя как дисциплинированный и ответственный курсант. Им-то что — лишь бы отписаться! Полковник вспомнил фотографию из личного дела. Светлый, чуть оттопыренные уши, вытянутое лицо, выразительные — даже на снимке видно — темные глаза, прямой нос. Таких на гражданке девки любят. Полковник вздохнул. А если его духи умыкнули, как тех двоих? Дневалил себе парень, дневалил, захотелось ему виноградику, сливок... да мало ли, что может захотеться изнеженному мамой ленинградскому пареньку, может, и анаши. Обкурился, отворил калитку, а там его уже с пыльным мешком друзья поджидали. Четыре ствола, сукин сын, унес! Неужели продать хотел? Лишь бы найти его, живого или мертвого, битого-небитого, лишь бы найти ублюдка! А там разберутся! С живым — особисты, с мертвым — еще кто, повыше... С мертвого спрос невелик: отпишет замполит матери письмо, мол, погиб ваш сын, выполняя интернациональный долг, и полетит «груз двести» через весь Союз до славного города Питера. И кого-нибудь из земляков-солдатиков отправит замполит тот груз сопровождать. Кому горе, а кому — отпуск на две недели, с мамой повидаться, водки попить... Хорошо, что у него дочери, и никогда не придется им ничего такого видеть и знать. Ксюшка в

восьмой класс пошла, Полинка в следующем году тоже в школу пойдет. Может, он к тому времени уже вернется — лишь бы замена вовремя... Полковник вспомнил, как полтора месяца назад, во время отпуска, заплетал младшей косички на пляже под Туапсе, и тяжело вздохнул.

«Приехали!» — крикнул водитель. Полковник пробрался вперед, встал на спинку водительского сиденья, вылез на броню. Впереди был пост: огромный каменный дом-крепость высотой в три этажа с окошками-бойницами, с надстроенными по углам башнями и деревянными вышками, обложенными мешками с песком. Под стенами окопались бронетранспортеры, чуть поодаль дымилась полевая кухня, повара в чересчур белоснежных колпаках и комбинезонах хлопотали у котлов. «Готовились, сукины дети!» — усмехнулся полковник.

Откуда-то вдруг выскочил капитан в выцветшем, почти белом «хэбэ», бросился наперерез бронетранспортеру. Водитель затормозил. «Здравия желаю, товарищ полковник!» — козырнул ротный. Полковник спрыгнул с брони, не подал руки, не отдал чести, молча двинулся к дому-крепости.

— Когда? — бросил он сурово.

— Сигнальная сработала без четверти два. Мы начали массированный обстрел, но что Кычанова нет на месте, выяснилось только утром. — Слова капитан проговаривал четко, как в скороговорке.

— В своем репертуаре. — Полковник спрыгнул в небольшое углубление под стеной, согнулся и прошел в низенький проем. Он оказался во дворе, выложенном каменными плитами. Посреди двора стояли деревянные столы и скамьи. Завтрак недавно кончился, и столы еще не были убраны — над ними трудились чижики с тряпками. На второй этаж, где располагались казармы, вели пологие лестницы. По лестницам шныряли дневальные, создавая видимость большой работы. У массивных дверей с противоположной стороны двора была разбита небольшая клумба. На ней рос пышный розовый куст и еще какие-то синие цветы. Рядом с клумбой находился каменный колодец. Двое замызганного вида дневальных наполняли бак водой.

— Первый, второй взвода ведут прочесывание местности, третий на охране, — торопливо сообщал ротный. — Перекусить с дороги не хотите?

— Цветочки выращиваете? — Полковник кивнул на клумбу.

— Так точно, товарищ полковник! Среди солдат садовник выискался — Милюзин из второго взвода. В свободное от службы время, так сказать... Ягненка на вертеле сделали. Только-только. — Капитан сам слотнул слюну.

— Ты мне этого садовника отдай, пускай вокруг штаба роз насадит, а я тебе взамен двух чморея пришлю. — Полковник направился к лестнице. — Где эти, которые свое личное оружие просрали?

— На губе. — Капитан кивнул на каменные ступени в дальнем углу двора, которые вели к ушедшей под землю двери в стене.

— Давай их мне сюда!

Капитан побежал к двери, на ходу вытаскивая из кармана ключи.

По ступеням поднялись трое: младший сержант и двое рядовых. Они жмурились от яркого света. Капитан скомандовал им, и они зашагали по плитам, стараясь держать строевой шаг.

— Построились в шеренгу! — приказал полковник. — Представьтесь!

— Младший сержант Колмаков... Рядовой Чучерин... Рядовой Дохаев, — отчеканили трое.

— Ну что, капитан, вам все ясно? — язвительно спросил полковник.

— Нет, — честно признался ротный — он стоял в шеренге вместе со своими подчиненными.

— Объясняю для особо одаренных: трое старослужащих, трое простых русских парней, — полковник выразительно посмотрел на крючковатый нос До-

хаева, — взяли себе в моду издеваться над другим простым русским парнем Кычановым только из-за того, что прослужили они на год больше. А Кычанов, не будь дураком, решил их за это наказать. И наказал, потому что если в течение суток эти трое не найдут свое оружие, то я лично отдам их под трибунал! Судить их будут в Ташкенте, и пусть кто-нибудь попробует доказать суду, что они не продали автоматы душманам за триста пакетов героина. Почему они не на проверке?

Капитан замялся:

— Я хотел, чтобы...

— Круг-гом! Шагом марш искать свое оружие!

Трое развернулись и суетливо побежали к дверям. Полковник ступил на скрипучую ступень лестницы.

— Пошли за мной!

Они вошли в небольшую темную комнату. Густой луч света, проникающий через открытую дверь, освещал свежеструганный пол, аккуратно заправленную солдатскую кровать, стол, граненый графин на столе со стаканом вместо пробки, два табурета. Полковник опустился на табурет, налил воды. Выпил залпом. Водворил стакан на место.

— Хорошая у тебя вода, капитан, зубы ломит, — произнес он, глядя мимо застывшего на пороге ротного. — Через полчаса придет батальон десантуры из дивизии, три звена «вертушек» пробомбят подступы к предгорьям. Так что ты о своем Кычанове забудь. Если эти мудаки не найдут оружие, пришлешь их ко мне в полк. Жди особистов, расследование будет. А еще говорят, у тебя самогонка знатная.

— Да что вы, товарищ полковник! — засмутился капитан, соображая, у кого в полку такой длинный язык.

— Да ладно, на клумбы выливать не буду. Тащи пол-литра, обмоем очередное дезертирство на твоём посту. Да, и что ты там вякал насчет ягненка только-только?

— В минуту сделаю! — Капитан исчез.

Было слышно, как он сбежал по лестнице, застучал подкованными ботинками по плитам. Полковник лег, не снимая сапог, закинул ноги на спинку кровати. Его веки опустились. Перед глазами поблескивало предзакатное море, слышался визг детворы, где-то вдали едва слышно мурлыкал приемник, волан музыкально ударялся об упругую сетку ракеток, звонко смеялась женщина на лежаке. Он умело заплетал косичку, перебирал в пальцах пряди волос. «Полина, посиди минуту спокойно, не вертись!» «Пап, Ксюха уже пятый раз пошла, а я?!» — Голос намеренно плаксивый, губы надуты, хорошо бы несколько слезинок для верности, но не хочется. «Ксюха уже взрослая. Хорошо, пойдешь, пойдешь. Зато волосы потом виться будут». «Кудряшками?» «Кудряшками». «Ну тогда ладно». Где-то далеко грохнул первый взрыв. Стакан на графине нервно заплясал, залился мелодичным звоном, слегка трянуло кровать. Первое звено «вертушек» начало бомбить предгорье.

Он лежал в кустах у обочины, наблюдая за дорогой. На дороге было оживленно: то и дело мелькали «уазики», грохотали тяжелые «КамАЗы» и «Уралы», проползали груженные афганские машины, все расписанные арабской вязью, украшенные кистями, бубенчиками, какой-то мишурой; одни тащили на себе ящики с виноградом, другие — иссушенные солнцем, побелевшие стволы деревьев, третьи — людей, которых было набито в кузове, как сельдей в бочке, четвертые — блеющих на всю округу овец. Было жарко. Зной плыл над дорогой, ощутимый, плотный.

Он лежал уже третий час. В горле пересохло, мелкие мухи то и дело мелькали перед глазами черными точками, пытаясь сесть на потные щеки и нос. Он

сдувал их, они тут же возвращались. Спина была мокрой. Он вспоминал об арыке и мечтал вернуться к нему, упасть в одежде в поток и поплыть по течению, раскинув руки и ноги. Ему надо было перейти через дорогу. С той стороны была зона влияния афганского полка, сказать проще, там не было никого и ничего: стояли разбитые артиллерией и «вертушками» кишлаки, валялись ржавые остовы машин и «бэтээров», одичавший виноград оплетал стволы деревьев. Люди, жившие здесь, стали тенями. Они растворились в горячем сладком воздухе, как утренние звезды в воде. Только изредка заметишь краем глаза мелькнувший в листве зеленой паранджи, да в безветрие качнет ветвями барбарисовый куст. Раньше они часто ходили сюда на операции, прочесывали долину, но каждый раз их встречали остывшие очаги, зияющие чернотой пробоины в стенах домов, ветер, посвистывающий в хлевах и курятниках. Нет, однажды, правда, повезло: наткнулись на никем не разграбленный дукан. Тяжелый снаряд разрушил стену двухэтажного дома. На первом этаже была лавка с массивным дубовым прилавком, с широкими полками, на которых стояли банки с чаем, карамелью, жевательной резинкой, коробка с одноразовыми зажигалками, тут же пристроились канистры с маслом, ящики с «Фантой» и «Кока-колой», между полками были протянуты бечевки, на которых болтались брелки, дамские часики на цепочках, дешевые женские украшения, какие-то безделушки, рядом с прилавком стоял новенький красный мопед с большим мягким сиденьем. Висящее в воздухе колесо мопеда тихонько покачивалось от ветра.

«Ну-ка, ша, чижи! — грозно сказал Чуча. — Знаем мы эти штучки! Рискнем, Духомор?» Дохаев кивнул, и они вдвоем направились к дукану, внимательно глядя под ноги. Исчезли за прилавком, снова появились, осмотрели полки, мопед, облазили все углы. Наконец Чучерин достал из ящика бутылку «Фанты», откупорил ее, сделал несколько больших глотков, сплюнул и сказал важно: «Проверено: мин нет. Чуча и Духомор». Тут же все рванули к дукану. Сколько он простоял без стены — неизвестно, но только на банках, бутылках, канистрах был толстый слой пыли, и «Фанта» оказалась противной на вкус. Под полками они обнаружили два ящика со сгнившими мандаринами и мешок почерневших земляных орехов. Часики не ходили, зажигалки не зажигались, но было приказано все добро сгрести в вещмешки, донести до «бэтээра» и хранить как зеницу ока. Самым ценным приобретением был, конечно, мопед «Судзуки». От взрыва он почти не пострадал, если не считать разбитого стекла на спидометре. Чижики взвалили мопед на себя и бегом потащили его к «бронне», благо техника стояла всего метрах в ста на грунтовой дороге. Чуча, убедившись, что начальства рядом нет, тут же заправил «Судзуки» бензином из бронетранспортера, что-то подкрутил, подрегулировал и через несколько минут уже носился с воплями взад-вперед вдоль колонны, поднимая пыль столбом... Мопед они схоронили под матрасами на днище бронетранспортера, но на следующий день его все равно отобрал начальник штаба. Настучал кто-то...

Высоко над головой прошли две «вертушки». Он проводил их взглядом. Операция. Стоило бы дожидаться темноты, а на той стороне дороги можно заночевать в подвале какого-нибудь разрушенного дома, но по такой жаре, с неполной флягой — нечего даже и думать просидеть здесь целый день. Дорога опустела, и он уже приподнялся на руках, чтобы рвануть вперед, но тут из-за поворота с рурчанием выполз бронетранспортер, за ним второй, третий... Шла колонна. Точно — операция. Пошли на Чарикар. Интересно, какой полк? Он стал считать «бэтээры» и машины, но скоро сбился. Колонна прошла, пыль улеглась. Он отвинтил крышку фляги, наполнил ее, высосал пахнущую резиной воду, подержал ее несколько секунд во рту, чувствуя, как смягчается высохшее небо, и осторожно проглотил. Сзади послышался легкий шорох, он попытался обернуться и успел заметить боковым зрением бородатого человека, но страшный удар

обрушился ему на голову, в ухе что-то треснуло, не было ни искр из глаз, ни цветных кругов — сразу же угольная чернота и беспомыслие.

Их было двое. Бородатый был одет в маскхалат, на ногах — легкие сандалии, в руке он держал китайский автомат. Второй — безусый паренек лет пятнадцати в традиционной афганской одежде и босиком — опустил на землю длинноствольную винтовку с большим прикладом, присел рядом с шурави, глянул на его ухо, из которого струилась кровь, тонкими пальцами приподнял правое веко. Бородатый сделал ему знак, парень закинул трофейный автомат на плечо, они взяли Митю за ноги и поволокли за собой в глубь рощи. Там, где он лежал, остались панамы и незакрытая фляга. Из фляги в траву тонкой струйкой вытекала вода. Через несколько секунд паренек вернулся, поднял и флягу, и панаму. Панаму надел на голову, из фляги сделал глоток, закрутил крышку, потряс флягу в руке, проверяя, сколько воды осталось, внимательно оглядел место и убежал, легко и бесшумно, едва касаясь босыми ступнями земли.

Они шли по дороге, поднимая густую пыль. Чуча вынул из кармана пачку «Примы», закурил.

— На понт берет полкан! Нету на нас никакой вины! На чморе вся вина, он дневалил! — Чуча выдул струю дыма и усмехнулся: — Представляю, что будет, если его поймают!

— Птичке не долго виться над полями, вот и коршун закружился... — Колмаков глянул на оторванную лычку на левом погоне. — А кто сказал, что ротным можно руки распускать?

— Все они шакалы, — констатировал Чуча. — Ты че, Духомор, ссышь?

— Э-э, губу не хочу, суд не хочу. Меня дома ждут. Невесту нашли. Брат машину обещал. — Дохаев с досадой щелкнул пальцами. — Знал бы, в первый день в дерьме утопил, чмо!

— Здесь, — сказал Чуча, и они свернули с дороги к порубленному пулями кустарнику.

Найти своих не составило большого труда — трава в роще была хорошо вытоптана. Минут через сорок они нашли их у арыка. На берегу лежали аккуратно сложенные «хэбэ», солдаты плотной цепью стояли поперек потока по грудь в воде. Сначала нырял тот, который стоял у берега, затем второй, третий... Труднее всего было тем, кто находился посередине. Выныривали, отфыркивались, тарасили глаза. Двигались вдоль по течению. Взводный прохаживался по берегу взад и вперед. «Дно как следует щупайте! Ногами, ногами топчите! Кто найдет, банку сгущенки на ужин!» Чуча рассмеялся — издали стриженные затылки и загоревшие плечи солдат походили на поплавки, которые поочередно окунаются в воду, словно на крючки попала гигантская рыбина и трепещет всем телом, пытаясь вырваться. Взводный увидел «стариков» и удивился. «Ну-ка, бегом сюда!» Они лениво подбежали к лейтенанту.

— Вам же всем губа до особого распоряжения!

— Командир полка отменил, — веско сказал Колмаков. — Приказано искать оружие.

— Это чье? — Взводный указал на траву, в которой лежали детали от автомата.

Чуча присел на корточки, поднял ствол с прикладом, сказал обрадованно:

— Так это ж мой! Вот же насечки!

— Угу, насечки! — Взводный усмехнулся. — А затвор с бойком где? В километре все облазили. Он их и утопить мог. А ну-ка, скидывайте с себя всё — и марш в арык!

— Товарищ лейтенант, я простуженный, у меня освобождение, — тут же запричитал Духомор.

— Рядовой Дохаев, если через минуту я вас не увижу в воде, отправитесь на гауптвахту на трое суток, и никакой командир полка вам не поможет!

— Ой, как страшно, блин, чижик гребаный! — пробормотал себе под нос Дохаев, снимая ботинки. Он разделся до трусов, подошел к берегу, попробовал ногой воду. Чуча подлетел сзади, толкнул его в спину, и Духомор с воплем полетел в арык. Он вынырнул, погрозил Чучерину кулаком. — Я твой нюх топтал, понял, да?

Чучерин нырнул в воду, вынырнул метрах в десяти ниже по течению, перевернулся на спину и поплыл, радостно крича: — Эх и хороша водичка! Давай сюда, лейтенант!

Он очнулся от боли. Сначала ему даже показалось, что правой половины головы нет вовсе, — прямо от переносицы большая рана, из которой что-то стекает на землю, но не кровь, а жидкость, похожая на расплавленный свинец; она струится и вытекает из несуществующего уха. Открыть удалось только левый глаз. Он увидел перед собой потную шкуру, которая подрагивала, лоснилась и крепко пахла, понял, что его везут в гору и что лежит он на животе поперек спины с выступающими позвонками, а перед его глазом ослиный бок, и что руки крепко связаны кожаным ремнем, вот они внизу, под ним, онемевшие, синюшного цвета, и что правая часть головы на самом деле существует, она распухла и звенит; попробовал повернуть голову, чтобы увидеть того, кто ведет осла в гору, но движение это, усиленное тряской, неожиданно вызвало приступ рвоты. Его вывернуло, и в глазу опять потемнело, но сознание не ушло, он увидел, как кадр негатива, молодого парня-подростка, который с любопытством всматривается в его лицо. Парень что-то громко крикнул, и осел встал. Парень потянул Митю за «хэбэ» вниз, и он кулем свалился на землю. В глазу посветлело. Теперь был виден раздутый живот ишак, усыпанный камнями склон горы, уходящей в небо, и само небо, выгнутое, как дно стеклянной банки, с белесыми проплешинами веретенообразных облаков. Ишак нервными движениями хвоста отгонял от себя назойливых мух. Афганец сел перед ним на колени, свинтил крышку, приложил флягу к его распухшим губам, потом остатками воды обрызгал его голову. От теплых капель боль стала не такой острой, расплавленный свинец остыл, затвердел, сжался в комок. Над ним склонился второй, со смоляной бородой, что-то сказал парню, и парень кивнул в ответ. Он понял только слово «бурбахай» — «отваливай»: мужчина отправлял парня куда-то. Митя медленно поднял связанные руки, с трудом пошевелил пальцами, пытаясь показать, что больше не может. Мужчина ткнул стволом автомата в пряжку Митино ремня, парень расстегнул ремень, рывком выдернул его из-под лежащего шурави, нацепил на ремень Митину флягу и опоясался поверх афганской рубахи, причем звезда на пряжке оказалась вверх ногами. В одну руку он взял винтовку, в другую автомат и стал торопливо карабкаться по склону, ловко избегая острых граней скал и камней. Чернобородый показал Мите, что он должен подняться. Митя встал, склон тут же закачался, поплыл, желая опрокинуться набок, и ему пришлось ухватиться за ослиную спину, чтобы устоять на ногах. Ишак недоуменно скосил глаз на шурави, повел серыми, с проседью, ушами: ты чего, парень? Когда головокружение прошло, Митя снова протянул к чернобородому руки и сказал: «Я сам сюда шел. Зачем? Развяжите». Он не узнал собственного голоса, низкого, хриплого, отдающегося где-то в затылке тяжелым колоколом. Чернобородый покачал головой, но потом неожиданно поднял огромную, землистую от пыли руку, двумя пальцами дернул за узел, и ремень слегка ослаб. Митя мучительно улыбнулся уголком рта и стал разминать пальцы, пытаясь разогнать застоявшуюся кровь.

Парень появился из-за гребня горы неожиданно, скатился вниз, звонко брэнча автоматом. Не добежав до них, он испуганно крикнул что-то и махнул ру-

кой, показывая в сторону тропы, уходящей в колючий кустарник. Чернобородый толкнул Митю автоматом в спину, приказывая бежать, потянул ишака за уздцы. В то же мгновение раздался грохот, из-за гребня вынырнули две огромные «вертушки», не пузатые, транспортные, на которых Мите неоднократно приходилось летать и в госпиталь, и на десантирование, а боевые, с длинными, вытянутыми телами, с многоствольными пулеметами и неуправляемыми реактивными снарядами, притаившимися в тени под их стреловидными крылышками. Вертолеты стремительно ушли в сторону долины, но Митя успел единственным глазом рассмотреть и ракеты, и пулеметы, и бронированные днища, и темную копоть выхлопных газов под винтами. Ему даже показалось, что пулеметчики в кабинах приветственно помахали ему. Первой мелькнула мысль, что сейчас его спасут, но тут же пришла другая: никто спасти его не будет, потому что он ушел с поста самовольно, захватив три чужих автомата, сейчас «вертушки» развернутся над долиной, выстроятся в боевой порядок и начнут бомбить склон, не разбирая, кто свой, кто чужой, а на склоне они — и он, и чернобородый, и босоногий парень, и ишачок с раздутым пузом — как на ладони. Так вот она, операция! Откуда только прыть взялась? — он бросился к кустарнику, сбрасывая вниз камни, смешно растопырив пальцы связанных рук, падая, поднимаясь, разрывая «хэбэ» на локтях и коленях. Колючие ветки с маленькими темно-зелеными листочками не могли спасти ни от пулеметных пуль, ни от снарядов — он это прекрасно понимал. Кустарник кончился, и они прибавили шаг. Чернобородый подгонял ишака прикладом автомата. Вертолетный стрекот нарастал: сначала это было мушиное пение, назойливое, равномерное, заставляющее оглядываться на две блестящие точки в бледно-голубом небе, казавшиеся застывшими на одном месте, затем пространство над головой стало постепенно заполняться шумом, будто стая гигантских птиц часто и вразнобой хлопала крыльями, готовясь сесть на склон. Чернобородый окликнул его. Он так и сказал: «Шурави!» Митя оглянулся. Мужчина автоматом показывал на расщелину в скале. Расщелина уходила ввысь метров на пятнадцать, вверху сужаясь до ширины ладони, но внизу, у подножия, в темную утробу скалы можно было легко войти и человеку, и ослу. Они стали карабкаться наверх по большим камням, ишак упрямялся, не желая идти в гору. Чернобородый кричал на него, брызгая слюной, бил что было сил, автоматный приклад звонко припечатывался к ослиным бокам и заду. Ишак кричал, но не знакомое «иа», а детское и жалобное, похожее на плач: «И-и». Их догнал босоногий парень, вдвоем с чернобородым они буквально на руках втащили осла на подножие скалы. Митя первым нырнул в темноту расщелины, выставив вперед связанные руки, и тут же споткнулся о какой-то чахлый куст, который рос внутри, оцарапал о колючие ветки руки; от резких движений боль опять ударила в висок, в ухо. Он двинулся вглубь мелкими шагами, пытаясь увидеть что-то впереди, и наткнулся на прохладный камень скалы. Скала была в расходящихся веером трещинах. Он осторожно прислонился к камню виском и щекой — сразу стало легче, даже сумел приоткрыть правый глаз, но увидел им только мутные блики солнечного света. В бок ему уперлась ослиная морда, подтолкнула его, прижала к скале. Чернобородый с парнем влезли в расщелину. Парень присел на корточки, перевернул затвор и приложил автомат к плечу, собираясь сразиться с двумя стальными машинами, чье стрекотание превратилось теперь в грохот, от которого мелко задрожали камни, а из трещин заструился песок, попадая в волосы, за шиворот, в глаза. Чернобородый дернул Митю за полу «хэбэ», приказывая сесть. Митя послушно опустился на колени и оказался под брюхом у ишака. Чернобородый вынул из кармана маскхалата складной афганский нож и одним движением перерезал ремень на его руках. Митя не успел испугаться. Потом уже, через мгновение после происшедшего, пришла мысль, что чернобородый мог бы его зарезать так же просто, одним

верным движением, вместо ремня — по горлу. Афганец показал, что нужно держать передние ноги ишака, чтобы тот с испугу не начал скакать и лягаться. Митя подался вперед, чуть выше бабок крепко сжал мохнатые ослиные ноги. Ишак вел себя смирно, не пытался вырваться, не шевелился. Затылком Митя чувствовал, как в груди у животного что-то прерывисто екает. Он боялся, что если ишаку захочется показать норов, то онемевшими руками ему ни за что его не удержать. Парень дал короткую очередь. Митя ожидал выстрелов, но все равно вздрогнул. Рикошета от стен, в разные стороны разлетелись стреляные гильзы. Несколько гильз ударило ишака по заду. Осел нервно задергал боками, еканье в груди участилось, он опять издал жалобное, детское, похожее на плач: «И-и-и». В следующую секунду склон взорвался: разнесло в клочья кустарники, разбросало камни, вниз устремились тяжелые потоки, будто вдруг вырвалась наружу дремавшая в недрах горы каменная река, в воздухе засвистели и звонко ударились о скалу большие осколки. Правда, их звона они уже не слышали, потому что оглохли раньше. В расщелине плотной завесой поднялась густая пыль и стало нечем дышать. Митя отпустил левую ногу ишака и зажал ладонью нос и рот, но пыль настырно залезала в неслышащие уши, колола лицо, руки, веки. От нее было не спастись, так же, как не было спасения от мелких камней, которые сыпались в ботинки. Пыль постепенно рассеивалась. Левое ухо начинало слышать. Сначала Митя услышал за своей спиной бормотание чернобородого — афганец торопливо произносил непонятные слова и раскачивался взад-вперед, касаясь своими сандалиями его ботинок, затем громко чихнул осел. Чихнул, содрогнувшись всем своим грузным, бочкообразным телом, затем второй раз, третий... Неожиданно Мите сделалось смешно. Он выдохнул смешок в ладонь, зная, что от страха лучше смеяться, чем плакать, и оглянулся на душманов. Парень больше не пытался стрелять из автомата по вертолетам, он лежал, закрыв голову руками, и его тонкие пальцы мелко дрожали, ссылая пыль с курчавых волос.

После первой атаки вертолеты развернулись и вновь устремились к горе. На этот раз они выпустили из-под крыльев три снаряда. Один ушел в сторону и разорвался в долине, не долетев до склона, два других легли рядом на горе, вызвав настоящий обвал: огромный кусок скалы оторвался и покатился вниз, набирая скорость. Перед лицом Мити мелькнуло тяжелое копыто, он инстинктивно дернулся, но мохнатые ноги будто сломались, осел навалился на него, вдавливая в камни, в песок. По спине и затылку потекло что-то липкое и густое, но Митя не мог шевельнуться, посмотреть, что это, испугался, что ранен в голову, и закричал, не слыша собственного голоса: «Помогите!» Потом уже понял, что еканья больше не слышно. Вертолеты разворачивались для следующей атаки...

Он сидел на песке и пытался выдрать из волос запекающуюся черную ослиную кровь. В крови были и лицо, и руки, и «хэбэ», натекло даже в ботинки и теперь неприятно стягивало кожу на пятках. Кругом валялись снарядные стабилизаторы, осколки, земля почернела, обуглилась, и ветер вместе с песком перекачивал блестящие оплавленные шарики, словно пытаясь поиграть с ними. Осел лежал рядом на спине, оскалив большие желтые зубы. У его ноздрей и подернувшихся пленкой глаз роями вились мелкие мухи. Митя видел раны от осколков, когда вытаскивал ишака из расщелины: одна в боку, небольшая, углом, словно кто-то пытался бритвой разрезать кожаную сумочку; вторая — большая и страшная, крупным осколком перебило шею, голова держалась на одной только шкуре и боком волочилась по земле, стуча зубами о камни. Когда вертолеты ушли, афганцы вытащили его, теряющего сознание от духоты, боли и страха, из-под мертвого осла, дали воды; он слегка очухался, и чернобородый показал на животное и на него, улыбаясь, провел ладонью по шее. Да, если б не осел, его убило бы, а может, и чернобородого — их всех. Осел спас их; теперь афганцы уложили его на спину со смешно подогнутыми, раскинутыми в стороны ногами

и висящими копытами и хотят снять шкуру. Наверное, ослиная шкура стоит несколько сотен афгани. В запорошенных пылью глазах все было блекло и черно, то ли от запаха крови, то ли от притупившейся боли в правом виске, то ли от солнца, пекущего Митину залитую кровью голову. Очень хотелось заползти назад в расщелину, в тень, и прилечь, но он боялся, что его снова ударят прикладом или просто застрелят, потому что они взяли его в плен, чтобы выручить афгани, как за ту ослиную шкуру, которую сейчас снимут, а если он будет избитым, слабым и немощным, зачем он им тогда? Они возьмут его «хэбэ», ботинки, как взяли панаму, ремень, флягу, автомат, а самого бросят в расщелине и засыпят камнями. Кто найдет его здесь? Кто узнает, как он погиб? Несколько крупных слезинок вытекло из его глаз, размывая кровь на щеках. Чернобородый открыл афганский нож, примерился и с громким выдохом всадил его в грудь ишаку. Митя встал на четвереньки и пополз подальше от камня.

Скоро ослиная туша дымилась под солнцем, чернобородый отрезал от нее небольшие куски, а рядом по расстеленной на камнях шкуре ползал парень и скоблил ее, высунув от усердия язык. Чернобородый положил куски мяса на шкуру. «Э-э, шурави!» — Он махнул рукой, показывая, что Митя должен помочь ему. Митя, стараясь не смотреть на облепленную мухами ослиную тушу, подошел, взял шкуру за края. Шкура оказалась горячей и приятно-мягкой на ощупь. Они сложили ее, получилось что-то вроде узла. Чернобородый хлопнул Митю по спине, Митя нагнулся, афганец взвалил шкуру ему на плечи и подтолкнул — пошел! Они двинулись в путь. Пот застилал глаза, ручьями стекал из-под мышек по бокам, струился по спине. Шкура с каждым шагом становилась все тяжелее.

Ручей он увидел, когда до него оставалось не больше двадцати шагов. Увидел и не поверил своему левому глазу, решив, что это мираж, который вот-вот исчезнет, оставив после себя сухой, горячий поток из серых окатышей, попытался открыть заплывший правый и смог увидеть им и водные блики, и мутный силуэт афганца, который лег на живот и окунул в ручей лицо, но и тогда не поверил, сбросил с плеча шкуру, побежал вперед и, наконец, почувствовав, как остывает от ледяной воды распарившаяся нога в ботинке, понял, что самое худшее уже позади, что теперь он не умрет, просто не должен умереть; нашел место поглубже, где было не по щиколотку, а по икры, с размаху упал в ручей, перевернулся, стал ожесточенно тереть голову и лицо, смывая вьевшуюся кровь, расстегивал пуговицы «хэбэ». На берег полетели ботинки, китель, брюки. Через пять минут одежда и обувь будут сухими, еще через десять, после того как оденется, снова вымокнут от пота, но пока он будет лежать, цедить сквозь зубы воду, чувствуя, как их ломит, смотреть, как скатываются от плеч к ногам по немеющему от холода телу большие, похожие на обточенные потоком льдинки воздушные пузыри. Лежать и ждать, когда его окликнут: «Шурави!»

Полковник устало спрыгнул с бронетранспортера. Пошатнулся, ухватился за пыльное колесо, обтер ладонь о китель. Водитель спустился следом, за плечами у него болтался вещмешок, в руках он держал гранатный ящик. «Ко мне в комнату неси!» — Полковник бросил водителю ключ. Ключ звякнул о ящик и упал в пыль. Водитель нагнулся, стал искать ключ. Полковник посмотрел на полную луну, на звезды: «Хороший самогон варит, сукин сын, научился! Как на речке, стал быть, на Фонтанке, стоял извозчик, парень молодой. Стоял извозчик в ситцевой рубаше, шта-штаны плисовые, стал быть, на ем!» — пел он низко, красиво и чисто. Не допев песни, махнул рукой и, пошатываясь, стал подниматься по ступеням лестницы к модулю. Водитель наконец-то отыскал ключ в дорожной пыли, прошмыгнув боком мимо полковника, побежал по коридору модуля, гремя ботинками. Из штаба напротив высунулся дежурный капитан — глянуть, кто из офицеров разгулялся на ночь глядя, но полковник, крепко ударившись о

косяк, уже скрылся в дверном проеме. Он зашел в умывальник, открутил кран и сунул голову под мощную струю холодной воды. Заохал, зафыркал, заорал возбужденно: «Ух ты, мля, а ты боялась!» В умывальнике появился голый по пояс полный мужчина в спортивных штанах. Во рту он держал зубную щетку, через плечо было перекинута полотенце. Увидев командира, замер на мгновение, выхватил изо рта щетку и отчеканил вымазанным зубной пастой ртом:

— Здравия желаю, товарищ полковник!

Полковник непонимающе уставился на мужчину, затем хлопнул ладонью по его животу:

— Ты, майор, замполит или хрен собачий?

— Замполит.— Он, насколько мог, подобрал живот — рука у полковника была огромная и ледяная.

— А почему тогда водку не пьешь? Не умеешь?

— Да как же... пью я! — попытался возразить майор.

— Что ты там пьешь, что ты пьешь, чижик?! — Полковник ухватил его за плечи и потащил из умывальника.

Водитель торопливо зашелкнул замок на ящике, залпом опрокинул в себя полстакана жидкости малинового цвета, вытаращил глаза и шумно задышал, оглядываясь на дверь, затем схватил графин и стал жадно глотать воду, обливая «хэбэ». Вернул графин со стаканом на поднос, убедился, что улик не оставил, и плюхнулся в кресло. Он взял из вазы кисть винограда, поднял ее над головой, стал ртом ощипывать крупные ягоды. Лениво катал виноградины на языке, давил зубами, чувствуя, как в небо брызжет терпкий сок. Через несколько мгновений комната перед его глазами закружилась, завертелась, и он довольно рассмеялся, подумав, что сейчас придет во взвод и расскажет, как засосал в модуле у командира полка полстакана шестидесятиградусного первача.

Дверь отворилась. На пороге стоял полковник в обнимку с полуголым замполитом батальона. Водитель запоздало вскочил с кресла, отдал честь:

— Здравия желаю, товарищ майор!

— Виноград жрешь, Бастриков? — Замполит сделал страшные глаза.

— Хороший солдат? — Полковник опустил в кресло, в котором только что сидел водитель, раздавил скатившуюся по обивке виноградину.

Майор неопределенно пожал плечами.

— Если хороший, отправим «груз двести» сопровождать. Отпуск на месяц хочешь?

— Хочу,— растерянно кивнул водитель.

— Собери-ка нам стол, стаканчики помой! — приказал полковник.

Водитель схватил стаканы, шмыгнул за дверь. Пошел по коридору, держа в одной руке стаканы, в другой — недоеденную кисть винограда. В умывальнике поставил стаканы под струю воды, выкинул кисть в открытое окно и пошел вприсядку, хлопывая себя по ляжкам. Отплясав с полминуты, умылся и стал думать, где раздобыть парадку и значки на отпуск. Хорошо бы еще и медальку какую завалющую. Лишь бы полковник вспомнил завтра, что обещал. Ничего, майор трезвый, напомним!

Когда вернулся в комнату командира, полковник уже храпел, развалившись в кресле, а майор сидел напротив и ел большой бутерброд с печеночным паштетом.

— Бастриков, ты на весь полк стаканы мыл?

Водитель выставил перед замполитом чистые стаканы, полез в вещмешок за продуктами.

— Товарищ майор, у нас в батальоне погиб кто? Когда груз-то?

Замполит щелкнул замками ящика, откинул крышку, заглянул внутрь. В ящике, в мелкой стружке, покоились шесть импортных бутылок из-под сухого

вина с жидкостью малинового цвета. Он достал одну, отвинтил крышку, понюхал, наморщил нос и налил себе немного в стакан.

— Ты вот что, Бастриков, вали отсюда и отбивайся на два счета, а я завтра в шесть утра проверю, убежал ты в трусах на зарядку или нет. Усек?

— Так точно! — Водитель шагнул за дверь, незаметно сунув в карман «хэ-бэ» банку шпрот. В коридоре он сделал в сторону двери неприличный жест и причмокнул губами.

Майор со звоном поставил пустой стакан и закусил бутербродом: «Пить я не умею? Это мы еще посмотрим, кто не умеет!»

Митя опрокинулся на спину, тупо уставился в звездное небо. Он не знал, сколько километров они прошли, сколько раз поднялись на горы и спустились с них, сколько преодолели перевалов и ущелий, сколько ручьев пересекли; одно знал точно, что ног у него больше нет и не будет никогда... Ну уж неделя — точно! Он старался не думать о том, как будет снимать ботинки и что там увидит. Мясо в шкуре изрядно протухло и теперь воняло, но за день он успел привыкнуть к вони и почти не замечал ее. Парень привалился к камню рядом с ним. Он шумно отхлебнул из фляги, задрал ногу и стал выковыривать из черной пятки глубоко ушедшую под кожу колючку. За весь день отдыхали только дважды: у ручья и в пещере на перевале. В пещере у афганцев под камнями была припасена еда: пара лепешек, инжир да тонкий, почти прозрачный кусок вяленой верблюжатины. Афганцы совершили намаз, после чего разломали лепешки и стали неторопливо есть. Ели, беседовали о чем-то своем, словно забыв о пленном, изредка поглядывали на узкий лаз в пещеру, через который струился оранжево-красный свет заходящего солнца. Несколько раз где-то далеко прострекотали «вертушки», но ни чернобородый, ни парень даже не выглянули наружу — здесь они чувствовали себя в полной безопасности. Он понял, что они ждут темноты. Может, они боялись, что он запомнит дорогу к их домам или «вертушки» сверху выследят их тайные тропы? Ему дали одну инжирину, он поплевал на нее, стер пальцами пыль и раскусил. Одну половину сунул в рот, другую положил на камень рядом с собой. Ел медленно, пытаясь разжевать мелкие семечки в сердцевине. Съев половину, помедлил немного, наблюдая из темноты за афганцами, которые отщипывали от лепешек крохотные кусочки и отправляли их в рот, схватил вторую, стал обсасывать ее, но тут же незаметно для себя проглотил. Инжир только разжег аппетит. Еще недавно ему не хотелось ничего, а теперь рот заполнился слюной, сами собой стали появляться образы жареных кур, которых он больше года в глаза не видел, банок со сгущенкой, лепешек с медом, блинов, возник вдруг кипящий в масле чебурек. Он несколько раз сплюнул, но не помогло, и тогда вдруг понял, что избавиться от острого голода можно с помощью воды. На четвереньках подполз к афганцам и показал на большую мятую флягу на поясе у чернобородого. Мужчина молча отстегнул флягу, протянул ему. Митя припал к горлышку и стал мелкими глотками всасывать в себя воду. Оторвался, когда почувствовал, как отяжелел желудок. Неожиданно лицо чернобородого приобрело злое выражение, он бросил что-то парню, и Мите показалось, что его сейчас опять ударят прикладом по голове, но обошлось — парень схватил автомат, выскочил из пещеры, и скоро снаружи раздался короткий птичий клекот. Чернобородый взвалил на Митины плечи шкуру и вытолкнул в сгущающуюся темноту. Не сделав и десяти шагов, он понял, какую ошибку совершил. Ноги и руки сделались ватными, по всему телу разлилась болезненная слабость, сердце часто заколотилось в груди, а лоб покрылся мелким бисером липкого пота.

Кишлак возник неожиданно, будто кто-то снял с горы волшебное черное покрывало: только что перед их глазами был покатый склон, едва видимый в темноте, как вдруг появились прижатые к земле глинобитные домики, камен-

ные дувалы, крохотные, поднимающиеся вверх террасами поля, редкие фруктовые деревья. Чернобородый показал Мите на тропу — сюда. Они пошли по ней мимо высоких дувалов. В одном из дворов злобно забрехала собака. Чернобородый цыкнул на нее по-своему, и собака послушно смолкла. Они свернули на террасу вытянутого по склону поля, прошли по меже вдоль пустынных грядок и оказались перед кособокой калиткой, сделанной из трухлявых неоструганных досок. Калитка заскребла по земле, и они вошли в небольшой двор с несколькими чахлыми деревцами по периметру. Чернобородый подвел его к двери сарая, отодвинул засов, снял с Мити узел, напоследок легонько дал в спину прикладом. Митя споткнулся о деревянный порог, упал внутрь. Наконец-то он не должен был никуда идти, карабкаться, спускаться! Под животом оказалась пахнущая овцами солома, он пошарил по сторонам, укололся о высохшую траву, стал подгребать ее под себя. Мало-мальски устроившись, подложил под голову руки и закрыл глаза.

— Ты русский, нет? — раздался в темноте шепот.

Сердце резко ударило в грудь, и впервые за день он перестал бояться — свой!

— Русский! Из сто восемьдесят первого, первый батальон, первая рота, — тоже шепотом сказал он.

— Я из баграмского разведбата. — Сверху посыпались труха, пыль, по столбу, поддерживающему крышу, вниз скользнула тень. Неизвестный нащупал в темноте его руку, крепко, до боли, сжал. — Костя Суровцев, командир второго взвода третьей роты, старлей! Легко запомнить. Запомнишь, нет?

— Запомню, — пообещал Митя. — Кычанов Дмитрий, рядовой.

— Я думал, Хабибула ишака привел. Потом слышу, вроде нет. У меня фонарь есть. Он ляжет, я его зажгу. А то отберет еще. Посмотрю, какой ты есть. Испугался? Я струхнул, щас, думаю, сделает — давно обещал. За мою башку тридцать тыщ афгани дают. Торгуется, сука, говорит, зарезу лучше, собак накормлю. — Костя был возбужден: говорил быстро, нервно дышал ему в ухо. — Я у его кореша семью замочил. Пару «эфок» на второй этаж швырнул, а там они! Кто-то из баб это видел. Мы потом на засаду напоролись. Моих пацанов побили, а меня из люка взрывной волной выкинуло, лежу в арыке контуженый, молюсь их Аллаху, чтоб пронесло. Как же! Он мне автомат к носу приставил, я и зорал. Мои данные запомнил? Ну-ка повтори!

— Константин Суровцев, старший лейтенант, командир второго взвода третьей роты разведбата дивизии. А ишака у них снарядом убило.

— Это плохо — я на нем землю таскал... Тебя-то как?

— Да тоже... засада. Мы на охране дороги стояли. Взводный в дозор послал, за виноградом. По голове прикладом двинули, и вся война!

— «Буром»? Серьезная штука! Взводному твоему язык отрезать надо, чтобы не посылал, куда не надо. Из-за таких пидоров и пропадаем, блин! Ну ничего, если сразу не замочили, значит, нужен: менять будут или в Пак продадут. Я третий месяц тут, понасмотрелся. Духам тоже несладко. Бомбят их в хвост и в гриву. Каждую неделю хоронят. Курить нет?

— В арыке размокло.

— Ладно. Есть у меня нычка. Одну цыгарку весь день тяну. Сегодня праздник! — Костя зашуршал в темноте, щелкнул зажигалкой. Пока прикуривал мятую сигарету, Митя успел рассмотреть его худое с запавшими глазами лицо, бороду с густой проседью. Терпко запахло анашой. Костя сделал пару глубоких затяжек, передал ему. Митя с шумом втянул в себя дым, чувствуя, как обжигает горло, надсадно закашлялся.

— У Хабибулы хороший чарстик. Еще один затяг — и улетишь до утра, как облако! — Костя засмеялся.

Митя еще раз втянул в себя дым и передал косяк. Костя докурил анашу, тщательно затоптал окурки.

— Ты «хэбушкой» дверцу прикрой, чтоб в щели свету видно не было.

Митя подошел к двери сарая, расстегнул «хэбэ», раскинул полы в стороны. Звякнуло стекло, Костя зажег фонарь «летучая мышь», прикрутил фитиль, подошел к Мите, сощурился.

— Вот ты, значит, какой, рядовой Дмитрий Кычанов. А я уж думал, не увижу больше русской рожи. Сам-то хочешь на себя взглянуть?

Митя неопределенно мотнул головой, глядя на Костин погон со следами звездочек. Костя вынул из кармана кителя осколок зеркала, протянул ему. Митя повернул зеркало так, чтобы не слепил фонарь, вгляделся: огромное лилово-красное ухо, неправдоподобно толстое веко, прикрывшее правый глаз, синяк во весь лоб, заплывшее, как у пьяницы, лицо.

— Да, это, парень, «бур»! — Костя усмехнулся. — Значит, сынка его «акаэсом» вооружил?

— Тот кудрявый — сын его? — удивился Митя, вспомнив, как чернобородый все время посылал парня в разведку.

— Дедушка! — Костя сплюнул. — Одного косяка мне мало, а второй не дам. Пошли, покажу что-то. — Он двинулся в глубь сарая, неся фонарь на вытянутой руке.

Митя глянул в щель между досками. Ветер трепал листья деревьев, на шесте моталась рваная афганская тряпка, двор был пуст. Он пошел следом за Костей. Костя поддел доску в задней стенке сарая, просунул руку в черную пустоту и извлек из нее сверток. В плотную зеленую ткань был завернут конь — небольшая изящная статуэтка черного дерева. Правда, одной передней ноги у него не доставало, но зато уздечка была сделана из тонкой ленты, расшитой золотом, а в глазах при свете фонаря засверкали темно-красные камни.

— У этого коня по бокам два винта. Крутанешь один, и он поднимет тебя в небо, понесет, куда хочешь, крутанешь другой — опустит на землю. Нам бы только во двор попасть! — Костя погладил коня по вороненому боку. — Убьём, гадам буду!

Митя зачарованно смотрел на статуэтку, недоумевая, как могла такая вещь попасть в затерянный в горах кишлак, в этот убогий сарай. Когда до него дошло, о чем говорит Костя, он решил, что взводный обкурился — наверняка, сидя в плену, долбил афганский чарс каждый день, и не по разу.

Снаружи раздался шорох. Костя погасил фонарь, приложил палец к губам. Они замерли. Шорох не повторялся. Костя завернул коня в тряпицу, сунул в пустоту, водворил доску на место. «Лезь вверх!» — приказал он шепотом Мите. Митя забрался по столбу на помост. На досках было уложено душистое сено. Он с трудом стащил с распухших ног ботинки, улегся, вдохнул в себя аромат трав.

Только теперь почувствовал, как звенит в голове после косяка, как качается в глазах потолок сарая с крохотной звездой, заглянувшей в щель между досками. Костя лег рядом, зашептал на ухо: «Я думал дернуть отсюда, хотел подкоп рыть, а там тайник! Точно говорю, Александра Македонского лошадка, он здесь с войском ползал! Стал бы ее хозяин в сарае прятать! Если Хабибула меня корешу сдаст, ты один лети. А конь летучий — точно, гадам буду...»

Митя перестал слышать его взволнованный шепот. Он увидел густо покрытую мелкими цветами гору, вереницу женщин в зеленых и лиловых паранджах с кувшинами и блюдами, спускающихся в долину, себя в афганской одежде на вороном коне с темно-красными глазами. Конь оттолкнулся от вершины горы и легко взвился в небо, заставляя его сердце замирать от страха.

Полковник открыл один глаз и увидел перед собой замполита третьего батальона, который выскребал из банки остатки сайры. На заставленном консер-

вами и тарелками с фруктами столе особняком стояли пустая бутылка и стакан, на дне которого обозначилась малиновая кайма от самогона.

— Слушай, сколько сейчас, а?

Майор нагнулся, чтобы посмотреть на часы полковника.

— Два сорок три,— произнес он, с трудом ворочая языком.

— Давно я?...— Полковник запрокинул голову, чтобы размять затекшую шею.

— Полтора часа.— Замполит швырнул пустую банку в коробку для мусора.

— Ты, майор, иди, я отдыхать буду. Возьми пузырек на память.— Полковник поднялся, прошел в соседнюю комнату, где стояла широкая кровать.— Извини, в следующий раз компанию составлю.

Майор достал из ящика большую хрустальную бутылку, потрянул ее и направился к двери.

— Спокойной ночи, товарищ полковник!

— Спокойной, спокойной...— Командир увалился в кровать, потер виски, стараясь унять боль.— Уж мне этот ротный, а! Опохмелиться, что ли?

Чтобы отвлечься, стал думать о дочерях, но в голову тут же полезла всякая мерзость. Он вспомнил о нач. связи, которого в марте утопил водитель. Заснул за рулем во время операции и скovyрнулся с бронетранспортером в речку. Сам выплыл, а майора утопил к чертовой матери вместе с орденами. Цинк послали сопровождать взводного-земляка — жену утешить, сыну отцовские награды передать. Взводный для храбрости двести граммов принял, и отправились они с комиссаром по адресу. Так, мол, и так, ваш муж геройски погиб, память о нем навсегда останется в сердцах... А сам видит, у майоровой бабы ни слезинки и вроде бы даже рада, тихонько улыбается, а тут еще хахаль с сумками явился — в магазин ходил. Не выдержало у взводного сердце: хахалю нос сломал, бабе зубы выбил, чтобы не скалилась. А награды боевые ребенку отдал, держи, говорит, и никому не давай! Рассказывал потом: пацан сжал их в ручонках, а у самого слезы на глазах. Те на взводного и жалобы в округ писали, и в суд подавали, да только свои ребята в Ташкенте на тормозах все это дело спустили. Взводный старлея получил, уволился, сейчас в чайхане сидит, чай пьет, лепешки кушает. Побольше бы в полк таких парней... Ну, а может ли баба по году без мужика? Что ж она не человек? Полковник представил свою жену, вскочил, поняв, что этак дойдет черт знает до чего, прошлепал босыми ногами в соседнюю комнату, достал из ящика бутылку самогона и сделал пару больших глотков прямо из горлышка...

Было раннее утро, когда скрипнула дверь и по столбу звонко ударила палка. Они быстро спустились с помоста. Ботинки Митя не надел — все равно не налезли бы на ноги. Парень бросил им две большие плетеные корзины с широкими лентами из плотной ткани, привязанными к ручкам, качнул стволом автомата, приказывая выйти во двор. Они подняли корзины, переступили через порог и чуть не ослепли от света огромного новорожденного солнца, выкатившегося из-за горы напротив. По двору деловито расхаживали белоснежные куры, высматривая что-то в пыли, на веревке, протянутой от сарая к дому, сушилась ослиная шкура. Парень накиннул на плечо легкий вещмешок, отворил калитку.

— Бача Абдульчик, ты бы позавтракать дал, а потом и работать можно.— Костя помахал рукой перед открытым ртом.

Парень отрицательно мотнул головой и показал, что шурави должны идти следом за ним. Они стали спускаться по склону. Шел Митя на пальцах, стараясь не касаться ступнями земли, но все равно касался и морщился от боли, шумно втягивая ртом воздух.

— Землю на огород таскать будем. Вон он у них — соток двадцать, наверное! Теперь до полудня жрать не даст, гад! — Костя поддерживал Митю. — Ты на внешней стороне ступни ходи! А ночью ноги повыше задерешь — опухоль спадет.

Спустившись по склону, они направились по вытоптанной овцами тропе к роще. Густой, обычной для таких мест, зелени Митя не увидел: причудливо изогнутые черные стволы деревьев были голы, только вверху, в исцарапанном ветками небе, трепетали крохотные листья. Сразу за рощей тропу пересекли валуны, похожие на панцири гигантских, разом вымерших черепах. Парень стал ловко скакать с валуна на валун, брэнча автоматом. Митя не удержался на одном из валунов, скользнул вниз. Под валунами лежала крупная цветная галька, под галькой было мокро — ручеек пробивал себе дорогу к затерявшейся где-то далеко за горами реке. Митя выворотил гальку, всосал в себя прохладную влагу, ощутив во рту сладковатый привкус.

— Эй, Кычанов, козленочком станешь! — Костя присел на валуне, протянул ему руку. — Она у них Мертвой рекой называется. Видишь — камни одни. Потом напьешься. Здесь недалеко.

Парень замер на валуне, передернул затвор автомата и приставил оружие к плечу, нехорошо оскалившись.

— Эй, Абдульчик, дорогой! — Костя замахал руками. — Идем уже, идем! Видишь, товарищ упал, ноги у него больные.

Они подбежали к парню. Митя больно получил прикладом по спине. Дальше Абдул погнал их впереди себя. Сразу за Мертвой рекой пошла густая зелень: молодой орешник перешел в тутовую рощу. Большие деревья были усыпаны коричневыми ягодами. Некоторые кроны, словно фатой, укутались блестящими нитями шелковой паутины. Здесь они остановились. Митя заметил, что земля вокруг изрыта. Парень исчез в орешнике и скоро появился с двумя лопатами. Лопаты он вручил шурави, а сам уселся под деревом, поставил автомат между ног.

— Не больше, чем на полштыка, копай, — посоветовал Костя, втыкая лопату в землю. — Хреновая у них земля — песок один. А корзинку порыхлей загрузай, а то не донесешь.

Митя стал насыпать землю в корзину, стараясь брать на лопату поменьше. Скоро обе корзины были полны.

— Делай, как я! — приказал Костя, смахивая капли пота со лба. Он сел на корточки спиной к корзине, перекинул ленту через голову на грудь, оттянул ее от себя руками — корзина высоким плетеным боком прижалась к его спине. Костя медленно поднялся и, слегка нагнувшись вперед, зашагал по тропе.

Митя последовал его примеру. С трудом поднялся, пошел, стараясь смотреть не под ноги, а на гору с прижавшимися к ней домишками кишлака, пытаясь забыть о боли в пятках. Гора, освещенная утренним солнцем, сияла золотом. Корзина оказалась тяжелее, чем он ожидал. Он не дошел еще и до Мертвой реки, а ноги уже предательски задрожали, норовя подогнуться. Заставил себя добрести до первого валуна, привалился к нему спиной, тяжело дыша смотрел, как к нему неторопливо идет афганец, сшибая палкой листья с орешника. Он знал, что должен подняться до того, как парень приблизится к нему. Когда Абдул был метрах в двадцати, Митя оттолкнулся от горячего камня и, низко нагнувшись, пошел по гальке, между валунами, чувствуя, как земля сыпется на мокрую от пота спину.

До полудня они еще трижды ходили за землей в тутовую рощу. Чувства и мысли пропали, ощущения притупились. Он даже не мог разговаривать с Костей. Было одно только желание — поскорей куда-нибудь дойти, упасть, полежать, отдохнуть. Теперь дорога от горы до рощи казалась ему счастьем: корзи-

на грубым плетеным боком не впечатывалась в его спину, ноша не клонила к земле. Наконец Абдул и сам устал мотаться за ними взад-вперед и, когда они снова оказались в роще, присел у дерева, подозвал их к себе, развязал вещмешок. Из мешка появилась на свет длинная афганская лепешка. Парень разломил ее пополам и протянул им. Они отошли, опустили на траву под соседним деревом.

— Это что — все? — спросил Митя.

— А ты думал, он тебя кормить будет? — усмехнулся Костя. — Держи карман шире! Тутовника пособирай. Смотри, не нажирайся, а то потом загнешься. — Взводный поднял с земли коричневую ягоду, поплевал на нее, отер пальцем и отправил в рот.

Митя насобирали горсть ягод поспелее и стал есть их с лепешкой. Ягоды оказались сладкими, даже приторными, и скоро он с удивлением обнаружил, что наелся. Абдул кинул им флягу. Фляга была пустой.

— Это моя фляга, — вздохнул Митя.

— Была твоя. В большой семье не щелкай клювом. — Костя кивнул афганцу и тихо сказал: — Пошли быстрее, пока он добрый.

Через минуту они оказались на краю рощи у ручья, который струился по поросшим мхом камням, падал едва слышным тонким водопадом в крупный песок и исчезал в густой траве.

— Ну вот, это у них живая вода, — сказал Костя, подставляя флягу под струю. — Умойся, сразу легче станет.

Митя сунул голову под водопад, стал хватать воду ртом, от холода чувствуя боль в затылке. Умылся, сдул капли с носа, посмотрел на блестящую паутину в кронах деревьев.

— А он не боится?..

— Что рванем? — закончил Костя. — Чего ему бояться? На горах везде посты. Если не поймают, из «буров» завалят. Тут лететь надо.

Митя глянул на взводного: шутит он, что ли?

— Ладно, я тебе потом сказку расскажу. Ты, Кычанов, не смотри, что парнишка щупленький. Они тут все до поры до времени щупленькие. — Взводный открыл рот, показал на сломанный зуб. — Не серди их.

Они вернулись в рощу. Костя отдал флягу Абдулу, присел перед ним на корточки.

— Абдул, чарс ас, а, бача? — Он вынул из кармана дешевый портсигар, открыл его.

В портсигаре оказались сигареты со крученными концами. Митя сразу распознал в сигаретах косяки. Взводный сунул сигарету в рот и чиркнул зажигалкой. Сделал одну глубокую затяжку, передал афганцу. Абдул шумно втянул дым, выдохнул струю через ноздри, затянулся еще раз, уже не так глубоко, протянул косяк Мите.

— Этому не надо. Чижик еще. Работать не сможет, — объяснил Костя, перехватывая сигарету.

— Чижик-чижик, работать! — Абдул наставил автомат на Митю и неожиданно рассмеялся. — Чижик-чижик, работать! — С каждым мгновением смех все больше разбирал его. — Чижик, работать! — Он упал, не выпуская автомата из рук, стал перекатываться с бока на бок, истерично хохоча. — Чижик, работать!

— Здорово парня растащило. — Костя докурил косяк. — Хороший у Хабибулы чарсик, качественный. Иди помахай лопатой для блезиру, он скоро успокоится.

Митя взял лопату и стал нагружать корзину. Абдул действительно скоро успокоился, улегся под деревом ничком, зажав автомат между колен, пробормотал Косте по-афгански, чтобы тот носил землю, иначе он пожалуется отцу и шу-

рави будет плохо, и закрыл глаза. Костя посидел рядом с ним немного, поднялся, подошел к Мите.

— Зеленый еще. Теперь часа три можно воздух пинать.— Взводный ногой опрокинул Митину корзину, и земля высыпалась.— Уйдем к Мертвой реке, там покайфуем, а потом вернемся, будто только что с поля.

Они взяли корзины и заспешили из рощи. Митя все время оглядывался на спящего, пока он не скрылся из виду. На душе стало тревожно.

— А если он проснется и решит, что мы дернули?

— Не решит. Я с ним не первый раз курю. Главное, чтоб папаша ничего не узнал. Иначе — хана!

Налегке они быстро дошли до Мертвой реки, добрались до середины, сели в тени под валуном. Костя достал из портсигара второй косяк, протянул ему:

— На, чижик-чижик!. Оставишь на три затяжки, остальное долби. Во взводе-то часто курил?

— Да нет, раза три всего.— Митя чиркнул зажигалкой, затянулся, как в свое время учил Чуча — сколько дыхалки хватит, обожгло легкие, запершило в горле. Он протянул взводному косяк, мотнув головой, что не сможет так много, сказал севшим голосом: — У нас этим старички балуются.

— И правильно — нечего привыкать! — Выкурив косяк, взводный с наслаждением растянулся на гальке, закрыл глаза.— Ух, а ты говорил, взлететь не сможем! Ну что, не чувствуешь? Заснул вчера, как собака, а я ему песни пел...

Митя закрыл глаза и почувствовал, что и правда плывет по воздуху, слегка покачиваясь от ветра.

— Коня этого сделал маг и волшебник из Магриба по имени Абу Али. Воспылал он любовью к дочери афганского эмира Мариам и решил свататься к ней. Сел на своего коня, покрутил винт, конь наполнился воздухом и поднялся выше самых высоких облаков. Долетел Абу Али до дворца афганского эмира, спрятал своего коня на крыше самой высокой башни дворца и отправился в покои владыки просить руки его дочери. Удивился эмир дерзости мага, но не разгневался, поскольку имел острый ум, а велел испытать его. Связали Абу Али руки и бросили со скалы в быструю реку Кабул, но не разбился он и не утонул, потому что мог дышать под водой, как рыба, и вышел на другой берег живым и невредимым. Тогда эмир велел вскипятить масло в большом медном котле и опустить в него мага. Однако и из котла вышел Абу Али, не потеряв и волоска на голове, потому что умел обращать пламень в лед. Эмир был восхищен искусством мага, но не подал виду и велел позвать палача с острым мечом. Положили Абу Али на плаху. Замахнулся палач мечом, но ударила мага по шее только тонкая сухая тростиночка, ударила и рассыпалась, потому что мог он превращать сталь в прах. Понял эмир, что перед ним великий волшебник, и не на шутку испугался. А как захочет Абу Али отобрать у него дворцы и владения, самого же превратить в плешивого осла? Объявил эмир о свадьбе, а сам велел своим верным слугам прийти ночью в спальню Абу Али, убить его, пока тот спит, мертвое тело разрубить и дать на съедение горным орлам. Но только Абу Али почувствовал опасность, пробудился до того, как слуги эмира занесли над ним кинжалы, поднялся и побежал к самой высокой башне, на крыше которой был спрятан его волшебный конь. Сел он на коня, повернул винт, конь наполнился воздухом и подлетел к окну спальни дочери эмира. Посадил Абу Али Мариам на коня, привязал к себе веревками, и полетели они над горами и реками, а слуги эмира, увидев такое чудо, стояли разинув рты. Проснулась Мариам, посмотрела вниз и испугалась, что они упадут и разобьются, стала умолять Абу Али опуститься на землю. Внял он ее мольбам, повернул второй винт, и опустились они в благословенную Чарикарскую долину, в благоухающий сад с деревьями, чьи плоды были наполнены волшебным нектаром забвения. Наелись они этих плодов и забыли,

кто они. Абу Али забыл, что он маг и может творить чудеса, а Мариам забыла, что она дочь эмира и может властвовать над людьми. Смотрели они на волшебного коня и не могли понять: зачем стоит эта деревянная игрушка посреди сада и какой в ней толк? Построили они себе хижину рядом с садом, стали ухаживать за ним. Угощали волшебными фруктами каждого, кто проходил мимо, и люди, отведав плодов, забывали себя, оставались здесь навечно и были счастливы, не зная прошлого греха. Скоро рядом с садом раскинулся большой красивый город. У Мариам и Абу Али родились семеро детей, волшебный конь был у них игрушкой. Вот однажды старший сын Муслим случайно повернул винт, конь наполнился воздухом и взлетел. Мальчик закричал от страха, прибежали отец с матерью, однако ничего сделать не смогли — унес конь Муслима за горы. Горько плакал мальчик, но скоро нашел второй винт, что опускал коня на землю, и научился управлять им. Скоро перед его глазами предстал прекрасный дворец афганского эмира. Мальчик повернул винт и опустился во двор, где как раз прогуливался старый эмир, поддерживаемый с обеих сторон верными слугами. После бегства дочери эмир долго болел и от болезней ослеп. Стража, верные слуги и придворные — все пали ниц перед божественным всадником, спустившимся с небес, только эмир остался стоять посреди двора, вода перед собой дрожащими руками и пытаясь найти плечи верных слуг. Муслим слез с коня и подошел к нему. «Дедушка, что вы ищете?» — спросил он эмира. «Я ищу свои глаза», — сердито сказал эмир. «Но глаза ваши на месте, дедушка!» — удивился Муслим. «Посмотри внимательно, увидишь ли ты в них павлинона, гуляющих вокруг моего пруда, или в них разлилось прокисшее молоко кобылицы?» Мальчик всмотрелся в глаза эмира и увидел, что они подернуты большими бельмами. «Кто ты, чей голос так дерзок?» «Я Муслим, сын Абу Али». Вспомнил эмир имя великого мага из Магриба, стали непослушными ноги его. «Как попал ты в мой двор? Разве нет у ворот стражи?» «Я спустился с неба на черном коне», — ответил Муслим. Вспомнил эмир о волшебном коне, и отнялись его руки. «Как зовут твою мать, мальчик?» — спросил он. «Мариам». Эмир упал перед Муслимом на колени и заплакал: «Передо мною внук мой, сын дочери моей, но не могу тебя увидеть, много горя причинил я отцу твоему, великому магу и волшебнику Абу Али. Если есть у тебя сердце, возьми меня с собой!» Муслим поднял эмира с колен и обнял за плечи: «Есть у меня сердце, и возьму я тебя с собой, но ни разу не видел я, чтобы отец творил чудеса». «Ты слишком юн, мальчик мой, видел я их собственными глазами». Эмир приказал слугам надеть на него самый красивый золотой халат и взял свой меч, чьи ножны были украшены большими рубинами. Муслим помог эмиру сесть на коня, привязал к себе веревками, повернул винт, конь наполнился воздухом и поднялся под облака. Летели они, пока не долетели до благословенной Чарикарской долины. Муслим покрутил винт, и они опустились в волшебный сад его родителей. Выбежали из хижины Абу Али и Мариам, стали обнимать сына — они уже все глаза выплакали, не надеялись увидеть его живым. Хоть и не помнила Мариам, кем была раньше, но сердце подсказало ей, что слепой седовласый старец, одетый в богатые одежды, — отец ее. Эмир попросил прощения у Абу Али, и Абу Али простил его. Стали жить они вместе. Но только эмир не ел плодов из волшебного сада, не хотел он забыть, как прекрасны были наложницы в гареме его, как блестили драгоценными камнями перстни на пальцах его, как преклоняли перед ним колени верные слуги его, когда был он зрячим. Каждый день просил он зятя снять волшебством пелену с его глаз, и каждый день Абу Али удивлялся его просьбе — не маг и не волшебник он, а простой садовник, и разве может человек своей волей изменить чью-то судьбу? Поселилась в сердце эмира злоба. Замыслил он недоброе. Вот настала ночь. Дождялся слепой эмир, когда все заснут, взял свой меч и подошел к ложу, на котором спали Абу Али с Мариам. Протянул эмир вперед руки и нашел шею Абу

Али. Вынул он меч из ножен и занес над его головой. Но пока делал он это, во сне перевернулись Абу Али и Мариам, и положила женщина голову на подушку мужа. Опустил эмир меч на шею своей дочери, но, едва коснувшись ее, превратился меч в тонкую сухую тростиночку, которая тут же рассыпалась, потому что могла Мариам, подобно магу, превращать сталь в прах, хоть и не знала этого про себя. А слепой эмир вышел из хижины и побежал по волшебному саду, выставив вперед руки. И нашли его руки шею волшебного коня. Сел он на коня, нащупал винт и покрутил его. Наполнился конь воздухом и взлетел под облака. Больше слепого эмира никто не видел. Одни говорят, что и доньине летает он на волшебном коне по небу; другие — что разбился вместе с конем о скалы, когда пытался опустить его; третьи — что живет слепой эмир в Кандагаре в почете и роскоши в окружении верных слуг, а волшебного коня повелел сжечь, чтобы никто больше не смог, подобно птице, подняться в небо; четвертые болтают, будто волшебный конь ожил, сбросил с себя слепого эмира, опустился на землю и пасется сейчас в Пандшерском ущелье, а пять львов охраняют его от злых людей. Много всякого рассказывают люди, но только Всевышний знает, как оно было на самом деле. У Абу Али и Мариам родились внуки и правнуки, а народ в благословенной Чарикарской долине счастлив в своем забвении...

Митя открыл глаза. На его колене сидела желтая саранча. Он вынул из-под головы затекшую руку и стал разминать пальцы. Саранча, уловив его движения, подобралась, резко выпрыгнула вверх и исчезла. Митя с удивлением уставился на спящего взводного. Он не мог понять, действительно ли Костя рассказывал ему сказку про летучего коня или была она полуденным сном? Митя сел и потрогал ступни. Пятки болели, но опухоль как будто стала меньше. Взглянув на солнце, он понял, что проспали они не меньше четырех часов, и толкнул Костю в бок. Взводный резко сел, потряс головой.

— Ты че, блин?

— Проспали! Попадет нам.

— Ну да? — Костя схватил корзину. — Давай бегом!

Абдул сидел под тутовым деревом и заворуженно смотрел, как развеивается по ветру тонкими блестящими нитями шелковая паутина. Шурави он будто и не заметил. Они поставили корзины и стали насыпать землю.

На следующий день опять таскали землю. Таскали, курили афганский чарс, а после спали в тени под большими валунами на Мертвой реке. И на третий день, и на четвертый, и на пятый... Митя и взводный знали, что Абдул понимает все их хитрости и при желании мог бы наказать, но не делает этого, потому что ему и так хорошо, потому что лень. Лень ходить за ними, поднимать руку, угрожающе вскидывать автомат, лень произносить вязнущие на языке, ничего не значащие для него слова: «Чижик-чижик, работать!» Ему хочется сидеть под деревом и заворуженно смотреть на шелковые нити — иногда ветер отрывает их, и они летят, поднимаясь вверх, растворяясь и исчезая в безоблачном небе. Митя уже не чувствовал ни тяжести корзины, ни боли в ногах. Днем они перебивались на подножном корму: тутовник, молодой орех, дикий чеснок, а вечером их кормили кашей. Митя начинал привыкать к однообразной, монотонной жизни. Она во многом напоминала взводную, разве что работать приходилось чуть меньше да никто не ставил ночью часовым...

Митя проснулся от того, что солнечный зайчик застыл на его заросшей щеке, и удивился, что никто не стучит палкой по столбу, не кидает корзины под ноги, не торопит их на работу. Он слез вниз и увидел взводного, который сидел у двери, ковыряясь в зубах тонкой щепкой. Костя внимательно наблюдал за тем, что происходит во дворе. Митя подсел к нему, заглянул в щель между досками. Недалеко от двери возились в пыли белоснежные куры.

— Духи затемно ушли наших долбить — я слышал, — произнес Костя тихо. — Может, сегодня кого хоронить будут. Нам бы хоть одну сучку сюда поближе подманить, а, Кычанов? — Костя поднял руку, и Митя увидел в его ладони крупную гальку. — Вверху щель большая, должна пролезть.

Митя полез в карман брюк «хэбэ», вывернул его наизнанку. На земляной пол посыпались крупные крошки. В учебке сержанты долго пытались отучить его от привычки тырить куски хлеба по карманам, один раз даже заставили съесть буханку перед ротой, но не смогли.

— Ты их подманивай! — приказал Костя.

— Цып, цып, цып-цып-цып! — Митя собрал крошки и стал кидать их у двери.

Куры встрепенулись, кинулись к хлебу, толкая друг друга. Костя встал на цыпочки, просунул руку с галькой в щель между полусгнившими досками над дверным косяком и, когда куры были под дверью, швырнул в них камень. Куры с возмущенным квохтаньем разлетелись в стороны.

— Не попал, — грустно констатировал взводный. — Ну ничего, мы на них управу найдем!

Костя отошел в глубь сарая, скоро вернулся с двумя окатышами, и Митя понял, что взводный натаскал их с Мертвой реки в корзинах с землей, и немало. Может быть, для того, чтобы подороже продать свою жизнь или при удобном случае размозжить голову Хабибуле и его сыну?

На этот раз Костя был точнее — молоденькая курочка осталась лежать под дверью. Они стали рыть землю. Работали слаженно, быстро, будто всю свою жизнь занимались подкопами. У Мити рука была тоньше, и скоро он сумел просунуть ее под дверь, прижавшись щекой к доске, дотянулся до куриной головы, втащил курицу внутрь.

— Ну, Кычанов, медаль «За боевые заслуги»! Если выберемся, лично представлю! Камни, камни не забудь назад!

Они засыпали подкоп и тщательно утрамбовали землю, после чего сделали небольшое углубление посреди сарая, набросали в него щепок, соломы. Быстро ощипали курицу. Взводный вспорол ей живот острой щепкой и вынул внутренности. Тушку насадили на рогатину. Сердце и печенку отдельно — на тонкий пруттик. Костя чиркнул зажигалкой, огонь весело запылал, наполняя сарай дымом. Оба были очень взволнованы, глотали слюни... Снаружи курица подгорела, внутри осталась сырой, но они съели ее всю, вместе с мелкими костями. Затоптали костер, забросали углубление соломой. Весь дым быстро выдуло сквозняком через щели. Убедившись, что видимых следов преступления не осталось, сытые и счастливые, забрались на помост и стали курить косяк. А потом хохотали над незадачливой курицей.

У поста было оживленно. Кроме ротных бронетранспортеров, выстроившихся в колонну на обочине дороги, у южной стены дома стояли три крытых «КамАЗа». Солдаты то и дело подносили к задним бортам кровати, ящики, тумбочки, столы. На бронетранспортеры грузили большие снарядные ящики. Офицеры бегали, суетились, кричали на нерасторопных чижиков, солдаты нервничали, делали все не так, и оттого у поста царили всеобщая сумятица и неразбериха. Вчера из полка поступил приказ сниматься с охранения и следовать к месту дислокации части. На их пост заступала другая рота другого батальона другого полка. Вот-вот должна была появиться колонна сменщиков, и офицеры волновались, что не успеют вывезти ротное добро.

Один из «КамАЗов» отъехал от стены, развернулся, подняв густую пыль, стал пятиться к полевой кухне. Чуча вылез из низенькой дверцы в стене с мешком в руках, глянул на номера «КамАЗа» и, довольно усмехнувшись, подошел к машине.

— Здорово, землячок! — сказал он, влезая в кабину.

Водитель — крепкий парень в тельняшке — лениво пожал руку.

— Ну что, Чуча, к дембелю готовишься?

— Ну да, с нашим ротным подготовишься! Взял всем старикам «хэбэ» распорол! Замполит придумал — борьба с деовщиной. На-ка вот! — Чуча залез в мешок и достал горсть грецких орехов.

Водитель положил на сиденье панаму, и Чуча заполнил ее орехами.

— Чего сняли-то, знаешь?

— Угу.— Водитель взял пару орехов, сдвинул их в руках.— Армейскую операцию готовят. На Панджшер пойдём.

Чучерин присвистнул.

— Блин, уволился, называется! Думал, простою здесь до дембеля — и чао-какао!

— Угу, простоишь! — Водитель разжевал орех, выкинул скорлупу в окно.— Таких хитрожопых знаешь сколько? Тебе я, Чуча, скажу — есть один отмаз, да не про вас! — Рассмеялся.— Классные орешки. Сменщикам ничего не оставили?

— Ладно, чего хочешь? Хочешь зажигу классную?

— Ты мне парадку сорок восьмого размера сделай и сапоги с узким голенищем.

— Лады. Вот в полк приедем... У тебя рост какой?

— Сто семьдесят два. Ну ладно, замполит стогошил у штаба стеллу ставить, чтобы там всех награжденных написать. Дембельский аккорд. Это, считай, первая отправка в октябре. Но только по состоянию здоровья, с язвами там, которые от рейда косят. У тебя, Чуча, язвы есть?

— Да я весь в язвах, умру скоро! — усмехнулся Чучерин.

— Ну да, а мне хрен отмажешься — баранку крутить! Видишь, ему и рейд, и стеллу надо. Это мне писарь сказал. Хорошо им, сукам, писарям, без аккордов с первой отправкой свалят!

— Ну ладно, спасибо, землячок. Я к тебе через неделю в палатку забегу.— Чуча отсыпал еще орехов и вылез из кабины. Он спрыгнул с подножки и побежал к своему бронетранспортеру.

— Ну-ка стоять, солдат! — послышался грозный окрик ротного.

Чуча замер. Капитан поманил его пальцем:

— Сюда иди, да!

— Товарищ капитан.— Чучерин сделал страдальческое лицо.— Как же я? Уедут без меня!

— Без тебя никто не уедет. Что у тебя в мешке?

— Орешки.

— Пошли за мной!

— Товарищ капитан, чего я сделал-то? — захныкал Чуча.

Они вошли во двор поста. Ротный направился к лестнице на второй этаж.

— Вы у меня с Дохаевым на особом контроле, не вякай!

Ротный завел его в пустую комнату с грязными полами — здесь была взводная казарма, — взял мешок и перевернул его. На пол со стуком посыпались орехи, раскатились в разные стороны, выпал большой полиэтиленовый пакет. Ротный раскрыл его и заглянул внутрь.

— Это чего, орешки?

— Джинсы, — едва слышно пролепетал Чуча.— В чековом купил.

Ротный стал рыться в пакете.

— А это — тоже в чековом? — В руке он держал дешевые дамские часики.

— Это маме подарок.

— Значит, мародерствовал на посту? — Ротный стал наступать на Чучу.— Ну-ка смиренно стоять! Отвечай: машины шмонал, дуканы грабил?!

— Товарищ капитан, ничего такого! Это я в одном доме нашел!

— Ладно, я с тобой еще в полку разберусь! — Капитан неожиданно остыл, поднял пакет и направился к двери.— Убери за собой мусор!

Когда он вышел, Чуча начал остервенело топтать ботинками грецкие орехи:

— Гнида, гнида, гнида!.. Вот гнида, а!

— Ты, Кычанов, расскажи чего-нибудь, а то все я.— Костя запустил в потолок соломинку.— Ты на гражданке кем был?

— Я? Никем. На кафедре лаборантом.

— Колбы мыл?

— Книжки выдавал.

Они лежали на помосте в одних трусах, разморенные, потные. Спать больше не хотелось, кайф от косяка прошел, а от курицы остались только приятные воспоминания. Жаркий день близился к концу.

— Понятно, значит, ты во взводе чморем был?

— Почему это? — обиделся Митя.

— Книжки он выдавал! Морды надо было бить да баб иметь по сто на дню!

Это разве жизнь?

— Нет, не жизнь,— согласился Митя.

— Вот и рассказывай.

— Ну а чего рассказывать? Прислали с учебки, и сразу дорогу охранять.

Почти год и простоял.

Скрипнула калитка, и во дворе раздался афганский говор. Костя с Митей соскользнули с помоста, прилипли к дверям. Во двор входили бородатые люди в запыленной одежде с автоматами. Один нес на плече ковер, другой — складной велосипед, третий — большой тюк. Митя никогда раньше не видел их.

— Видишь, духи — тоже люди, подворовывают при случае,— прошептал взводный, подмигнув.

Двое афганцев внесли во двор самодельные носилки, осторожно опустили их на землю. В сгущающейся темноте не было видно, кто там лежит.

— Ну я говорил, наши кого-нибудь грохнут! — Костя подтолкнул Митю в бок и выставил большой палец.

Последним вошел Хабибула. Он сел на колени перед носилками и стал что-то говорить низким голосом. Костя с Митей переглянулись. Во дворе появился парень, он вел за собой сутулого старика в чалме.

— Это ихний мулла,— прошептал взводный.— Ему лет двести. Сейчас молиться будут.

Действительно, афганцы расстелили платки, опустились на колени. Мулла что-то приказал Хабибуле. Чернобородый поднялся и направился к сараю. Они отпрянули от дверей.

Хабибула зазвенел ключами, снял замок, отодвинул засов, включил яркий фонарь и направил на шурави. Они вжались в стену сарая. Яркий луч осветил Митино лицо. Он сощурился. Хабибула заговорил.

— Слушай, он хочет, чтобы ты сходил к Мертвой реке... и ручью в роще. Воды надо набрать. Очень быстро сходил,— перевел взводный.— Ботинки наден, в темноте ноги собьешь.

Митя напялил на ноги ботинки и вышел из сарая. Хабибула закрыл сарай, ушел в дом.

— Беги, Кычанов, беги! — раздался за спиной взволнованный шепот Кости.— Ночь сегодня темная, духи с рейда, постов нет. Перейдешь ручей за рощей

и в горы уходи. Держись по солнцу на юго-восток. Выйдешь к дороге, там тебя наши подберут. Иначе хана нам обоим, понял?

Митя почти не слышал, о чем говорит взводный, он испуганно смотрел на Абдула, лежащего на носилках. Его ноги были обмотаны окровавленными тряпками, лицо покрылось бисером пота. Абдул тяжело дышал и беспрестанно облизывал высохшие губы. Хабибула вышел из дома с двумя глиняными кувшинами. Протянул их Мите. Митя взял кувшины и побежал. Он бежал, пока хватило сил. Недалеко от валунов упал, чувствуя, как сердце рвется из груди. Подумал, что зря в последнее время курил так много чарса, поднялся и пошел, стараясь успокоить сердцебиение. Посреди Мертвой реки он вывернул из глиняного гнезда крупную гальку. Углубление тут же стало заполняться водой. Митя вдавил кувшин боком в глину, наклонился, вглядываясь в черную воронку горлышка, убедился, что кувшин потихоньку заполняется, и пошел дальше. В роще было совсем темно. Ветер шумел в кронах деревьев. Нити шелковой паутины носились по воздуху, кружились, взмывали вверх, прижимались к земле, опутывая траву. Одна из таких нитей коснулась Митино лица, и ему вдруг стало жутко. Он резко обернулся, боясь увидеть человека, сотканного из этих нитей, но увидел только рваное шелковое покрывало на ветвях орешника, побежал, стараясь не думать о том, что у него за спиной. Наконец увидел мшистые камни с беззвучным ручьем и обрадовался. Сунул кувшин под ледяную струю. Ветер сгонял из-за гор тучи, и скоро луна с выщербленным боком, недавно поднявшаяся на небо, стала не видна. Мите опять показалось, что кто-то стоит сзади, и в то же мгновение за спиной раздался шорох. Он в ужасе вскочил, перепрыгнул на другую сторону ручья. То ли чья-то покрытая шерстью рука исчезла в кустарнике, то ли просто качнулась ветка. «В горы уходи, на юго-восток. Иначе хана нам обоим...» — всплыли в голове слова взводного. Он развернулся и, не оглядываясь, побежал к горе. Кувшин переполнился, и вода заструилась по его глиняным бокам. Склон оказался крутым. Митя карабкался по нему, выбиваясь из сил, но ноги соскальзывали, и он катился на животе вниз вместе с потоком песка и камней, как тогда в рейде Чуча. И вдруг он понял, что не может никуда уйти. Полежал немного, отдышался, спустился к ручью, сунул голову под струю, поднял мокрый кувшин и направился назад. Ветер приутих, и паутина прозрачным ковром улеглась на земле. Прежде чем выйти из туговой рощи, Митя снова оглянулся, и опять то ли зверь, то ли призрак показались ему среди ветвей орешника. Пошел мелкий дождь. Капли шумно сыпались на валуны, на гальку, смывали с лица пот. Второй кувшин пришлось искать в темноте, впрочем, нашел он его довольно быстро, облизнул горлышко, почувствовав сладковатый привкус, и заторопился к покрытому пеленой дождя кишлаку.

Во дворе было все так же многолюдно, горело несколько фонарей. Носилки поставили под навес около дома. Митя, тяжело дыша, протянул кувшины Хабибуле. Хабибула передал их мулле. Мулла поставил кувшины у ног Абдула, пробормотал что-то, стал разматывать окровавленные тряпки. Митя отшатнулся — вместо ног он увидел обломки костей. Хабибула заметил его испуг, глянул на него зло, грубо подтолкнул к сараю. Когда он запер дверь, Митю вырвало желчью. Он отошел подальше, упал на солому.

— Не ушел? — раздался с помоста голос Кости.

— Не смог, — прошептал Митя. — Не забраться там. У Абдула ног нету.

— Мина. Поди сами и понаставили. А ты дурак! Если он умрет, они нас обоих кончат. Меня бы послали, я б ушел.

— Не смог, — повторил Митя и отер горечь с губ. — Меня с горы кто-то вниз толкал, а в роще паутина летает, бегают кто-то.

— Ну да, туговые духи шелк стерегут, будут нам саван прясть. — Костя весело усмехнулся. — Залезай, спать будем!

Митя забрался на помост, улегся ничком. Его била мелкая дрожь.

— Им же вода нужна была!

— А, ну понятно! Сострадательный ты наш. Душманов пожалел. Посмотрим, что они с тобой завтра за твою жалость сделают... Сейчас они его мертвой водой промоют, живой заживят. Сказки все это, Кычанов, в госпиталь его надо. Господи, какому ж богу молиться, чтоб Абдульчик-бача живой был! Ты молись, Кычанов, молись, завтра для нас воду понесешь!

Во дворе мулла читал молитву, жгли какую-то пахучую горькую траву. Дрожь не проходила, и Митя чувствовал, что внутри все горит.

— Что-то плохо мне.

Костя потрогал его лоб, вздохнул и стал укрывать сеном.

— Хороший ты парень, Кычанов. Добрый, душевный. Поспать тебе надо, а утром будешь огурцом. Больным нельзя умирать.— Взводный повернулся к нему спиной и громко зевнул.

Дождь кончился. Митя долго не мог уснуть, все прислушивался к непонятным разговорам за стеной сарая, вдыхал горький запах травы. Он вспоминал дом и маму. Хотелось плакать. Вскоре он понял, что Костя тоже не спит, а только притворяется спящим. «Храбрится, а сам такой же»,— подумал Митя...

Он открыл глаза и увидел, что уже утро. Костя сидел рядом с ним на помосте и забивал косяк. Во дворе раздавался стук — долбили камень.

— Умер он,— сказал Костя просто.— Недавно унесли.

Митя спрыгнул с помоста, припал к двери. Посреди двора перед плоским камнем на корточках сидел парень в афганской рубахе и шароварах черного цвета. В руках он держал зубило и молоток. Удары его были коротки и точны. Он сдувал пыль с камня, чтобы видеть буквы, иногда от усердия высовывал язык и водил им из стороны в сторону по обветренным губам. Закончил, полюбовался своей работой. Вынул из кармана шаровар пачку «Ричмонда», закурил. Выкурив сигарету, поднялся, размял затекшие ноги, взял камень под мышку и вышел со двора.

Митя отошел от двери, с тоской поглядел на струящийся сквозь щели утренний свет.

— Что теперь будет?

Взводный протянул ему косяк:

— На, весь кури, не хлызди. Ты свой, я свой. Помянем душу раба божьего Абдула, пусть земля ему пухом.— Костя дал ему подкурить.

— Почему же так? — растерянно сказал Митя.— Люди живут без ног.

— А я знаю? — Взводный сделал глубокую затяжку.— Не помогла, значит, вода.

Митя докурил косяк до конца и улегся внизу на соломе. Сарай тут же качнулся, будто началось землетрясение, в щели тонкими нитями заструилась белая паутина. Он увидел чьи-то внимательные глаза, которые смотрели на него в щель потолка, вскочил, быстро залез на помост, прижался к Косте.

— Ты чего? — удивленно уставился на него Костя.

— Видишь там? — Он указал пальцем на щель.— Это вчерашний.

— Угу! — Костя расхохотался.— А у меня там баба голая. Хочешь, махнемся? Он у тебя симпатичный?

Где-то близко защелкали короткие автоматные очереди, одиночно грохнули «буры». Митя встрепенулся, вопросительно посмотрел на взводного.

— Похоронили,— произнес Костя.— Ты теперь лежи, не дергайся, досматривай глюки.

В этот день о них словно забыли. Душманы вместе с муллой вернулись во двор. Резали кур, готовили плов. Потом были поминки. Дразнящий запах еды заползал в щели сарая. Они старались не вдыхать его, но он вползал в ноздри и за-

ставлял часто глотать слюну, которая после чарса была густой и горько-сладкой. К вечеру, когда мужчины ушли, Хабибула сел на пороге дома и стал кормить лепешкой оставшихся кур. При свете заходящего солнца им хорошо было видно, что он не плачет.

На следующее утро чуть свет Хабибула сел на складной велосипед и уехал. Его не было весь день. Они лежали на помосте, разжевывая траву и мелкие цветы, высасывая из них остатки сока, но голод и жажда становились все нестерпимее.

Вернулся Хабибула не один. За ним во двор вошел старик с «буром». Он вел под уздцы двух ишаков. На одном из них сидела женщина в парандже сиреневого цвета. Хабибула пригласил старика войти в дом. Женщина спешила, показав тряпичные туфли, голые лодыжки и легкие шаровары. Она отошла в дальний конец двора, где из камней был выложен летний очаг, и села там.

Костя оттащил Митю за рукав от двери. Вид у него был потерянный, испуганный.

— Я же тебе говорил: хана! Это кореш его! На ремни порежут!

— Ты его видел хоть раз? — Митя почувствовал, как задергалась под взглядом жилка.

— А мне видеть не надо. Я их задницей чувствую! — Костя потащил его в дальний угол сарая, припер к стене, заговорил быстро, брызгая слюной: — Наврал я тебе, Митяй, не было тут тайника, и коня не было. Там я его взял, там. Швырнул «эфки» и полез смотреть, что там. Дети мертвые уже, и женщина с ними. Все осколками покоцанные, а рядом игрушки. У пацана лошадь эта, а у девчонки куклы тряпичные, старинные. Ногу-то коню осколком отбило. Я смотрю, хорошая вещь, дорогая — и сунул в вещмешок. Спустился, смотрю — наши чешут. Чего там, говорят. Я им: пусто там. А у самого руки трясутся и ботинки в крови. Ну откуда я знал, Митяй, ну скажи мне! Они ведь всегда в горы уходят, когда операция. А эти не ушли! Я-то в чем виноват? Мы всегда «эфки» бросаем! Ну скажи, ты ведь тоже бросал, да? Инструкция такая: не бросишь — пальнут!

Митя кивнул, испуганно глядя в бешеные глаза взводного.

— А тут засада! Я ребят потерял. Думаешь, легко? Ты мне скажи? Он у меня автомат взял, а вещмешок шмонать не стал. Я оклемался и затырил конягу. Думал, вынесет она меня. А у нее винтов нету, зараза, чтоб взлететь! Ты не думай, Митяй, не шизанутый я, нормальный! Это я контуженный такой! Говорил я тебе — беги! Видел, сколько тут народу во дворе толклось? Не было у них вчера там постов. А ты... Если выживешь, сбереги его, дембельнешься, поедешь ко мне на родину, родителей повидашь, наврешь чего как, а конягу девушке моей отдай. Она потом замуж выйдет, детей нарожает, вот и будет им игрушка! Ну чего ты молчишь, Кычанов?

— Да-да, — растерянно кивнул Митя. — Отдам.

Костя залез на помост, вернулся с изорванной, выцветшей панамой. Из подкладки панамы достал автоматную гильзу, выбил из нее на ладонь бумажку. Митя знал, что это. Они тоже писали такие. Фамилия, имя, отчество, военкомат, с которого призывался. Посмертная записка называется.

Костя развернул бумажку:

— Здесь адрес мой, и ее тоже, и телефон. Ты мне свою дай. Вдруг мне повезет, тогда и свидимся, побухаем. Ленинград — хороший город.

— Нету у меня. У Абдула... — Он осекся.

— Ладно, так говори, я запомню.

Дверь отворилась. На пороге стояли Хабибула, старик и женщина в парандже. Хабибула жестом приказал подойти. Они повиновались. Женщина заговорила. Голос у нее был мелодичный и звонкий, словно щебетала утренняя птичка. Старик что-то коротко бросил женщине, и она вернулась во двор. Хабибула

со стариком начали спорить. Костя сунул за спиной в Митину руку гильзу. Чуть позже Митя понял, что старик торговался с Хабибулой, но сейчас он ничего не соображал, его трясло от страха, он даже не видел их лиц — какие-то черные пятна на фоне гор. Хабибула кивнул, старик отвернулся и стал развязывать веревочку на штанах. Из штанов он извлек тряпицу, в которую были завернуты деньги. Хабибула послонявил палец и стал считать мятые, засаленные купюры. Считал он долго. Митя с Костей неотрывно следили за тем, как грубые, черные пальцы с грязными ногтями перебирают деньги. Затем Хабибула небрежно сунул деньги в карман и приказал Косте выйти. Взводный крепко обнял Митю и сказал: «Бывай, Кычанов, выкрутимся!» Когда дверь за ними закрылась, Митя на цыпочках подбежал, присел у щели. Он увидел, как старик вяжет Косте руки длинной веревкой. Женщина села на ишака, опять показав голые лодыжки и шаровары. Старик попрощался с Хабибулой, поправил попону на ослиной спине, взял конец веревки в руку, легко вскочил на ишака. Костя с тоской смотрел на сарай. Старик натянул веревку и ладонью хлопнул ишака по задку. Тот потащил Костю со двора. Когда они скрылись за дувалом, Митя на четвереньках отполз от двери, лег ничком в солому и закрыл голову руками.

Был поздний вечер. Послышалось звяканье замка, Хабибула поставил на пороге миску и снова закрыл дверь. Митя подполз к порогу, стал руками есть теплую кашу. Ел, безразлично глядя сквозь щель на освещенный луной двор, на повисшую на шесте рваную афганскую тряпку. Доесть не смог, потому что желудок за два дня совсем отвык от еды, сморщился, сохся; поставил миску на помост, чтоб мыши не испортили еду, забрался сам. Лежал и смотрел на крохотную звезду в небе. Он представлял, что сейчас делает взводный. Наверное, они уже в кишлаке, и старик его покормил. Тоже какой-нибудь кашей или сушеным тутовником. Может быть, он сидит в хлеву со связанными руками и так же смотрит на звезды сквозь щели в досках? А может, идет по горной тропе к своим? Он же разведчик, сильный! Догнал этого долбаного старикана, звезданул ему ногой по морде, а потом из «бура» их всех: и его, и бабу, и ослов этих вонючих! Митя разволновался, представив, как взводный спускается с горы, бежит к дороге, наперерез ползущей по взгорью колонне. Нет-нет, какая ночью колонна? Он сейчас лежит, притаившись в кустах, слушает цикад и вспоминает про него, Митю. Завтра он придет к своим, и сюда будет рейд. Но Костя не знает, что он сам ушел с поста. Он ничего не знает! Ну а что бы он ему сказал? Что Чуча с Духомором достали? Если его освободят — следствие, трибунал. Ну и что! Он скажет им, что его достали. И что духи его захватили, а не он сам! Может, и простят. А потом он дембельнется, поедет к Косте — на его девушку хочется посмотреть — или, наоборот, Костя к нему в Питер приедет, и они забухают — это точно! А потом сядут на Марсовом поле и будут долбить косяк у всех на глазах, и пусть им кто хоть слово скажет!..

Он проснулся оттого, что кто-то стучал палкой по столбу. Увидел в щель солнечный свет. Сел на помосте, не сразу поняв, что происходит, протер глаза. Внизу стояли Хабибула и парень в черной одежде, который два дня назад выдалбливал буквы на надгробном камне для Абдула.

— Спускайся вниз! — приказал парень.

Митя соскользнул по столбу. Хабибула жестом предложил ему сесть. Сами афганцы тоже опустили на солому.

— Хабибула хотел бы с тобой поговорить, — начал парень. — Ну чего уставился? Не проснулся еще? Меня Азизом зовут, я у вас в сельхозакадемии учился.

— Хорошо, — почему-то сказал Митя, он, и правда, спросонья не мог поверить, что афганец говорит с ним на русском почти без акцента.

Хабибула начал говорить. Парень переводил без заминок.

— Он говорит, что ты ему не нужен. Ты неверный, и он не хочет, чтобы ты ел и спал здесь. Вы, русские, убили его сына, а его отец сидит в тюрьме. Из-за вас он должен был оставить жен и дочерей. Они жили у Чарикара, а теперь он живет в горах, прячется от вертолетов и не может увидеть родных. Он знает, что ты ушел с большого поста на Баграмской дороге. Много русских искало тебя в долине. Он не знает, зачем ты так сделал, но ты поступил глупо.

Митя вдруг понял, что, если он сейчас ничего не скажет, его могут убить. Хабибула ведь ясно сказал: не нужен!

— Я хотел сюда прийти к вам,— заговорил Митя срывающимся от волнения голосом.— Я не хотел с ними жить. Я их ненавижу, потому что они не давали мне спать и заставляли стоять на посту вместо себя.— Он торопился, боясь, что его прервут.— Я сам ушел. У меня было четыре автомата, но я их потерял, потому что они начали стрелять из пулеметов. Я знаю, что они...

— Помедленней, я не успеваю! — раздраженно сказал Азиз.— Так ты дезертир?

Митя посмотрел на него растерянно и кивнул. Азиз перевел Хабибуле. Хабибула долго молчал, теребил густую бороду, смотрел на него пристально, будто пытаясь прочесть мысли. Потом они о чем-то заспорили с Азизом. Впрочем, Азиз особо не перечил. Он достал пачку «Ричмонда». Хабибула посмотрел на него выразительно. Азиз понял его взгляд, вышел во двор, закурил.

— Слушай, шурави,— сказал Азиз, выпуская дым.— Он потерял троих человек, и люди ему нужны. Ты, наверное, плохой солдат, да?

Митя пожал плечами.

— Конечно, плохой,— усмехнулся Азиз.— Он может тебя взять, но для этого ты должен принять веру, поменять имя... Все, короче. Может быть, нам придется уходить в Пашевар и жить там. Хочешь? Подумай, потому что домой тебе дороги не будет. Но если ты будешь настоящим моджахедом, когда наступит мир, он женит тебя на своей дочери и даст калым. Хабибула слов на ветер не бросает. Ты это знай!

— Как... веру? — пробормотал Митя растерянно — он никак не ожидал такого поворота событий.

— Ты подумай, парень! — Азиз докурил, поплевал на окурочек, щелчком выкинул его за дувал и вернулся в сарай.

Хабибула опять заговорил:

— Сам он строго придерживается законов шариата и не делает ничего такого, что делаете вы, русские. Но если ты будешь курить, как я, он ничего не скажет. В Рамазан ты должен будешь соблюдать пост.

— Да-да, — автоматически кивнул Митя, все больше волнуясь. — Азиз, что мне сказать ему? — В переводчике он неожиданно почувствовал своего союзника.

— Соглашайся, — вздохнул Азиз. — Продавать он тебя не будет, он мне сказал. Может быть, убьет. Вообще-то ты ему понравился, а то сразу бы убил.

— Я не могу так. Я должен подумать, — едва слышно сказал Митя, стараясь не смотреть в пытливые глаза Хабибулы. — До... до завтрашнего дня. Хорошо?

Азиз перевел его слова. Хабибула кивнул и поднялся с соломы. Ушел в дом.

— Сигаретой не угостишь? — попросил Митя.

Азиз протянул ему пачку.

— Бери сразу две. Мне у вас нравилось. Москва — красивый город и девушки хорошие. У меня было, — Азиз посчитал на пальцах, — четыре. Как жены. Деньги любят, цветы любят. А ты откуда?

— Из Ленинграда. — Митя сунул сигареты за подкладку панамы.

— У, тоже город хороший. Я два раза был. Э... — Азиз пощелкал пальцами, припоминая что-то. — Белые ночи, да? Красиво. Холодно только. — Пере-

водчик поежился, видно, вспомнив майский ветер с Невы. — Не бойся ты, на зиму уйдем в Пакистан. Там будут деньги платить. А здесь ты умрешь. В тюрьме плохо очень.

— Азиз, куда Костю увезли?

— Этот? — Переводчик показал на плечи, имея в виду звездочки на погонах. — Ты о нем забудь. Нету его.

— Как нету? — У Мити перехватило дыхание.

— Плохой он человек. Не человек, зверь. Нету его, не спрашивай! — Азиз начал злиться.

Хабибула появился во дворе, и переводчик замолчал. Хабибула протянул Мите станок с лезвием, крохотное зеркальце, розовый обмылок и трубку-кальян с завернутым в полиэтилен чарсом. Жестом показал, что он может взять со двора кувшин с водой, умыться.

— Спасибо, — кивнул Митя и глянул в зеркало. На него смотрело незнакомое бородатое лицо с резко обозначившимися у глаз морщинами. Волосы выцвели и походили на солому. Он вспомнил, как впервые увидел Костю. Слова «нету его» были непонятны. Что значит — нету? Убили его? Расстреляли? Увели туда, где им никогда не встретиться? Или ему просто приказано забыть о нем?

Хабибула что-то сказал переводчику, и они ушли, не закрыв сарай. Митя, не веря тому, что его оставили одного, осторожно вышел во двор, огляделся, щурясь от яркого солнца. Присел у кувшина с водой. Стал намыливать подбородок и щеки...

Афганская одежда была ему впору. Он придирчиво осмотрел длинную рубаху салатного цвета, шаровары. Все было не новое, и он боялся, что в складках спрятались белесые вши. Одежда, однако, была чистая и даже пахла какой-то сладкой травой. Дал ее Хабибула. Показал на два резиновых ведра и кувшины с водой, велел ему хорошо вымыться, одеться в афганское и ждать, когда он вернется. Митя постеснялся мыться во дворе. Он затащил кувшины и ведра в сарай, разделся догола и стал с наслаждением поливать себя нагретой на солнце водой. Из соломы с писком полезли крохотные мыши — видно, он залил их нору. Вытерся своим «хэбэ», напялил рубаху и шаровары, сел во дворе на корточки и закурил кальян. Ветер приятно обвевал лицо и мокрые волосы, вода в кальяне булькала, когда он втягивал в себя жгучий дым. Он настолько привык к чарсу, что теперь не кашлял и не задыхался.

Появился Хабибула, велел идти за ним. Они вышли со двора и зашагали вдоль каменных террас по склону. Поля были пусты, ветер гонял по ним перекасти-поле, звенел песком и соломенным сором. Хабибула показал на дикого козла, который торопливо удирал от них по склону, сказал, что он похож на шуврави — такой же вонючий и трусливый. Митя теперь немного понимал по-афгански, но сам пока не говорил — боялся. Хабибула показал ему на тропу, и они стали подниматься к дому муллы.

Во дворе у муллы было многолюдно. Афганцы сидели на корточках недалеко от летнего очага, разговаривали, смеялись. Огонь выбивался из печи, бойко лизал черные камни. Под навесом на крюке покачивалась баранья туша. Из стоящего на земле двухкассетного магнитофона лилась витиеватая восточная мелодия. Хабибула сказал Мите, что он должен войти в дом, сам остался во дворе. Митя поднялся на второй этаж, озираясь на людей во дворе, открыл дверь.

В комнате ярко горели керосиновые фонари. Было натоплено и душно. Он увидел расписанные ярким орнаментом стены, двух стариков в чалмах, сидящих на плетеных афганских лежанках. Ему показалось, что старики посмотрели на него недобро. Он поклонился им. Посреди комнаты на маленькой чугунной печ-

ке стоял жестяной таз, в нем кипела вода. В тазу лежали широкие ножи. Он никогда не видел таких: массивные загнутые ручки покоились на кромке, остро заточенные лезвия без следов ржавчины и изъязнов были опущены в воду. На ножках блеснул яркий свет фонарей. Из соседней комнаты появился мулла, за ним — Азиз. Переводчик внес в комнату низкий стол и деревянную раму. Он улыбнулся, поставил недалеко от печки стол, перед ним раму. На раму накинул пахнущую травой ткань. Мулла велел Мите подойти.

— Подойди ближе! — приказал Азиз. Он встал рядом с Митей, снова улыбнулся. — Открой рот, подними язык, одну хорошую штуку дам.

Митя открыл рот, и переводчик сунул ему под язык зеленый шарик насвая. Рот тут же онемел от горечи. Мулла приспустил шаровары, взял холодными руками его член. Митя хотел заглянуть за ширму, но старческие пальцы впечатались в его щеку, отвернули его голову в сторону.

— Соси, соси, не выплевывай! — приказал Азиз.

Митя почувствовал, как от насвая холодеют кончики пальцев. В голове была вата, сквозь нее голос Азиза доходил не сразу:

— Ты теперь как настоящий моджахед. Хочешь, сфотографируйся, маме фото пошлешь...

Мулла что-то сказал, и руки стариков потянули его плечи вниз, заставляя присесть. Он даже не почувствовал деревянного стола...

— Из Пакистана богатым вернешься. Знаешь, какая страна? Хочешь, золото невесте купишь, хочешь — машину. Женишься, родителей в гости пригласишь...

Митя запоздало вскрикнул, почувствовав боль.

— Все уже, хороший! Разве больно? — услышал он издалека голос переводчика.

Чьи-то руки быстро забинтовали его член, Азиз обнял за плечи, повел к двери. Митя глотнул свежего воздуха, и ему стало лучше.

— Не надо насвая, хороший, выплюнь, — сказал Азиз.

Он крикнул что-то людям внизу. Афганцы вскочили и радостно завопили, приветствуя Митю. К нему подошел Хабибула, взял его под руку, осторожно усадил на ковер. В большом котле варился праздничный плов. Дразнящий запах полз по двору, но пока что Мите ничего не хотелось. Он сидел, сплевывая зеленую, горькую слюну, чувствовал, как пульсирует боль внизу.

Немного придя в себя, он стал осматриваться. Увидел двух мальчишек лет восьми, которые жались к дувалу. За воротами стояли три женщины в паранджах. Одна из них держала на руках младенца. Хабибула вышел к ним, взял младенца и понес его в дом. Женщины отошли чуть в сторону, сели на обочине дороги и стали терпеливо ждать. Впервые за время плена он видел женщин. Где они прятались? Почему не ходили с кувшинами к ручью? Поймал себя на мысли, что ведь он теперь один из них, может разгуливать по кишлаку, ходить по горам и даже, наверное, может попросить вернуть ему автомат.

У штаба полка толпился народ. Ночью писарям в строевой части было приказано оформлять военные билеты для первой отправки — всего двадцать семь человек, — а утром весь полк уже знал, что сегодня самолет в Ашхабад. Гладко выбритые дембеля в ушитых парадках, шинелях, в начищенных до зеркального блеска сапогах, с кожаными дипломатами и чемоданчиками заглядывали в окна штаба, подзывали писарей, нарочито небрежно интересовались у них, когда, наконец, их построют для смотра, вынесут документы, зачитают приказ. Тут же толклись их товарищи, с завистью поглядывали на счастливых, вздыхали, шутили, курили сигареты. Появился дежурный, приказал всем разойтись по подразделениям и не маячить под окнами, но никто, конечно, нигуда не ушел. Дем-

беля вместе с провожающими откочевали за штаб, расположились кто на крыльце модуля, кто на газонах, кто на поребриках. Пошли по кругу косяки, слышался смех.

Чуча оставил дипломат Дохаеву и побежал к офицерскому туалету — красному каменному сооружению на пустыре между штабом и особым отделом — вчера на прощальном вечере по случаю дембеля он перебрал «кишмишовки», и теперь крутило живот. Он справил нужду и направился к выходу, на ходу застегивая брюки, когда дорогу ему преградил парень в бушлате.

— А, землячок! — испуганно заулыбался Чучерин. — Тебя уже выписали, да?

— А ты бы хотел, чтобы не выписали? — Водитель наступал на него, отесняя в угол туалета. — Где парадка, Чуча?

— Ну ты сам подумай! Ты в госпитале. Болтали — в Союзе с тифом. Была у меня для тебя парадка, была! Зуб даю, была. Тебя нет, я ее Духомору отдал.

— Где парадка, Чуча?

— Ну ты чего, тупой? Я же сказал — нету! Я ее тебе в Баграм повезу? — Чучерин оттолкнул водителя и пытался бежать, но получил сильный удар по спине. Растянулся на скользком от лизола полу, вскочил. На этот раз получил удар под дых и согнулся пополам, хватая ртом воздух.

— Ты у меня сейчас уедешь на дембель! — Водитель рванул полы шинели, затрещала материя, посыпались крючки. — Ты у меня уедешь!

— Не надо, не бей! — Чуча закрыл лицо руками. — Возьми чеки, купишь себе парадку!

Водитель вывернул карманы кителя, пересчитал деньги.

— Тут всего полтинник, Чуча! Парадка семьдесят стоит.

— Ну нету больше, нету! Я их тебе рожу, что ли?

— Шинель скидай!

Чучерин торопливо скинул испачканную лизолом шинель, передал земляку. Водитель не удержался, на прощание двинул ему боксерским ударом в челюсть и ушел. Чуча поднялся, нашел на полу шапку, ремень, выбежал из туалета. Увидел около ворот автопарка широкую спину водителя и хотел было крикнуть своим: «Дембелей бьют!» — чтоб догнали, отметилили как следует, отобрали шинель и чеки, но около модуля уже не было никого — ни одного человека. Он побежал к штабу. Дембелей построили в две шеренги. Командир полка вместе с замполитом и начальником штаба вручали военные билеты, осматривали форму. Чуча, убедившись, что в его сторону не глядят, встал в строй впереди Духомора. Дохаев ногой пододвинул к нему дипломат.

— Чуча, у тебя вся спина в дерьме, — доложил шепотом.

— Знаю! — прошептал Чучерин.

— А шинелка где?

— Потом! Пошли кого-нибудь в палатку, чтоб надыбали шинель и китель!

Быстро!

Дохаев за его спиной подозревал чижика из взвода, передал приказание Чучи. Полковник оглядел его, взглянул через плечо на Духомора.

— Ба, знакомые все лица! Рядовые Дохаев, Чучерин. А Колмаков где?

— Он это... с другой отправкой, — волнуясь, сказал Чуча.

— А вы почему с этой? Кто приказал? — Полковник повысил голос. — Кто отдал документы в строевую часть?

Замполит части подошел к полковнику, сказал тихо:

— Не бузи, командир, это мои ребята. Дембельский аккорд. Стеллу ставили. Ты стеллу видел? Работали, как волки, заслужили.

— Ну ты и понабрал бригаду, подполковник! Хоть бы поинтересовался, что за воины. По ним тюремная камера плачет! Они на посту оружие просрали!

— Откуда ж я знал? — Замполит нервно задвигал скулами.— Если так, можно завернуть.

— Куда теперь? Ты ведь им пообещал.— Полковник повернулся к Чуче.— Рядовой Чучерин, почему одеты не по форме, где шинель?

— Товарищ полковник, упал я, испачкался,— забормотал Чуча.— Разрешите во взвод?..

Из дверей штаба выскочил дежурный офицер, подбежал к полковнику:

— Товарищ полковник, армейская разведка на проводе!

Командир заторопился к штабу. Открыл дверь кабинета, бросился к телефону.

— Да, слушаю! Диктуйте! — Он взял блокнот, искал в столе ручку.

— В зоне ответственности вашего полка активизировали деятельность бандформирования,— явно по-писаному говорил низкий женский голос.— Диверсионная деятельность банды Хабибулы ставит под угрозу продвижение колонн по Баграмской дороге. Численность банды составляет шестьдесят человек. Семьдесят две единицы огнестрельного оружия: сорок пять автоматов, двадцать "буров", пять ручных гранатометов, два миномета, две рации. По непроверенным данным, в банде есть наемники из Таиланда и Пакистана. Один русский. Действуют диверсионными группами в два-три человека при попустительстве местного населения. Необходимо проведение серии агитационных рейдов в кишлаках, находящихся в непосредственной близости от дороги. Приказываю явиться в штаб армии для разработки плана оперативных мероприятий...

Полковник условными значками рисовал в блокноте автоматы, гранатометы, минометы, ставил напротив цифры, представлял себе эту женщину с низким грудным голосом — этакая разведчица два на три, ни в одну форму не влезет! Написал: «Один русский». Подчеркнул и поставил знак вопроса. Положил телефонную трубку, долго сидел, задумчиво глядя в блокнот. Зачеркнул знак вопроса, написал «Кычанов», поставил восклицательный знак.

Дембеля маялись под солнцем. Полковник оглядел строй. Отметил, что на Чучерине хорошо отглаженная новенькая шинель, подумал: «Умеет же, сукин сын!» — и скомандовал:

— Равняйся!.. Смир-р-рна!.. Товарищи солдаты и сержанты! Не хочу говорить громких слов, но сегодня первая отправка, и вы поедете домой. Среди вас лучшие воины полка. Надеюсь, по дороге вы не будете пить и совершать уголовные преступления...

В строю раздался смех.

— Отставить смех! Вон из артполка двое пытались провезти в Союз героин, а десантники устроили в Ташкенте драку в ресторане! Ничего смешного я в этом не вижу. Надеюсь, вы окажетесь на высоте и не посрамите чести нашего полка. Желаю вам поскорее влиться в мирную трудовую жизнь. Счастливого пути, и благодарю за службу!

Дембеля выдержали паузу, а затем грянуло, раскатилось эхом по горам:

— Служим Советскому Союзу!

Поначалу было много крови. Он боялся, что бинты прилипнут к ране и по такой грязи всё начнет гноиться... На следующий день мулла сам пришел поменять повязку. Бинты легко отстали, мулла смазал рану какой-то темной мазью и снова перевязал. Каждый день он делал ему перевязки, и скоро Митя смог понемногу ходить, правда, приходилось приспускать шаровары на бедра и широко, как кавалерист, расставлять при ходьбе ноги. Его звали теперь Хамедом ас-Баграми. Он никак не мог привыкнуть к новому имени и сердил Хабибулу, который никак не мог его дозваться. Жили они теперь в одной комнате, спал Митя на плетеной кровати в теплом спальнике. Хабибула будил его рано утром, давал

поручения и, закинув автомат на плечо, уходил — иногда на день, иногда на два-три. Митя хлопотал по хозяйству, учился печь афганские лепешки, готовить плов.

В тот день был дождь с градом. Крупные, величиной с горох, градины стучали по крыше, сыпались на землю, стекали длинными нитями белых бус на края горных троп. Хабибула с утра был чем-то озабочен, шевеля губами, изучал при свете фонаря запаянную в полиэтилен карту, делал какие-то пометки. Потом приказал Мите полить ему. Они вышли во двор, Хабибула снял рубаху, и Митя из резинового ведра стал лить ему на руки воду. В доме запищала рация. Хабибула исчез в двери, появился через минуту еще более озабоченный, надел рубаху, взял автомат и велел идти за ним. Митя заковылял по тропе, все больше тревожась.

Они остановились на краю поля. Отсюда хорошо было видно ущелье: широкая тропа, черные стволы голых деревьев, за которыми пряталась Мертвая река. Сначала из-за гор показались двое всадников — Митя узнал в них людей Хабибулы, — затем донеслось далекое урчание, и в ущелье вполз бронетранспортер. На его антенне болталась большая белая тряпка, стволы пулеметов были зачехлены. Митя испуганно глянул на Хабибулу. Не оборачиваясь, тот приказал возвращаться в дом за велосипедом и ехать к дому муллы. Он не знал слова «велосипед» и повертел в воздухе руками. Приказание показалось Мите нелепым, и он переспросил. Хабибула зыркнул на него гневно, и тогда Митя побежал. Вывел велосипед из сарая, потрогал, хорошо ли накачаны шины. Сел в седло, но тут же слез, скрипнув зубами, — шаровары впились в повязку. Показал велосипед рядом, гадая, из какого полка машина, как оказалась она здесь, далеко от дороги, и зачем на антенне белый флаг?

Перед домом муллы была небольшая площадь, на которой Хабибула обычно собирал своих людей. Не доходя до нее, Митя сел в седло — на этот раз осторожно, на самый край — и выехал из-за дувала. Посреди площади он увидел командира полка, пропагандиста и таджика-переводчика. Оружия при них не было. Напротив стояли Хабибула и Азиз. Митя надавил на педали и проехал круг. Азиз улыбнулся ему, Хабибула посмотрел строго. Полковник скосил на него глаз. Митя надавил на тормоз и лихо развернулся, подняв пыль. В нем вдруг проснулся необъяснимый азарт — он понял, что ни полковник, ни пропагандист ничего не смогут с ним сделать, они и сами боятся Хабибулы, бегают глазами. Митя разогнался в гору, потом с воплем сорвался вниз, полетел, чувствуя, как в ушах запел ветер, остановился, развернув велосипед, у самой кромки, стал ездить кругами. Крутил педали, прислушиваясь к разговору. Полковник говорил о том, что они могут выменять отца Хабибулы на Кычанова, что позволят отряду беспрепятственно уйти из долины, что надеются на взаимопонимание и дальнейшее сотрудничество в деле достижения мира... Митя почувствовал, как от волнения лицо пошло пятнами, как забились под глазом жилка; он испугался, что его обменяют. Но Азиз переводил только «нет», «нет», «нет», «нет».

— Эй, Хамед, скажи им! — крикнул он Мите.

Митя, не зная, что сказать командиру, неожиданно запел фальшиво и громко первое, что пришло в голову, любимую песню отца:

— Как на речке, стал быть, на Фонтанке, стоял извозчик, парень молодой... — Дальше от волнения забыл слова и заорал истерично, что вспомнилось: — Тут извозчику, стал быть, взгрустнулось, за-залился горячею слезой!..

Неожиданно полковник повернулся к нему, лицо его сделалось багровым от гнева, и он заорал:

— Кычанов, твою мать, прекрати кататься! Я тебе даю последний шанс! Спускайся и залезай в бронетранспортер! Если ты этого не сделаешь, я тебя лично расстреляю перед строем! Я тебя достану, сукин сын, помяни мое слово!

Я сюда армию пушу, но тебя достану, за парней, за товарищей твоих, которые!..— Полковник не договорил, выждал несколько секунд и удивительно прытко побежал по склону, следом за ним устремились пропагандист с переводчиком.

Хабибула с Азизом смотрели им вслед. Митя слез с велосипеда, только сейчас почувствовав боль в паху, подошел к краю. Его трясло. Он видел, как командир с сопровождающими спустились с горы, влезли в бронетранспортер. «Бэтэр» заурчал и, развернувшись, покотился восвояси. Он отъехал метров на пятьдесят, когда из-за черных, причудливо изогнутых деревьев почти одновременно вылетели три огненные точки...

Спустившись с горы, полковник немного успокоился и стал ругать себя за несдержанность. У него был приказ вести переговоры до последнего, идти на уступки, обещать золотые горы — Хабибула сильный противник, и армейским очень хотелось его в союзники! Ну не умеет он, не смог! Вояка он, а не политик. А Кычанов-то каков, сволочь! Катается! Вот он отпишет матери письмо — кого воспитала!

— Трогай! — крикнул он водителю, усаживаясь на командирское сиденье. Водитель рванул «бэтэр» с места. Полковник схватил шлемофон, прижал к уху наушник.— Гора, Гора, я Кама, прием! Вызываю «вертушки», высота три один два семь, обработать склон массивированным огнем через пять минут! Гора, Гора, прием...

Все три гранаты попали в бронетранспортер. Мотор заглох, машина замерла. Сначала рвануло легонько. Из задних люков стали выбиваться языки пламени — горел бензин. Потом раздался взрыв помощней — разогрелись цинки с патронами. Грохнули крупнокалиберные патроны, из передних люков повалил черный дым. В броне появились рваные дыры. Никто не пытался выбраться из бронетранспортера. Некому было...

— Хамед, сколько можно звать! — услышал он за спиной голос Азиза и обернулся.— Хабибула говорит: беги домой, собирайся! Возьми автомат и одну курицу! Больше ничего не бери! Он будет ждать тебя в тутовой роще!

Митя сел на велосипед и погнал к дому. Он взял автомат, быстро свернул голову белоснежной курице и кинулся в сарай с вещмешком. Достал из тайника коня, развернул тряпицу, погладил его по блестящему черному боку, снова завернул и аккуратно положил в вещмешок.

С бешеной скоростью скатился по склону — обезглавленная курица в руке все еще запоздало била крыльями, — проехал немного по ущелью и бросил велосипед, поняв, что по камням быстрее пешком. Он пробежал мимо догоравшего бронетранспортера, не веря тому, что внутри может быть командир полка — высокий подтянутый мужчина с густыми бровями и проплешиной на затылке, — устремился к роще. Когда был у Мертвой реки, появились «вертушки». Они с ходу начали бомбить кишлак. Склон густо покрылся взрывами. Вокруг страшно загремело, эхо разнесло, размножило шум, вспугнув птиц, и зверье, и тутовых духов в роще. Митя стал скакать по валунам, боясь оглянуться...

Шли они по ночам — с девяти до четырех — по узким тропам, переваливали через хребты, пересекали ущелья, спускались в долины. Днем прятались в заброшенных, разбитых кишлаках, в расщелинах и пещерах, где были склады с продовольствием. Поначалу Мите было тяжело — он постоянно отставал, и Хабибула покрикивал на него, подгоняя прикладом автомата, как того ишака, но постепенно он втянулся, научился в темноте лазить по скалам и спускаться по

отвесным склонам, научился пить из луж и наедаться несколькими ягодами чернослива, и понял, что Хабибула со своим отрядом неуловим — за все это время их ни разу не обстреляли.

Надвигались сумерки. Они сидели на горе, спрятавшись за выступами скал, а внизу по дороге шла колонна. Грузенные «КамАЗы» медленно вползали по серпантину. На дороге рванула управляемая мина. Колонна встала, и тут же сверху вниз и снизу вверх густо посыпались пули. Митя вжался в скалу, послал короткую очередь, стараясь попасть в кабину «КамАЗа». Он видел, как отскочил от металла, улетел в сторону гор его крохотный трассер, и дал вторую очередь. Хабибула дернул его за рукав, показывая, что пора уходить. Они поднялись и побежали к другому склону. А снизу все еще доносилась беспорядочная, бесполезная стрельба. Митя прыгнул с уступа — неудачно, камень выскользнул из-под его ноги, и он упал на спину, почувствовав, как в вещмешке что-то хрустнуло. Быстро поднялся, заспешил вниз. Они спрятались в маленькой пещере до того, как над горой застрекотали «вертушки». Хабибула привалил к выходу густой колючий куст, цокнул языком и сказал, что он молодец. Митя кивнул, прислушиваясь к грохоту над головой. Он снял вещмешок, развязал его и вынул тряпицу. У коня были отломлены голова и обе задние ноги. Митя тяжело вздохнул, вспомнив о взводном. Ему было жаль игрушку. Хабибула с любопытством глянул на коня, взял туловище в руку и спросил, откуда она у него. Митя сказал, что это вещь взводного. Хабибула показал пальцем на бока коня и сказал, что здесь должны быть винты, которые наполняют его воздухом, и что он должен летать выше гор, как сказано в одной сказке. Еще он сказал, что вещь очень дорогая, но сейчас уже никуда не годна. Мите осталось только кивнуть. Он достал нож и выковырнул из глазниц коня красные камни. Покрутил в пальцах, пытаясь рассмотреть их в тусклом свете, спрятал в потайной карман шаровар. Спросил Хабибулу о взводном и опять получил ответ, что нужно забыть об этом человеке. Митя поинтересовался, почему он не может знать, что стало с его товарищем. Хабибула долго молчал, потом заговорил. Он сказал, что этот человек совершил великий грех и теперь будет вечно терпеть муки. Потом он сказал, что его убили камнями. «Как камнями?» — не понял Митя. Хабибула сказал, что каждый из рода взял камень и бросил в него, и Митя тут же представил себе и старика, и женщину в парандже, которые тогда приезжали за взводным на ишаках, и еще много стариков и женщин, в руках у которых были большие разноцветные окатыши с Мертвой реки, и стоящего спиной к ним Костю Суровцева. Старик бросил в него камень, и он сразу упал. Остальные тоже принялись бросать камни и скоро засыпали его всего. Остались торчать только офицерские ботинки с подковками на каблуках. Мите стало нечем дышать, и он со злостью пнул по кусту у входа в пещеру. Хабибула схватил его за ворот, прижал к шершавой стене пещеры и сказал, что гнев сейчас душит его, поэтому-то он и не хотел ему ничего рассказывать о взводном. Скоро Митя пришел в себя, и Хабибула отпустил его. Когда совсем стемнело, они выбрались из пещеры и направились туда, где их давно ждали.

Над горами встало осеннее солнце. Оно осветило небольшой кишлак, спрятавшийся в тени гор, дорогу к нему, белую и узкую, похожую на небрежно брошенный шелковый пояс. Над невысоким минаретом деревенской мечети поплыл записанный на магнитофон высокий, певучий голос муллы: «О, аллах акбар!...» Когда утренний намаз закончился, из дверей и ворот непреступных домов с крохотными окнами-бойницами появились мужчины. Одни выводили ишаков и лошадей, впрягали их в большие арбы, другие выезжали на стареньких машинах, «бурбахайках», все они длинной вереницей устремились по доро-

ге в город — сегодня был базарный день: кто ехал продавать изюм, кто зерно, кто собирался купить новый плуг или материю на платье старшей дочери. С мужчинами на арбах и в машинах отправились в город и сыновья-подростки. Босоногие дети помладше выбежали на дорогу, завопили, засвистели, замахали руками. Двери и ворота домов захлопнулись, и кишлак погрузился в дневную дрему. Солнце прогрело землю, скоро хрупкий лед в сточных канавах растаял и превратился в мутную, вонючую воду. Дети возились в пыли, играли бутылочными осколками, лоскутками и щепками, отдаленно похожими на фигурки людей, щебетали, ссорились, дрались, мирились и снова играли. Вдали, в клубах белой пыли, показалась колонна. Пока еще нельзя было разглядеть, что за машинки движутся и пляшут на ухабах дороги, но колонна приближалась стремительно, и скоро уже стал виден головной бронетранспортер с торчащими пулеметами, послышался звук двигателей. Из дверей домов показались женщины в паранджах. Они бросились к детям, расхватали их, как расхватывают в лавке редкий товар, потащили по домам. Те, кто слишком громко орал и огрызался, получили подзатыльники. Детские вопли смолкли в дворах, и кишлак настоженно замер. Колонна въехала в кишлак, попетляла по улицам, остановилась на площади около мечети. Колонна состояла из трех бронетранспортеров — двух обычных, с башнями и пулеметами, и одного необычного: вместо башни на броне у него была укреплена огромная зачехленная колонка, какие обычно устанавливают на танцплощадках. Кроме бронетранспортеров, на площадь въехали еще водовозка с мокрой, покрытой грязными разводами цистерной да крытый «КамАЗ». Бронетранспортер с колонкой попятился, ткнулся о ствол шелковицы, росшей посреди площади, осыпал себя пожухлой листвой и замер. Боевые машины развернулись и встали на охрану по краям площади. Из передних люков одного из них вылезли двое солдат, за ними — пожилой мулла в чалме. Солдаты помогли старику спуститься на землю, показали на бронетранспортер с колонкой. Все трое направились к нему. Солдаты стали расчехлять колонку, мулла забрался внутрь. Из колонки послышался свист, потом раздалось неожиданно громко: «Раз, раз, раз-два-три!» Солдаты поморщились, торопливо спрыгнули с машины, уселись в тени дерева и стали курить. Тем временем двери и ворота домов приоткрылись, из них показались сначала дети, а за ними женщины в паранджах. В руках женщины держали тазы, ведра, кастрюли, кувшины, но пока боялись выйти за порог. Водитель водовозки выбрался из машины, снял с подножки короткий шланг. Мулла прокашлялся и заговорил. Он сказал, что это агитационный рейд и бояться нечего. Шурави привезли в кишлак муку, сахар и воду, а также книги, которые будут розданы в каждую семью по количеству человек. Как только он произнес эти слова, дети и женщины высыпали на площадь и побежали кто к «КамАЗу», кто к водовозке, окружили обе машины, стали кричать, толкаться, греметь ведрами и тазами. Мулла в бронетранспортере говорил, что воды и продуктов много — хватит всем, но навести порядок в этой орущей, вопящей, галдящей толпе было невозможно. Водитель водовозки открыл шланг, и вода мощной струей хлынула в ведра и тазы. Дети таскали ведро в дом, снова возвращались с пустыми, проталкивались вперед. Женщины волочили по земле мешки с сахаром и мукой. Были среди них и совсем юные девчонки, недавно спрятавшие лица под паранджу небесного цвета, и сгорбленные годами старухи с палками. Минут через пятнадцать вода и продукты кончились, толпа схлынула, водители «КамАЗа» и водовозки расселись по кабинам, довольные, что больше им не придется слышать весь этот гам. Мулла говорил, что шурави пришли на землю Афганистана, чтобы принести мир и спокойствие, что воюют они с бандитами и мирным людям нечего их бояться... Водитель агитационного бронетранспортера выставил на броню несколько коробок с книгами и брошюрами, свистнул, перекрывая голос мoulлы. Солдаты лениво поднялись из-

под шелковицы, забрались на бронетранспортер и стали раздавать книги. Скоро опять собралась толпа. Правда, женщин в этой толпе уже не было, зато детей наплодилось видимо-невидимо. Они орали, скакали, выхватывали из рук книжки, лезли на бронетранспортер в надежде стащить что плохо лежит, раскачивали машину. Солдаты сгоняли их, однако уследить за всеми было невозможно. Один мальчишка утянул-таки лопату, побежал к дому. Солдат погнался за ним, но мальчишка нырнул в дверь, и та тут же закрылась. Солдат долго долбил кулаком в дверь, потом плюнул, вернулся к бронетранспортеру. Водители водовозки и «КамАЗа» посмеивались в своих кабинах. Мулла говорил, что правительство объявило амнистию всем, кто добровольно сложит оружие... Мужчинам нечего бояться — они будут заниматься своим делом на земле: сажать хлеб, собирать виноград...

Митя сидел за дувалом рядом с Хабибулой. Он всматривался в номера на бронетранспортерах и не верил своим глазам. Ну, конечно, семьсот второй номер — это же его бронетранспортер! Вон и Мельник, и Васильев — ребята его призыва. Из люка «семьсот первого» торчит башка Кузьменко в шлемофоне — интересно ему, блин, выставился! — они с ним в учебке были. А где же Чуча, Хомяк, Духомор? Митя не сразу сообразил, что в сентябре был приказ на дембель, а сейчас уже начало ноября; это здесь, внизу, припекает солнышко, еще не все листья опали с деревьев, и бачи ходят в рубахах, а в горах давно уже лежит снег, и без ватников и бушлатов нечего делать — пропадешь! Неужели свои? Два взводных «бэтэра». А где же лейтеха? Митя вспомнил его кольцо на безымянном пальце и покосился на Хабибулу. За дувалом их было пятнадцать человек, из них четверо гранатометчиков. Хабибула сказал, что они должны дожждаться, пока все свалят по домам и шурави соберутся уезжать. Колонну зажмут у выезда из кишлака — там узкое место, — погасят из четырех гранатометов «бэтэры», а «КамАЗ» и водовозка — даже ребенок справится — сгорят обе в минуту. Мулла Хабибула хотел повесить на дереве, но вряд ли получится: начнутся суматоха, стрельба, наверняка и старичку прилетит шальная... Неужели Кузьменко? Ну, конечно, он! Угораздило же их пойти в этот долбаный агитрейд! Митя сел, прислонившись спиной к дувалу, ему стало душно, он рванул крючок бушлата. От осознания того, что будет дальше, в горле запершило.

Книги кончились, и детвора, потеряв всякий интерес к шурави, отекла от агитационного бронетранспортера, занялась своими делами. Кто-то уже менял книги на лоскутки и щепочки, кто-то рвал их для разных нужд...

Солдаты слезли с брони, опять уселись под деревом, прислонились к стволу спинами, закрыли глаза. Мулла продолжал свою проповедь.

Вот они, чижики, сидят, спят, ничего не подозревая, Мельник с Васильевым, до них всего метров пятнадцать, а он сидит за дувалом, и у него АКС, который числится за их взводом. Митя машинально достал из кармана кальян с чарсом, но Хабибула глянул на него грозно, и он сунул трубку назад. Конечно, с чарсом — это перебор. Ну хорошо, даже если он их незаметно предупредит, что дальше? Дорога перекрыта. И если они первыми откроют огонь — все решено. Четыре гранатомета — не шутка! Митя сглотнул набежавшую слюну, посмотрел на Хабибулу. Хабибула неотрывно следил за тем, что делается на площади. Да-да, скоро детей загонят по домам, мулла кончит свою молитву, они натянут чехол на колонку... Митя забегал глазами по земле — как назло ни одного камня поблизости. Его пальцы нащупали в потайном кармане то, что раньше было глазами коня — два темно-красных камня: не то гранаты, не то рубины. Он вынул один и щелчком отравил в сторону дерева. Камешек стукнулся о ствол и упал в пыль рядом с Мельником. Мельник даже ухом не повел. Митя занервничал, достал второй, прицелился поточнее. На этот раз камешек угодил в лицо Васильеву, скатился на грудь. Васильев хлопнул себя по груди, поднес камешек к глазам.

— Оба-на, смотри, Мучок, драгоценные камушки с неба сыплются!

Мельник приоткрыл один глаз.

— Стекляшка. Бачи пуляются.

Митя почувствовал на себе взгляд и повернул голову. Хабибула смотрел на него пристально, и он понял, что тот видел все и знает, что он хотел предупредить шурави. Митя почувствовал, как внутри стало холодно, словно проглотил льдинку, которая заполнила весь живот. Он снова сглотнул слюну. Хабибула поднял автомат, приставил к его лбу и снял затвор с предохранителя. «Зато они будут знать»,— подумал Митя и удивился тому, что подумал об этом. Каких-нибудь два месяца назад, когда на него наставляли ствол, он думал совсем о другом, и внутри все тряслось. Он смотрел на Хабибулу и молчал, а Хабибула смотрел на него. Так они смотрели друг на друга минуту, а может быть, две. Хабибула сказал шепотом, чтобы он отвернулся. Митя отвернулся. Теперь он мог закрыть глаза и подумать о чем-нибудь напоследок. Он услышал за спинойбряканье автомата и шаги. Подождал еще немного, оглянулся. Хабибулы не было.

Мулла закончил свою проповедь. Над кишлаком воцарилась тишина. Васильев с Мельником поднялись, снова полезли на бронетранспортер, стали натягивать чехол на колонку. Чехол не налезал, и они матерились. Женщины загоняли детей в дома. Заурчали моторы. Митя растерянно смотрел, как трогаются машины и бронетранспортеры. Он хотел крикнуть, но не мог. Согнувшись, пошел вдоль дувала, завернул за угол, побежал. Он знал, что опередит их. Пока колонна петляла по улицам, он уже был на окраине кишлака. Удивленно огляделся, не увидев людей Хабибулы за дувалом. Прикрыл ладонью глаза, посмотрел вдаль, против солнца. По тенистой стороне предгорья цепочкой торопливо шли люди. Одни несли «буры», другие автоматы, третьи гранатометы. Последим шел Хабибула в маскхалате и кожаной куртке. Никто из них не оглядывался. Колонна с ревом прошла мимо, накрыв его клубами белой пыли. Он несколько раз громко чихнул, выплюнул изо рта пыль, отер глаза и побежал легко и быстро, уже не чувствуя под собой земли.



Алексей КУБРИК

Время дождя и рассвета

* * *

И в разное время дождя и рассвета,
закутавшись наглухо складками ветра,
сквозь все передряги и многия лета
бредут по дороге
две тени убогих —
шута и поэта.

Их путь обозначил не ангел сомнений,
терзаемый космосом бреда и блуда,
а древний гончар из предгорных селений,
хлебнувший бессмертья из грубой посуды.

Империя глохнет... Судьба Навзикаи —
любить Одиссея, а жить с Телемахом.
Поэт умирает, окутанный страхом,
что рядом с героями
все умирает.

Шута и поэта расходятся тени,
и шут постигает закон песнопений,
где длится очами
сиятельной ночи
тропический гул или пенистый почерк
меж звезд океана разбросанной бури,
где падает парус за гранью лазури,
и Бог не случаен,
но в сердце пути
за мертвым поэтом нельзя не войти.

* * *

Памяти М. М. В.

Надо бы чаще встречаться, предчувствуя снежный плен
тех дорог, с которыми проще не разминуться,
говорить не только на языке психеющих перемен,
но и на том, который сам не прочь оглянуться.

В этой нише не прах, а солнечная зола
тех улыбок, с которыми мы засыпали когда-то...
Упаси меня, Боже, помнить, как ты жила.
Научи меня, Боже, грусти твоей крылатой.

В коридоре длинном, скрипящем не так, как дверь
самой уютной комнаты с плотной гардиной на входе...
Все мне кажется проще представить, где ты теперь,
чем увидеть смерть хотя бы в одной свободе.

Копошась в земле, сгребая свою же тень,
разжигая камин и съезживаясь под одеяло...
Надо поставить в вазу и распустить сирень,
ее ночное сиянье всегда тебя восхищало.

* * *

Повтору таинства сродни,
молитва разделяет участь
того, кто просит: «Отжени
мой гнев на посвященный случай
от суеты, что гонит в плен
измором взятую свободу...»

Вдали иудиних колен
себя призрев и род от роду
все хуже чувствуя предел —
быть первыми в бою за Слово —
не мы ль среди прощальных дел
выходим в круг огня живого
и чувствуем пустой удар,
где только миг назад стояли?..
И понимаем: Божий дар
без нас пустынные стяжали.

Так, возводя покой на храм,
пьют корни древа третьей силы
тревожный свет, что предал сам
свои подземные стропила.

Так, в круге быстротечных дней,
жизнь выбирает за основу
мысль, что не числит меж людей
великолепия земного.

* * *

Медлительны, как все, что вдальеке,
дома и тучи... С осенью не спорят.
В ней растворяется, как сонный лес в реке,
провинциально выбранное горе.

Разлука с теми, кто тебя простил,
кто жил взахлеб и плакал где попало...
Рыбак пробрался на разрушенный настил
и вот часами ждет, чтобы клевало.

Туман все дольше дышит над рекой.
В нем чувствуются холод и скольжение —
преображение движения в покой
и чуждый миру строй преображенья.

.....

Осенний свет... Разбитое шоссе,
и взгляд, чтоб жадно пожирать дорогу,
чтоб мельтешить, как спица в колесе,
сквозь мир, который не вмещает Бога.

* * *

Вот душа, предложенная карандашу,
на пространстве, равном клочку бумаги.
Разве в том, чем я до сих пор дышу,
неизвестно, сколько небесной влаги?

Рядом с домом круглый бассейн с листвой
тридцать лет как возится с детским садом.
Он легко растает с любой водой
и с трудом — с беспечностью листопада.

И вчера, когда ты едва не сдох,
и сегодня, когда по-прежнему беден,
не мешало б раскрасить пару матрех —
подарить, продать, подсунуть соседям...

Но никто не купит прожитых мест —
места осени, места стыда иль гнева...
Ты один там бродишь судьбы окрест
то с разлукой, то с ленью, то с юной девой.

Вот взметнулась, бросила камень рука,
и «секрет» из кефирной фольги сломался,
и глаза никак не промыть от песка,
чтоб увидеть того, кто тебя испугался...

Мама смотрит в окно сквозь тебя на листву,
и тропинка ведет мимо чаши бассейна,
чтобы только сегодня понять, почему,
почему она так улыбалась растерянно.

* * *

Чужая речь, с тобой ли мне тягаться?
Живой огонь, спасающий свой дом...
Мне снится вход в кочующее царство.
Мне снится море в небе голубом.
И где-то там, на грозových извивах,
пропитанных ликующей водой,
есть город, подползающий к приливу,
чтобы расслышать сломленный прибой.
Но звука нет.
Есть только взгляд с вершины.
Он продолжается вдоль всей своей длины,
пока в мой сон врывается лавина,
и разрушает вход в другие сны.

Мне отвратительна внезапная свобода.
Я не хочу предложной пустоты,
переводящей сонного урода
в отчаянья случайные черты...
Я не хочу спасенья в том, что время
все время притворяется рекой,
легко склоняется,
молчанию не внимлет,
звучит «блажен» и слышит «упокой».



В н у т р и

РАССКАЗЫ

ПУТЕШЕСТВИЕ

Непонятное время суток какое-то.

Н Варавва долго сидел на берегу озера, пока ветер не стих.

Перед этим происходил шторм — опрокинулась огромная купель под небом и затопила лес, где стволы сопрели и камнем ушли на дно, шелестя трухлявой опилочной корой, вырывая куски глины, кадя песком.

Варавва знал, что, если на озере ветер, катер не пойдет на острова. Рассказывали, что на этих островах жил Гермоген, питавшийся исключительно травой и рыбой, которую он ловил руками на отмелях, а Лысая Гора после потопа заросла лишаями, покрылась гнилыми, покосившимися заборами там, где росли кущи. Сети. Фигуры иноческих образов. Да еще стояла вышка, привязанная к земле проволокой.

Возносилась дерзновенно.

Желтые лишай шевелились картонными цветами, а ветер их трогал, чуть донося запах водорослей, мохнатого дна, валунов и цветения плеса.

«Пускай их поплавают по воле вод».

О наступлении вечера далеко за городом свидетельствовали колокола: Уар — тяжелый треск разошедшихся балок, однообразное шипение растрепанного суровья, Иов — пронзительный вой в ночи, треск в эфире сквозь вислую марлю, Иона Сысоевич — в углах рта окаменела плесень, в ухе запеклась кровь, глаз заплыл, вероятно, от побоев, Водовзвод — что медное било и Энколпион — вычерпывающий воду из железной плоскодонки. Кстати, есть сведения, что в глубоких карманах прорезиненного плаща сохраняются гвозди, правда гнутые, и химический карандаш.

О наступлении же рассвета повествовал туман: на восход солнца смотрят иней жухлой травы и цепная собака, которая, кажется, никогда не спит, на закат — внутренний двор. Здесь, во внутреннем дворе, мы иногда раздуваем костер из старых, пожелтевших газет и пьем вино с ребятками.

Варавва знал сторожа-воротника, которого задавило во время потопа, перекутав цепями для сплава, напоив до одури бензиновой водой.

Теперь лед гулко трещит по всей снежной равнине: «Нет, здесь никто не живет».

«Сегодня похороны сторожа-воротника, оденься в черное, мы пойдем и отдадим ему последние почести», — говорили. Да, так все говорили. Например, соседи — закрывали лица ладонями, потом чередой приглашали на погребальные пироги или даже выносили на свежий, пряный воздух горячий промасленный противень, снабженный кучей желтых опилок, речным песком и рыбными плавниками, источавшими дух паленого пера, ведь плавники — те же крылья, нечто вроде причастия для убесых.

— Просим откушать.

— Спаси Господи.

— Меня зовут Варавва Иоасафов, что прозван так.

— Не желаете ли к сему присовокупить перцовой настойки домашнего изготовления?

— Я нынче, видите ли, нездоров...

«Я нынче нездоров» предписывало Варавве сидеть на берегу озера под деревом. Он, несомненно, прогонял от себя дурные предчувствия-предзнаменования-предвкусения: вот и этой ночью дурно спал, просыпался, влекомый слабой тошнотой, подползал к окну. Ворота открывались и закрывались, открывались и закрывались. С той стороны к мраморному стеклу окна подходила цепная собака и тоже смотрела в него. Смотрела на Варавву. Потом молча отходила, растворяясь в темноте.

Пили чай, вытирались мокрым полотенцем.

В ужин хозяйка Вараввы поставила на стол ведро супа, позвала мужа-рыбака, включила свет.

«Есть сведения, что в карманах сохраняются гвозди, правда гнутые, и химический карандаш, обнаруженный во время непродолжительного лежания на песке у самой воды». Муж-рыбак чувствовал, как озеро трогало его руку, ладони, ногти с присохшей к ним краской, а еще и сапоги. Он смотрел в небо — местность не привлекала внимания путешественников...

Калитка хлопнула на ветру.

Варавва положил руки на клеенку.

Хозяйка начала мыть пол.

Ее муж закурил, почесал голову, просморкался в рукав.

Варавва двигал руками по скользкому краю стола.

Хозяйка гремела ведром, проливая воду.

Муж-рыбак отвернулся к окну.

Варавва подогнул ноги под себя.

Муж взял ложку со стола.

Варавва тоже взял ложку со стола и приставил ее к глазу: один — глаз, а другой — ложка-глаз. Как бы так...

Муж-рыбак сказал: «Не дури». И затушил окурок о табурет.

Варавва вздрогнул.

Муж почесал голову, потом размахнулся и ударил Варавву ложкой по лбу: «Вот так тебе, придурок!»

Лоб вспыхнул.

Хозяйка села в углу, а вода затекала ей в галоши, которые она обычно надевала на босу ногу.

В ведре плавали просоленные куски мяса, разваренное пшено и лук пергаментом: Варавва облизнулся. Лоб уже совсем не болел.

Всем налили по миске супа. Все стали есть «в глубоком благоговейном молчании». Пар полностью залепил глаза, но муж, обжигаясь, съел быстрее всех и попросил добавки. Молниеносно вычерпал и ее разбухшим хлебом, «шелестя трухлявой опилочной корой», и потом сказал, сыто ковыряясь спичкой в зубах: «А это, мать, курам снеси, пускай их поклюют!»

Пили чай; вытирались мокрыми полотенцами. Муж-рыбак вытирал и свою всклокоченную бороду.

Домой возвращались поздно.

По радио передавали «дождь». Светофоры — по всей обозримой глубине. Деревянные мостовые. И как это обычно бывает — Варавва осенью болеет, зимой болеет, весной сердится, летом плачет.

Продавщица из молочного магазина выходит к воде и моет деревянный настил, купает его, как ребеночка, как свою девочку Анечку и своего мальчика Иону. Странное имя!

— У нее же нет никакого брата!

— Есть! Есть у Анечки братик, только маленький, крохотный такой — мальчик с пальчик! У Вараввы-Варнаввы ножки сухие, как корешки!

— И отца она своего не помнит!

— Помнит, помнит, вот тебе крест святой! Ведь помнишь же отца своего родного?

Муж-рыбак закрыл губы пальцами. Затворил. Сотворил «благое молчание».

— Ну разве что мать... как же ее звали. Нина Ивановна, что ль?

— Не шуми, мати зеленая дубравушка... баю-баюшки-баю, не ложися на краю, придет серенький волчок...

Варавва облизнулся.

— Все никак не нажрешься?

Долго шли вдоль озера, ветер стих совершенно, пахло травой, в поселке и на лесопункте зажгли огни. Мимо лица проплывали мертвые деревья, ветки, неструганный хрящ, ямы, оставшиеся здесь после раскорчевки, пни. Вот тогда-то хозяйка и отстала. Присела отдохнуть, прилегла на болотный дымящийся мох.

Момент полнолуния.

Варавва видел перед собой широкую спину мужа-рыбака в прорезиненном плаще, и дурнота раскачивалась вместе с этой невыносимо пахнущей солью и йодом спиной, лес курился болотом.

Да, ведь именно тогда хозяйка и отстала от ночной безмолвной процессии, когда еще было светло за горизонтом и на Лысой Горе было светло — там, где стояла вышка, скрипящая ржавой проволокой.

Пресуществовалась.

...пресуществовалась. Так вот, отстала и легла спать до следующего утра. Не выдержала томительно извивающейся коралловым свечением белой ночи.

Варавва неотвязно смотрел на город, на дома, на заборы, потому что какой же город без заборов, на огороды, на прогоны для скота. Любовался этим воском и пластилином, дегтярным мылом и канифолью. Стыдился этого чувства, столь внезапно нахлынувшего, но ничего не мог поделать с собой. Вот хозяйка развязывала платки, топила пуговицы, в прихожей гремела сапогами, путалась в складках прорезиненного плаща.

— Разбойник ты все-таки, Варавва! Ну чистый разбойник! — повторял, тяжело дыша, муж-рыбак. Плевался в мокрый от ночи песок, трогал языком пересохшие губы, нес Варавву на руках, а тот стонал, пытался освободиться, задыхался. — Не ори, сволочь! — Муж закашлялся, но не выпустил Варавву на землю, воткнул в него свою бороду.

После наводнения сторожка почти лежала на болоте, расчерченная черной, закисшей корой.

В поселке и на лесопункте зажгли огни, путешественник мог задержаться здесь лишь по невозможности двигаться дальше в тайгу. Мучался спазмами в низу живота, изжогой. Лошади вязли, минуя заставы, потемневшие и вросшие по самые окна в землю дома. Неведомый попутчик, исчезнувший однажды утром сквозь мглу дождя — восходящего или нисходящего, — надевал на голову мятую шапку, подбитую газетами «Губернские ведомости»: дивные сенсации, путешествия, хождения, паломничества, — чтобы было теплее на пронизывающем ветру.

Это местность глубоко посаженной реки, как, впрочем, и близко посаженных глаз, где кусты внезапно погружаются в воду и там извиваются, подобные мохнатым бровям, змеям.

Конечно, у путешественника существуют некоторые прожекты по части препровождения времени, есть еще мысли о маршруте отверзаемом. «Полагаю, братец, талейку жупела пропустим с углами во фронт. — Это он сам с собою ведет неторопливую беседу. — Не вижу препятствий, очень даже можно с таким раскладом карточек, кой в высшей степени недурен для начала, — унылый крест в соседстве с красной мастию, однако позвольте, позвольте! А что если немедля загнуть в арьер и тут же получить тайную или явную, не суть важна, недоброжелательность. Вполне, вполне допустимо, вы, смею заметить, должник-с! Должки изволите любить», — язвит, посмеивается, поджидает коварно, уподоб-

ляясь при этом ложной заботливости. «Пум-пум-пум», — гудит себе под нос духовыми инструментами, совершая недалекие, но вполне основательные экскурсии в собственной бороде. Путешественник наудалую просит двойной банк, что неминуемо влечет за собой «па» и «анкор ун фуа па». «Докладываю: первый круг прошел по “роялю” соперник же — по “зеро”. Не везет в карточках, повезет в любви». — Путешественник выглядывает в окно, а что еще остается делать, говорит «авенир». Заказывает. Конечно, немедленно является вонючий чай, который можно пить, исключительно завязав нос полотенцем. «Не желаете ли к тому же поразвлечься и в фанты, кубики, кости, стишки, в крайнем случае — в дурочку?» «Нет, не желаю!»

Путешественник продолжает прихлебывать из кружки, по случаю поднесенной человеком.

— Ты знаешь что, человек, поди-ка ты прочь! — вздрагивает. — Я, видишь ли, сегодня грустен до чрезвычайности.

Местность располагает к тому: озеро, Лысая Гора после потопа заросла лишаями и покрылась гнилыми, покосившимися заборами, за которыми произрастают кущи. Сети. Фигуры иноческих образов. Да еще стоит вышка, привязанная к земле ржавой проволокой...

Вознеслась гордо. Возгласила. Исторгнула. Возопила. Пресуществилась...

Лес стоит в воде, дорога идет через болото, стволы сопрели и камнем ушли на дно, ветер стих, перед этим был шторм.

Двухэтажный дом для проезжающих, где зала была низка и густо закопчена, где хозяйка вымыла пол, и он стал черным, ртутным, имело бы смысл его и поскоблить немного тупым ножом, принесенным с кухни.

Путешественник прошелся по полу, как по льду, стараясь удержать равновесие, несколько раз поскользнулся, но успел ухватиться за удачно подоспевший табурет, стол, комод-поставец, косяк двери.

Хозяйка вылила грязную воду во дворе, развесила тряпки на заборе, сняла галоши, она обычно их надевала на босу ногу, и пошла по дороге домой.

Утром путешественник уехал.

Варавва сидел у окна и видел, как он медленно передвигался, словно был болен, ведь движения его были столь неверны и неумелы. Еще Варавва видел, как он растворялся во мгле леса, сначала сутулая спина его отделялась вослед голове, ног уже было не разглядеть, руки все еще цеплялись за какой-то ржавый поручень-посох, но и они вскоре стали невесомо тяжелыми. Полуобморочным сном вновь мелькнула спина, задымился затылок и, кажется, мягая шапка, оснащенная мягкими газетами, и, как это у него было принято, он оглянулся. Вот, вот этот взгляд-знание: «Что холодно нынче и однообразно больно, и праздник, и неспраздник, и суп картофельный, и от супа мутит, и маленькая девочка Анечка, “и ухватит за бочок...”, и продавщица деревянный настил купает, и зовут меня Гермоген-Ермоген». Вот так вот...

Потом Варавву перенесли к столу. Были тут и один ложка-глаз, и другой ложка-глаз. По радио передавали «осень». Все ели «в глубоком благоговейном молчании».

Опять так.

Калитка хлопнула на ветру, ворота открывались и закрывались, дверь сорвало с петель.

— Хороший был сторож-воротник человек, да вот только задавило его во время потопа. Так он и лежал на песке у самой воды, а озеро трогало его там, где в углах рта уже окаменела плесень, кровь в ухе запеклась, глаз заплыл, от пьянства ли, от побоев?

Он лежал, перекатываясь в волнах прибоя, он гремел гнутыми гвоздями в кармане, он смотрел в небо. Небо было высокое, чистое, прозрачное.

Путешественник, как это было у него принято, оглянулся. Варавва, мальчик Иона, хозяйка, Гермоген и Нина Ивановна, все смотрят на него, а он — на них. Улыбаются.

О наступлении вечера далеко за городом свидетельствовали колокола — Уар, Иов, Иона Сысоевич, Водовзвод, Энколпион. О наступлении же рассвета повествовал туман. Густой, более напоминавший изморось, туман.

Муж-рыбак проснулся рано утром на скамейке во дворе, напялил на голову капюшон, значительно развел руками, икнул, прокашлялся, проговорил: «На острова нынче пойду». Потом он долго вычерпывал воду из железной плоскодонки и отправлялся.

Он отправлялся в путешествие.

МОСКОВСКАЯ ЭЛЕГИЯ

Было довольно безоблачно и пустынно, с летающим сеном, разве что беспризорные непослушники из района Провиантских складов и Преображенских казарм, прибегая к услугам слоеной фанеры, картона и мануфактуры, весело, безмятежно катались по покрытым первой зеленью холмам, обозримым из окна белой палаты.

Простыня опять лежала на полу, чай остыл, и внука он всегда называл «голубчиком» — этот послевоенный, всеми, но не Богом, забытый и никому не нужный Пантелеймон. Пил воду из графина, потому что в горле пересохло от бесконечных лекарств.

Отец моей мамы.

Это отец моей мамы с руками, крестообразно, как во время причастия, сложенными на несуществующей, выпотрошенной груди, на отверстии в темноту, на воспалении легких... Итак, стояло молчание, только где-то далеко разносились бубнящие простуженные голоса, шаги прозрачных субтильных медсестер, видимо, практиканток. Заработало радио: «Поднимите мне веки, черт возьми, я ничего не вижу» или как вариант: «Это и есть мой внук по имени “голубчик”... Разве я не прав?»

Мама садилась на край кровати. Окна были зашторены.

И все-таки он значительный оригинал своего времени.

Систематически, в смысле ежедневно, он объезжал на огромном немецком мотоцикле с коляской заводские новостройки в районе Сокола и Коптева, подолгу курил, грохотал, топал по бесконечным коридорам недостроенных барачков.

Этот послевоенный Пантелеймон из Последнего переулочка, что в районе Сухаревки, вместе с группой смелых людей в полосатых трико абсолютно незавидного кроя выполнял гимнастические, упругие железной струной махи ногами и руками, предвкушая исполнение атлетической фигуры «пирамида». А происходило это так: оперев жилистые ноги в примятую, слегка подкисшую траву на Цветном бульваре и снабдив разверстый рот жестяным рупором, он, забытый всеми, покинутый всеми, кричал: «Делай раз!». Полосатые трико проворно взбирались друг по другу наверх, пуча глаза от напряжения и головокружительного кошмара. А он кричал: «Делай два!». Прообразуя вавилонский горвосходный холм, многометровую композицию венчал юный и потому трогательно тщедушный гимнаст-пионер в сатиновых трусах флагами. С земли мальчика было уже не разглядеть, ибо жидкие волосы, тонкая шея, острые ключицы, укутанные красным ситцем, узловатые колени и синеющие от непомерного напряжения пальцы на ногах прятались в облаках и птицах, весьма щедро орошавших гимнастов своим горячим пометом. «Вот падлы».

Все, кто присутствовал при этом умопомрачительном действе, складывали ладони воронкой и, терзаемые завистью, любопытством, истерично просили рассказать, что же там было видно с вышины.

Аэропланы ли? Высотные здания? Дирижабли, наконец? А?

Однако жестяной рупор неумолимо заключал: «Рассыпсь», — и физкультурники, к тому моменту вволю вкусившие шального ветру ржавых крыш и дырявых чердаков, беззаботно сыпались на землю перезрелыми плодами, этакими яблоками с бочками. Боже мой, а ведь они простояли в столь противных природных позах некоторое небыстрое время суток.

Наконец, «Делай три», и кто-то, разумеется, имея таковое намерение, вытягивался в неживописную, кривую, опухшую от голода «цапельку», выполнял горизонтальный вис у табачного киоска, отжимался от скорбного вида скамейки, кряхтя и пуская ветры. Здесь же бесплатно раздавали газированную воду с сиропом...

Отец моей мамы, мой дед, болеет. Может быть, от старости, может быть, от одиночества? Не знаю, мне трудно ответить на эти вопросы.

Мама сидела у его кровати, и окна были зашторены. Из шлангов поливали мостовые, открывалось метро. С добрым утром, с добрым утром!

Послевоенного внука середины шестидесятых годов Пантелеймон неизменно называл «голубчиком», постоянно мучился горлом, пил пустой чай без сахара, постепенно и неотвратимо приходя в негодность, проживая долгие дни и ночи, ночи и дни, к примеру, пятница заканчивалась, надвигалась суббота, а там и воскресенье не за горами. Хотя воскресенье совершенно не означало воскресения. Увы.

На круг прибывают трамваи с ночной сменой, гремят на рельсовых стыках, сигналият, мигуют ямские и питейные заведения, блестят начищенными бузиной поручнями.

Участников тех далеких событий встречали заброшенные садово-огородные или дачные колонии, обветшавшие пристанционные закуты для почты, гаражи, забытые товарными вагонами железнодорожные разъезды.

Кунцево — мавританский стиль был тогда в моде. Фили — дань промышленному конструктивизму 20-х годов и, наконец, Белорусский вокзал, заблаговременно увитый цветами и плющем.

Люди, прошедшие эту свежую ночь едино на балконе, выбивали крахмал потрескавшихся одеял и блины полосатых тюфяков, бодрствуя таким образом, находя успокоение в непрекращающейся и порой бессмысленной работе. На кухнях взрывались чайники.

«О Отрадное, отрада моя!»

Это ехали гости из Марьиной Рощи. У Крестовской заставы брали пиво. Вот звучит граммофон, везомый чьей-то красной, в пороховых татуировках рукой, костюм ли, летняя рубашка ли, сандалии и щелкающие на теплом сквозняке парусиновые ноги. Бритые, остропахнущие горьким одеколоном «Красная Москва» головы мужчин, само собой, без уборов.

Без уборов...

Мимо трамвая «номер-номер» проплывали склады, навалы ящиков, в том смысле, что ящики возлежали.

А вот и Коптево, что завершается одноэтажной отежкой баней, но Неглинная-то начинается Сандунами, укрытыми паром в любое время года, паром, идущим из труб и вентиляционных коробов. Вспомнить, назвать живущего здесь практически невозможно, собирающего осенью на Рождественском бульваре сухие листья на изнанку потолка. Тем и занят был весь день, что приваривал к окну подвала тяжеленную ребристую арматуру или во дворе колот кирпичи гнутым ломом.

Гостям из Марьиной Рощи хорошо знаком трамвай «номер-номер», идущий через Бутырский хутор. Хорошо знакомы коридор и соседка баба Кланы. Она всегда говорила: «Полей-ка мне на руки, сынок, из ковшика», — и вода навсегда исчезала в недрах труб.

Дверь на чердак была заколочена, и, стало быть, не было никакой возможности обзреть покрытые жидкой зеленью пологие холмы, что уходили за горизонт, проваливались в заполненную черной водой щель реки Яузы, мокли под дождем, сохли под солнцем.

Обращаясь ко мне, мама говорит с сожалением: «Беспризорные непослушники из района Провиантских складов и Преображенских казарм, прибегая к помощи, к услугам слоеной фанеры, картона и мануфактуры, весело катались по этим скользким холмам. — И поясняет: Провиантские склады Василия Петровича Стасова — известного русского архитектора, находятся рядом с метро “Парк культуры”».

Дед с трудом вставал из-за стола, потому как уже изрядно набирался к тому моменту, и гордо сообщал: «Да, я являюсь поборником даггеротипии, в известном ощущении патологической любви к камере-обскуре, разного рода черным бумагам, красным лампам, таинственным комнатам и химикалиям из магазина “Химикалии”, что на Никольской». Отсюда рукой подать и до Петровки, где в магазине «Фототовары» вскоре после войны он купил себе фотоаппарат «Киев».

Магниевые вспышки спят — начинается представление.

— Братья Филимон, Пентиселей и Аверкий Мусатовы — исполнение аккуратное и срочное! Ага!

Где он их только откопал? Не иначе как на Казанском вокзале...

Так вот, эти братья Мусатовы, обладатели архивной пагинации, авторских прав на представление и круглой печати с гербом СССР, являли собой обычный затрапезный раек, мистерию Цам, театр теней и луны, усыпанную опилками цирковую арену, улетающую трапецию или даже вертеп с грязным, вечно мочащимся под себя Пьеро и прочими тряпичными уродами. Таково, если коротко, было либретто предстоящего фарса.

Духовой оркестр выдувал воздушные шары для пришедших на представление детей из соседних дворов. Силачи, как всегда, пыжились своими бронзовыми, смазанными постным маслом лбами. Взрослая публика, ошалело глазевшая на крикливую, истеричную, выцветшую клоунаду, по большей части была уже нетрезва.

Тыкали пальцами.

Мама встала с кровати, подошла к окну и расшторила его, открыла фрамугу. В палату ворвалась музыка, на улице никого не было.

В коридоре раздались шаги и голоса, однако вскоре все вновь стихло.

Этот послевоенный, всеми забытый, но не Богом, не Богом, говорю, никому не нужный и приходящий в полнейшую негодность Пантелеймон чрезвычайной страшил всех медсестер, что выбивались из сил с известной долей безнадежности, — вот и молодость прошла, и жизнь миновала, и простыня опять на полу, и чай простыл, и ворочается сквозь боль.

«Старый дурак!»

«Да сами вы дураки и идиоты!» — мрачно отвечает им.

«Мы прочистили на кухне фуфло рукомыльника от огуречной слизи».

В курилку заглядывает дежурный врач:

«Ну что скажете, демоны?»

«Да ничего не скажем, ночь прошла вроде нормально...»

Итак, победители возвращались тогда через Кунцево, Рабочий поселок, возвращались и неожиданно становились гостями, даже не успев снять гимнастерки и галифе, оставаясь в фуражках или пилотках, дорожной пыли, неотвязном запахе креозота. Погружались во влажную духоту московского лета.

Увлекала и приковывала внимание грандиозная мойка грязных, накрест заклеенных газетными лентами окон, подоконников. Дед важно разглаживал усы и перекуривал после основательной мойки своего мотоцикла с коляской.

И вот, когда гости, само собой, после изрядной выпивки не имеют более сил на предмет отъезда домой, добрые хозяева решаются оставить этих абсолютно умоиступившихся людей, этих совершенно обессиленных людей у себя ночевать. Именно «решаются», потому как иного выхода нет! Однако прежде всех выгоняют на улицу, чтобы не мешали стелить бивуачно расставленные раскладушки. Затем происходит то, что и должно происходить в результате закрытия метро, нехождения троллейбусов, автобусов, конки, трамваи тоже падают, поверженные всесильным Гюнпсом, да и кучер спит на козлах василием, о чем нетрудно догадаться по оглушительному храпу, доносящемуся с заднего двора. Гаснет свет, и в нашем городе, более чем помраченном и обезумевшем за день, наступает неделя вайй.

«Не вы ли Иеремию камнями побии?»

И шум ветвей за окном.

Ветер поднялся.

Таким образом, прозревая веселую тошноту предстоящей короткой ночи, слегка пришедшие в себя на свежем воздухе гости, автоматически превратившись в постояльцев, скапливаются, именно скапливаются, специально толпятся у единственного окна, ведь мы жили в полуподвальном помещении рядом с бойлерной и дворницкой, так вот... у одного-единственного окна, размазав по стеклу свои дыхательные инструменты — носы, конечно!

Окна запотели.

Весьма и весьма!

Это так напоминало «учколлектор», где продавались чучела животных и заспиртованные образцы ядовитых насекомых.

Смешно: «О, ты, не узанный мной, зимой ждущий снега, а летом — солнца! Ты даже можешь поковыряться указательным пальцем в одном из этих застекленных “экспонатов”, пропев при этом растроганно: “Какой забавник!”»

Эти обезумевшие гости из Марьиной Рощи, Замоскворечья, Лосиногостровского, Измайлова, Малаховки и с Цветного бульвара кричат, веселятся, просят стелить гипотетически свою кровать лучше, чем кровать воображаемого соседа, начисто забывая о том, что плотное стекло, слава Богу, не пропускает их дурных голосов. Даже щиплют друг друга за ляжки и ягодички, идиоты, даже показывают языки свои змеями.

Они.

И вот двери открываются, постояльцы заполняют пол и все прилежащие к нему территории: под кроватью и на ней, под столом и на нем, на подоконнике, в хорошо известной всему Цветному бульвару мотоциклетной коляске. Стулья идут в ход, становясь достоянием редких счастливых из Колобовских переулков.

Добродушные хозяева — дед и бабушка, отец и мать — гордо говорят: «Сегодня у нас в гостях вся Москва, слава Тебе, Господи».

Сон необычаен, томителен и дремуч, как лес, — «Ведь ты знаешь, как я люблю эти прогулки в лесу, в полном молчании, в полном одиночестве». Сие как праздник, как ветер, как суббота — день наказаний, как нянечкино угощение, — мохнатые щечки, как еще Бог знает что.

— Спи, голубчик мой, спи, утро вечера мудренее.

Мама приходила домой и рассказывала о том, что снова провела у его кровати всю ночь.

Нянечка-ночница бесшумно перемещалась по палате, изучая содержимое шкафов и тумбочек, пялилась на уснувших, недоумевала, живы они или уже нет.

У телефона горела настольная лампа.

Конечно, в столовой кормили плохо и приходилось запасаться, набивая сумку в проходной, и в гардеробе набивая, и на лестнице полня, и в лифте едва удерживая. Вот, приехали! Это наш этаж! Теперь спешно спрятать кипятильник в карман пальто, а если потребуют снять пальто злые дежурные врачи — отпрыски не менее злых привратников, то должно успеть переложить его в переполненную сумку.

— Извольте миновать перевязочную комнату!

Мама минует ее.

— Извольте миновать процедурную комнату!

Мама минует и ее.

— Сегодня нет встречи с больными, неприятный денек выдался, о чем неоднозначно свидетельствует объявление, выполненное от руки шариковой ручкой.

— А может быть...

— Но это едва ли...

Коптевские переулки до самого Тимирязевского леса застроены бараками с их вечным талым духом оттепели — «Да, горчит несколько на губах». Потом можно было слышать, как привратник выходил на улицу из своей гробообразной каморки, скрипел сапогами, кряхтя расстегивал штаны, тужился довольно

громко и крайне неприлично, облегался в землю. Стонал, паразит, от удовольствия, что-то мял в руках, чем-то хрустел, заколачивал шаги в деревянную приступку, захлопывал дверь.

Привратник-привратник.

Вот опять Малаховка вопит блаженно, ползая в зарослях репейника, отплевывая изо рта куски глины и кислую мякоть обкусанной травы, ищет и ничего не находит, тут же устает, буквально молниеносно, шатается, падает, приваливается к куче свежего навоза, оказавшейся здесь по случаю, засыпает, тяжело уронив голову и вывалив красный вареный язык. Прощай, Малаховка! Поезд несется дальше.

На следующее утро маме сообщили, что за прошедшую ночь послевоенный Пантелеймон попытался построить «пирамиду» с другими, знавшими в этом толк, но упал и разбил себе лицо. Он говорил быстро и неразборчиво: «А чего же ты хотела, голубушка моя, — дочь он называл “голубушкой”, — ведь все происходило, как всегда, четко и беспрекословно, как в прежние годы, при этом все хотели спать и спали глухо-беспокойно, разинув пропахшие традиционным вечерним кефиром рты, стена и клацающая зубами. Ну разве я не прав?»

Конечно, конечно, дед был прав. Он с удовольствием угощался холодными котлетами, запивал их красным морсом из бутылки, заткнутой пушистой салфеткой. Потом нянечка или медсестра по имени «Боткинская-Урология» бинтовала потерпевшему раны, полученные этой ночью в результате неудачной попытки побега: «У нас, дед, не забалуешь». Неспешно прогуливались строгие главврачи.

Военврачи еще помнились ему и нравились больше.

Мама не выдержала и заплакала: «Боже мой! Боже мой! Да что же это такое?» Тушь потекла по ее щекам.

По субботам мы с мамой ходили на Центральный рынок. Просто так ходили между рядов, останавливались у арбузных развалов, вдыхали пьянящий аромат ташкентских дынь и домашних солений. Обязательно заходили в магазин «Хозтовары», где карнизы, петли, поддоны, гвозди, глушители, отвертки, молотки, топоры.

В покосившейся, крытой колотым шифером лавке идет торговля орехами, картонками, картинками. Кто-то орет на кого-то матом, наверно, сейчас будут драться: «Убей, убей его, суку такую!»

Рядом старуха в потертой синтетической душегрейке тихонько, закатив глаза, пела срывающимся дребезжающим голоском: «Честнейшую херувим и славнейшую, без сравнения серафим...» Раскачивала своей высохшей наподобие инжира головой, путалась в платках, когда отсчитывала медяки, вылезала из рукавов, блажила: «Подайте Христа ради Спасителя нашего на пропитание».

Однажды, в одну из таких суббот, старуха пригласила нас с мамой к себе в гости, если, конечно, это можно было назвать «в гости», даже не знаю, почему именно нас. Мы бессмысленно долго ходили проходными дворами. В ее комнате пахло простынями и клеем, окна выходили на лестницу, а тещедушная этажерка была покрыта шитьем, и это означало, что мы наконец пришли и стали ожидать приготовления керосинового чая, где в сахаре ползали муравьи.

Со стен на нас смотрели картинки-лубки: «Бова Королевич» и «Царь Максимилиан на коне».

Мама несколько раз порывалась встать и уйти, ибо время, отведенное для визита вежливости, истекло по крайней мере в ее, мамином, представлении, но бабка слезливо упрашивала нас посидеть с ней еще хотя бы в полнейшем молчании. Из буфета доставала зверушек — старые каменные леденцы.

Зверушки выли во дворе. Собаки, собаки, конечно...

В длинном сумрачном коридоре мама указала мне на огромный эмалированный бак с краном и сказала, что здесь, видимо, нет водопровода и, очевидно, приходится мыться вот тут, разбрызгивая мыльную жижу на пол. «Прямо на пол?» «Да!» После чего, прибегая к помощи специально припасенной ветоши, тут необходимо было вытирать образовавшуюся лужу со всеми возможными

в этой вонючей темноте предосторожностями, со всем старанием, отдавая себе отчет в том, что подобное занятие должно было повторяться от раза к разу.

Заливало соседей снизу.

Тазов в этом доме не было.

Бабка, как мне показалось, заплакала при этих словах, хоть и были они сказаны полусшепотом, или она подслушивала... Я был призван усмотреть в этом нечто дурное. Так вот, она, бабка, как-то задрожала, и когда мы уже вышли на лестничную площадку, тихо сказала: «Тут святая водичка но-лита, не хотите ли испить на дорожку?» И смотрела прямо на нас, потом — в окно. Стало совершенно невыносимо и отвратительно, во мгле коридора бак явился распухшим окаменевшим покойником.

Положение во гроб.

Потом мы с мамой долго шли по Петровскому бульвару и молчали.

Конечно, старуха ничего не подслушала, она просто все знала про нас. Я широко открыл рот, чтобы в него могли заглядывать птицы, сидящие на деревьях.

С шестьдесят шестого по шестьдесят восьмой год мы жили в Первом Неглинном переулке — остренький дворик, заваленный помоями и снегом, Силоамский пруд, заботливые перила, лысые новогодние елки, под которыми в детстве мы с бабушкой звучали хотя бы и Рихардом Вагнером, бабушка аккомпанировала мне на рояле, а я толкался с разошедшей у батареи парового отопления куклообразной виолончелью, становясь сквозь рыбы глаза предметом наблюдения захмелевших в духоте гостей.

Я вылил соус на белый передник, я ел руками салат, уронил вилку на пол, сидя на самом углу стола, вилка упала на паркет, загремела и воткнулась в чью-то стопу. «Чья же это стопа?» Молчат, дураки, не дают ответа, преодолевают адскую боль. Я путешествовал под столом, плутал в дубраве расставленных здесь ног.

«Вы знаете, что вытворил ваш сын-бандит? Нет? Сейчас я расскажу! Он подложил в торт керамическую фигурку баяниста, о которую Алексей Данилович сломал себе зуб, а еще он посмел подглядывать за Верочкой Арнольди, когда она укрепляла на голове парик, подкрашивала глаза, переодевалась, наконец! Мерзавец!»

К осени деда выписали из больницы, и он вернулся домой, где его все ждали, потому что без него продали его немецкий мотоцикл с коляской.

И вот теперь уже бывший мотоциклист, бывший исполнитель атлетической фигуры «пирамида» на Цветном бульваре потребовал оставить себе только номерной знак на память да кожаное седло, которое отец впоследствии укрепил в самой непосредственной близости от входной двери. Чему, кстати сказать, изъявляла свое решительное одобрение женщина-почтальон, которая приносила деду и бабушке пенсию. Упрятанная в традиционно короткорукавный полушубок, она извлекала из рваных глубин своей дерматиновой сумки с надписью «связь» ведомость, присаживалась на мотоциклетное седло, водила пальцем по столбцам цифр и фамилий, читала ведомость вслух, как книгу, ей-богу, предавалась неторопливой беседе, довольствовалась хотя бы и полнейшим молчанием пенсионеров.

«А все-таки в наше время развлекались культурней, не то что сейчас...»

Гипсовые гости из Сокольников снимали пиджаки. Разгорячились. Эти мальчишки с чубчиками, вероятно, футболисты с Ширяева поля, трогали свои чубчики, поводили плечами, поплевывали на ладони и пускались в диковатый пляс со свистом, руганью и припадками.

А он, вспоминающий свою молодость, странно улыбаясь или озираясь, шумно озорничал, орал какую-то совершенно безумную песню, несколько раз даже упал, но исправно вскакивал исправником — старая выправка, был весь в табаке, пыли, был командиром орудия, телефонистом, ушастым лыжником с обмороженным лицом, рогатым кашеваром с полевой кухни и дядькой с желтыми глазами.

Потом его вынесли на улицу, где он восхищался свежестью ночной Москвы.

На следующее утро, как помню, шел дождь, и мама с трудом добудилась меня в школу. И это уже к самому началу тумана, поднявшегося из низких теплых переулков, за мной пришел одноклассник Арефьев со строгим и потому целеустремленным лицом и повел сидеть за одной с ним партой. Я упирался и по дороге вывалил все тетради в лужу, а он строго сказал мне: «Это даже и хорошо, что вывалил в лужу, теперь домашнее задание проверить будет нельзя, а ты скажешь, что все сделал...»

У школы нас встретил строгий старик вахтер и довольно спешно и неразборчиво рассказал о том, как он в 45-м году в Берлине поймал самого Гитлера и даже «заарестовал» его. Кретин.

Наступала суббота — день наказаний, а там и воскресенье не за горами. Неделя вайи — шум густых ветвей в вышине.

Из шлангов поливали мостовые, открывалось метро.

Гости из Марьиной Рощи и с Яузских ворот нехотя расходились, уже видели себя едущими в трамвае «номер-номер» мимо складов, мимо горящих ящиков, мимо навалов шпал, в том смысле, что шпалы возлежали. Уходили и смелые гимнасты в полосатых трико, и духовой оркестр с отежшими от ночного дудения легкими. Нет, больше это никогда не вернется! Никогда не повторится!

Мама подошла к окну, расшторила его, открыла фрамугу, и в палату ворвался ветер с улицы. На улице было пустынно, безоблачно, с летающим по воле воздушных течений сеном. Все завернуто в «китай» и виногрет рельефного крепдешина, спеленуто со сложенными на несуществующей, выпотрошенной груди руками. Крестообразно.

Положение во гроб.

За дверью по коридору неспешно прогуливаются строгие главврачи в белых халатах. Санитары. Сейчас, с минуты на минуту, они войдут сюда.

Придут за отцом моей мамы.

...а пока она одна.



Темное прошлое человека будущего

ПОВЕСТЬ

4

Она появилась у меня через несколько дней, когда я уже начал свыкаться с мыслью о смерти Некрича. На ней было новое бордовое платье, очень ей идущее. Глаза, казавшиеся посветлевшими на сильно загорелом лице, были не накрашены.

— Некрич всегда говорил, что мне не идет густо ресницы красить,— объяснила Ирина.— Я тогда его не слушала, а теперь вижу, что он прав был. И не только в этом...

Она была очень сосредоточена, вся в себе и, даже целуя меня, продолжала, похоже, думать о Некриче. Спросила, как мне ее новое платье, я сказал, что очень нравится.

— Я так и думала, что ты оценишь. У вас с ним похожий вкус. Гурий мне дал денег, чтоб я не плакала, и я сразу себе это платье выбрала, потому что бордовый был его любимый цвет. И фасон ему бы понравился, правда?

— Не знаю, наверно...

— Теперь я хожу в нем по улицам и думаю, что Некрич на меня смотрит и видит, как платье на мне хорошо сидит. Душа его ведь пока здесь, сорока дней же еще не прошло. Я часто на себе его взгляд теперь чувствую. На улице в толпе меня как будто кто-то незаметно выделяет из остальных, я это сразу замечаю. Или когда одна дома... Я себя все время со стороны пытаюсь представить, какой он меня видит.

Из-за этого стремления представить себя со стороны она казалась полностью поглощенной собой, постоянно мысленно себя осматривающей, как будто была часовым на своей собственной границе, лишь изредка выглядывающим через нее во внешний мир, чтобы заметить, например, меня.

— Тебе известно, как это произошло? — спросил я, избегая слова «убийство». Теперь, когда мысль о том, что Некрича больше нет, стала не то чтобы привычной, но одной из прочих мыслей, а не единственной, заглушающей все остальные, обстоятельства его гибели снова обрели значение. Ирина наморщила лоб.

— Они повезли его на машине, Коля с Толей, но по дороге сломался мотор. Они не смогли его починить, такси тоже не ловилось, и они не придумали ничего лучшего, чем везти Некрича на метро. Там был народ, Некрич воспользовался этим и вырвался...

— Но не могли же они на людях в него стрелять?!

— Нет, он то ли в тоннель, удирая, спрыгнул, то ли в какой-то служебный проход... Я не поняла до конца...

— Какой-то бред.

— Бред...— Ирина провела рукой по лицу, словно хотела стереть стоящую перед глазами неясную сцену убийства.— Я была уверена, что это с кем угодно может случиться, только не с Некричем. А с ним — что угодно, только не это... Мне казалось, что все, что он делает, не всерьез, как будто понарошку, просто игра такая, и все вокруг это тоже понимают...

— Я тоже думал, что его поведение — безостановочная игра, сплошной театр... Я никогда ему сперва не верил, но потом всякий раз оказывалось, что так все и есть на самом деле. Его театр неизменно оборачивался действительностью, нашей общей действительностью...

— И смертью,— закончила Ирина, и мне показалось, что тревожный часовой на открытых участках ее границы — голых загорелых руках, ногах и шее — удвоил бдительность. Ее твердые неподвижные губы сохраняли привкус последнего слова, когда я ее поцеловал. Она разделась так просто и обыкновенно, как будто давно была моей женой.

В постели Ирина упорно не хотела закрывать глаза, хотя обычно они закрывались у нее сами собой почти сразу. Они не пропускали в себя мой взгляд, отталкивали его, как магнит отталкивает другой магнит того же заряда. Насильно держа их открытыми, она смотрела не на меня, а куда-то за меня, пытаясь, похоже, разглядеть за моей спиной под потолком комнаты наблюдающую за нами душу Некрича. Потом ее веки все-таки сомкнулись — наверное, приковавшей ее к себе душе Некрича надоело глазеть на нас, она отвернулась,— и напряженная Иринина сосредоточенность разрядилась наконец нежной истерикой.

— Мальчик,— шептала она мне на ухо, хотя никогда раньше так меня не зывала,— мальчик мой, мальчик...

Я слишком хорошо помнил, кого она так звала в постели, и догадывался, что под ее закрытыми веками мне нет сейчас места.

— Мальчик мой,— жалела она меня до слез вместо Некрича, изо всех сил прижимая к себе. Уверенный, что эта непривычная судорожность причитается не мне, а тому, кого больше нет, я не удержался и спросил, когда все кончилось, но раньше, чем она пришла в себя:

— Ирина, кто я? Как меня зовут?

Она не сразу, но все-таки вспомнила.

Среди всех мужчин, окружавших Ирину в настоящем и прошлом, Некрич после своей гибели стал для нее вне конкуренции. Он обогнал всех, вырвался вперед, первым заглянул за черту, которую рано или поздно пересечет каждый, и узнал то, что не известно пока никому из нас. Теперь его образ в ее памяти окрашивался отсветом этого смертельного лидерства. Умерев, он разом избавился от своих недостатков, всего своего безумия и нелепости, а главное, от претензии на единоличное обладание ею. То, во что он превратился в Ириной памяти, вызывало у нее чувства скорее материнские, чем те, которые она обычно испытывала к мужчинам, а потому неразвоенные и сильные. «А ведь ты угадал тогда,— сказала она,— при нашей самой первой встрече, когда нас в метро друг к другу прижало, помнишь? Ты был прав, я все еще люблю его». С закрытыми глазами проводя пальцами по моим губам, Ирина говорила: «У тебя рот такой же, как у Некрича. И манера разговаривать похожая». Меня, естественно, раздражало это желание находить во мне несуществующее сходство с Андреем, несколько раз я даже специально изучал себя в зеркале, чтобы убедиться, что она ошибается, и не обнаружив ничего общего, все же не мог отделаться от неприятного осадка: что если со стороны виднее?

Мне было ясно, что я стал для нее его заменой, как бы земным воплощением Некрича и, кажется, не меньше, чем сам по себе, привлекаю ее возможностью говорить о нем, иллюзией сохраняющейся связи с ним через меня. Может быть, подумалось даже мне, и с самого начала, когда Некрич был жив, ее бессознательно притянула ко мне потребность в такой связи: ведь не было ни одно-

го раза, чтобы, встретившись, мы не вспоминали бы о нем. Теперь мне казалось, что только о Некриче мы всегда и разговаривали. Во всяком случае, то, что мы были с ним друзьями, давало мне в Ирининых глазах большое преимущество по сравнению с Гурием, Некрича ненавидевшим.

Ее отношения с Гурием становились все хуже. Она сказала мне, что никогда не простит ему убийства Некрича: он обещал ей, что когда его поймают, то оставят в живых. Кроме того, ее бесило его новое увлечение: стоило им переехать в отремонтированную некричеву квартиру, как Гурий начал сносить туда горы никому не нужных, давно вышедших из моды и употребления вещей отечественного производства, все подряд, без разбора: драповое пальто с песцовым воротником и куртку с надписью «БАМ», блузку-размахайку и кофту-олимпийку, сапоги на микропорке и шапку-петушок, гобеленовый коврик с оленями и магнитофон «Яуза», пылесос «Тайфун» и радиоприемник «ВЭФ», школьную форму мышиноного цвета и длинную ленту советских презервативов. Охватившая Гурия безудержная страсть коллекционирования не мешала ему продолжать пить по-черному, еще больше, чем прежде. Пьяным он теперь часто становился сентиментален — как-то Ирина застала его плачущим нетрезвыми слезами в обнимку с олимпийским мишкой, — но чаще свиреп, и она то и дело демонстрировала мне следы новых затрещин. Однажды, снимая с нее колготки, я обнаружил имя «Гурий», выведенное шариковой ручкой у нее на пятке. «Это чтобы при каждом шаге его топтать! — объяснила она. — Раз он со мной так, то и я с ним так!»

Я тогда впервые почувствовал, что ее отношения с Гурием намного серьезнее, чем мне представлялось поначалу, во всяком случае, держатся не на одном только материальном интересе, как я думал раньше. У нее вообще со всеми без исключения были серьезные отношения, даже с Некричем. Она была серьезнее любого из нас своей детской, лишенной защиты взрослой иронией, серьезностью.

— Зачем тебе это? Уйди от Гурия, — сказал я, заранее уверенный в неосуществимости предложения.

— Куда же я из некричевой квартиры уйду?! К тебе, что ли? — Она произнесла это таким тоном, что сразу стало ясно — это даже не вопрос для обсуждения. — Ты меня больше недели подряд не выдержишь. (Иногда ей бывала свойственна необыкновенная трезвость суждений.) Нет уж, теперь я оттуда уже никуда. Пока мы с Некричем там жили, я так к этой квартире привыкла, что почтирослась с нею.

Он снился ей там теперь чуть ли не каждую ночь.

— Я его и раньше часто во сне видела, — рассказывала Ирина, — а после смерти он стал постоянно приходить. Иногда сам по себе, а иногда кто-нибудь другой снится, брат, например, мой младший, я ему рукой по щеке провожу, а у него усы и борода, которых он никогда не носил. Я к нему присматриваюсь, а это Некрич... Кладет мне голову на плечо или так стоит, я его по волосам глажу, и пальцы вдруг на дырки от пуль натываются. Гурий сказал, что его тремя выстрелами в голову убили. Волосы у него все в крови, и руки у меня тоже мокрыми от крови становятся. — Она подняла свои руки с тонкими запястьями и длинными пальцами и посмотрела на них так, точно видела окровавленными. Продолжая говорить, опустила осторожно, будто боялась о них испачкаться. — Недавно просыпаюсь среди ночи, а на подушке и в самом деле кровь, целая лужа. Из носа у меня во сне пошла. Мне моя кровь понравилась, такая ярко-красная, как краска!.. Как ты думаешь, он приходит, чтобы меня к себе звать? Ведь не просто так же...

— Что за чушь ты несешь?!

— Нет, не чушь. Я знаю, он меня к себе зовет... Иначе зачем тогда снится? Я уже недавно, когда меня Гурий в очередной раз довел, хотела из окна выкинуться... Открыла его, села на подоконник... — Ирина взяла мою руку и прижа-

ла ее ладонью к своей щеке, потом, словно о чем-то вспомнив, быстро отстранила, почти оттолкнула.— Но подумала, что, если головой вниз упаду, могу изуродоваться... А в гробу нужно красивой лежать, чтобы всем напоследок понравиться. Ведь если мне череп об асфальт разнесет, то Некрич меня, может, потом даже и не узнает... Когда там встретит...

Я притянул ее голову к себе, обнимая обеими руками, точно она уже грозила вот-вот разлететься на части от всего, что ее переполняло. Ириныны глаза были совершенно сухими и еще более четкими, чем когда она обводила их черным. Она высвободилась и, поправляя волосы, на полсекунды задержала, словно задумавшись, пальцы на виске — после смерти Некрича у нее возникла эта новая привычка: на мгновение приостанавливать в конце некоторые жесты, как будто для того, чтобы они не прошли незамеченными. Мне было ясно, что она делает это не для меня и не для себя — а для Некрича, не спускающего теперь с нее глаз.

— А вкусенького у тебя ничего к чаю не найдется?

Некрич сидел у меня на кухне целый и невредимый, закинув нога на ногу и завязав их узлом, с бешеной скоростью вращая чайную ложечку между большим и указательным пальцами, и я уже почти убедил себя, что никогда всерьез не верил в нелепую историю со стрельбой в метро, его побегом и убийством. Я начал убеждать себя сразу же после его звонка, когда Некрич как ни в чем не бывало сказал, что если у меня никого нет, то он с удовольствием зашел бы, и к тому моменту, когда ложечка у него наконец сорвалась и я ее, конечно, не поймал, практически не сомневался больше в том, что так оно и было.

— Ты знаешь, что твоя жена тебя за мертвого держит? Она мне говорила, что ей Гурий сказал, будто Коля с Толей тебя застрелили. Три выстрела в голову.

— Как бы не так! Это он ей выдал горячо желаемое за действительное, если только они его самого сначала не обманули, побоявшись сказать, что я опять у них из рук ускользнул. Но это навряд ли, скорее Гурий Ирине наврал — до того ему не терпится меня на тот свет отправить. Только хрена с два! Мы еще посмотрим, кто кого куда отправит! — Некрич быстро поменял ноги местами, перевязав образуемый ими узел, и, слегка склонив голову набок, спросил: — Так как там у нас насчет чего-нибудь эдакого к чаю?

Он был не просто жив, а как-то лихорадочно и избыточно жив, подмывает сказать, по-хамски жив. Я поставил на стол несколько эклеров, оставшихся после вчерашнего Ирениного визита, и он стал уминать их, как всегда, стремительно, один за другим, точно с минуты на минуту ему нужно было вновь пускаться в бега и он спешил успеть съесть как можно больше. От его жадного укуса крем часто выдавливался с противоположной стороны трубочки, Некрич цеплял его пальцем и отправлял в рот, с причмокиванием облизываясь, полуприкрыв веки от удовольствия.

Все-таки я был очень рад видеть его живым.

Одной рукой он держал пирожное, другой чашку с чаем и, поскольку рот его был забит, глазами указывал мне на чайник с кипятком или с заваркой, взглядом прося подлить ему того или другого. В молчании его присутствие становилось все более самодовлеющим, и я почувствовал, что больше не могу высказать его без объяснений.

— Так что же, никакого бегства в метро не было? Выходит, все выдумка, и даже непонятно чья?

— Если бы! — Некрич сделал большую паузу, не желая отрываться от пирожных, но потом все-таки продолжил: — Все чистая правда, кроме одной мелочи, крохотного нюанса, пустяка — что поймать они меня не поймали! На метро меня повезли, олухи царя небесного, думали, так я и пойду с ними безропотно, как агнец на заклание. Они ж меня всегда за юродивого держали, Гурий со

всей своей бандой, вот и поплатились. Как только я в переходе с кольцевой Киевской на радиальную дверь открытую увидел, сразу вырвался и туда нырнул. Там за дверью служебная комната с доской объявлений на стене, дальше еще одна с какими-то шкафами железными, потом опять дверь и за ней лестница вниз. Я через две ступеньки чуть ли не кувырком, остановился, слышу, эти двое за мной бухают. За лестницей коридор, потом еще одна лестница, винтовая, с перилами, за ней площадка для лифта. Лифт, по счастью, сразу подъехал, еще до того, как я подбежал, его две тетки в оранжевых жилетах вызвали. Вместе с ними я из него вышел, с ними и дальше пошел по коридору с плакатами, потом по узкой лесенке в тоннель — не хотелось мне от них отставать, я себя под их защитой чувствовал, в случае чего, думал, в обиду не дадут. Крупные такие дамы, косая сажень в плечах, у каждой в руке по разводному ключу. Помню, как они между собой переглядывались, на меня посматривая, но даже не спросили, как я там очутился, — постеснялись, видимо. Стеснительные. Я уже решил, что опасность позади, когда Коля с Толей у входа в тоннель замаячили. Пришлось прямо по тоннелю когти рвать, между рельсами, дамы мои: «Стой! Куда ты?!» — а я и не оглядываюсь. Там кругом провода под током, прикоснуться ни к чему нельзя, оступишься — и конец, а главное, гудит все, гудит вокруг, и сверху, и снизу, сейчас, думаю, поезд, лопатками уже смерть свою за спиной чувствовал... — Некрич прервался, чтобы перевести дух и откусить эклер. — Но пронесло, поезд за стеной проехал, по соседнему тоннелю. Впереди лампа какая-то в глаза била, а за ней я лесенку на площадку обнаружил, от тоннеля отгороженную. По этой площадке я на станцию вышел. И вот там-то меня самый большой сюрприз поджидал...

Некрич снова сделал паузу, не уверенный, похоже, нужно ли рассказывать дальше. Он оценивающе поглядел на меня, решая, заслуживаю ли я услышать продолжение. Я, конечно, сделал вид, что оно меня не особенно интересует.

— На станции были люди, много людей... в основном мужчины, некоторые в военной форме, другие в штатском... Я стал осматриваться кругом, чтобы понять, где я нахожусь, но не обнаружил нигде ни названия станции, ни обычных указателей. Вообще нигде ничего не написано, ни единого слова. Никогда раньше я здесь не был, хотя станция была старой, судя по всему, построенной вскоре после войны, а уж все старые станции я знаю наизусть. Хотел спросить у кого-нибудь, куда я попал, но больно вид у всех кругом был занятой и сосредоточенный. Пока я выбирал, к кому бы мне обратиться, поезд подошел, все стали садиться, и я вместе со всеми, решил посмотреть, куда вывезет, мне ведь безразлично было, куда ехать. Следующая станция снова незнакомая, снова без названия, и в вагоне ничего не объявляют, даже «осторожно, двери закрываются» и то не говорят. Едем дальше. Люди входят и выходят, военные честь друг другу отдают, все, как обычно, хотя посвободнее, чем на других линиях, народу поменьше, и станции все неизвестные: громадные, с арками, бронзовыми статуями, фресками на потолках, мраморными колоннами, все друг на друга непохожие. Одна как готический собор, другая в псевдорусском стиле, третья как сундук, еще одна в романском стиле со светильниками в нишах в виде чаш на львиных лапах... Повсюду лепнина, позолота и мозаики, и люстры гигантские проплывают... Постепенно я понял, конечно, что это и есть то секретное метро, про которое во всех газетах писали, та самая кремлевская линия... Ты что, ни разу не читал, что ли? Ах да, я забыл, ты же газет не читаешь...

Я слушал Некрича молча, ничем не выражая недоверия, но и молчание мое он воспринимал так, точно я ему не верю. Уже одно мое присутствие в качестве слушателя лишало его убедительности, заставляло чувствовать недостаточность своих слов и форсировать интонацию рассказа. Некрич не мог не смотреть на себя моими глазами.

— А зря, между прочим, сейчас такое время, что газеты читать надо! Ведь каждый дурак уже знает, что секретное метро существует, мало кому только из-

вестно, где они, эти закрытые станции, и сколько их. Может быть, их больше, чем открытых! Я видел множество станций, даже со счета сбился! Я видел там конные статуи главнокомандующих, огромные, по крайней мере в полторы натуральных величины, наподобие статуй венецианских дождей, барельефы и фризы, куда там Пергамскому алтарю... А, да что тебе рассказывать...

Некрич ошибался, полагая, что я ему не верю. То, что он говорил, казалось мне, естественно, малоправдоподобным, но ненамного менее правдоподобным всего остального, происходящего с ним. Неправдоподобность путешествия по секретной линии метро как нельзя лучше подходила к его собственной, давно привычной мне неправдоподобности и, как минус на минус дает при умножении плюс, обретала самодостаточную убедительность, наподобие неопровержимой убедительности сна, не зависящую от того, верю я Некричу или нет. Как бы там ни было, он сидел передо мной, хотя мы с Ириной уже с ним попрощались, и, додая ее пирожные, с кремом у рта доказывал мне то, что ни в каких доказательствах — постольку, поскольку речь шла о нем — не нуждалось.

— Пойми наконец, что у всего на свете есть своя изнанка! Как оборотной стороной действительности является сон, а театральной сцены — весь театр за кулисами, точно так же и изнанкой метро, которое само по себе есть подземная изнанка города, является секретное метро. И все, что случается на лицевой, общедоступной стороне, определяется происходящим на оборотной. Думать, будто что-то здесь может случиться само по себе, — все равно что считать, будто спектакль на самом деле возникает на сцене прямо на глазах у зрителей!

— Ты зря тратишь красноречие, я и так тебе верю.

— А мне плевать, веришь ты мне или нет! — окрысился Некрич. — Как будто это что-нибудь меняет!

«Еще как меняет, — подумал я. — Ты так преувеличиваешь значение изнанки действительности, потому что тебе не хватает своей собственной. Ты хочешь, чтобы знание о секретном метро заменило тебе ее, чтобы оно заполнило твое всегда пустующее второе дно. Но это удастся лишь в том случае, если я тебе до конца поверю».

Вслух я спросил только:

— Каким же образом, если не секрет, ты оттуда выбрался?

— Самым что ни на есть обыкновенным. Сошел на одной из станций, поднялся по эскалатору, очутился внутри вестибюля с проходной на выходе. Офицер на проходной так на меня бдительно смотрел, что я уже думал, сейчас остановит. Но обошлось. Вышел на улицу из обычного на вид здания в районе проспекта Мира, глядя со стороны, никогда не догадаешься, что в нем вход в метро. Когда дверь за мной закрылась, сначала обрадовался, конечно, что все позади, а потом даже жаль стало, что больше никогда туда не попасть. Хотя кто знает...

— Что день грядущий нам готовит...

— День грядущий грядет! — сказал Некрич, отправляя в рот последнее пирожное. — Я это там, под землей, с особой ясностью почувствовал. По лицам, по их сосредоточенности, скупости жестов, по глазам, ко всему уже готовым и знающим все наперед, по отрывочным репликам, доносившимся до меня сквозь гул, главное, по самому этому гулу! Это ведь он мне во сне слышался, я тебе, помнится, рассказывал, как он меня по ночам будил! Я теперь понимаю, что всегда его за прочими звуками различал, не догадывался только, откуда он берется. Сейчас-то мне наконец ясно, что это и было секретное метро, — я его всю жизнь предчувствовал! Вероятно, оно неподалеку от моей старой квартиры пролегает, может быть, даже прямо под ней, поэтому и стекла у нас по ночам всегда так тревожно дрожали. День грядет неумолимо, и те, кому надо, я думаю, его уже с точностью назвать могли бы. Осталось совсем немного, вот увидишь, всего ничего... Который, кстати говоря, час?

— Девять. А что? Торопишься?

— Включи телевизор, давай новости посмотрим.

— Ты теперь, значит, тоже без новостей жить не можешь,— сказал я, вспомнив Иннокентия Львовича.

Программа «Время» только что началась, диктор говорил о поисках путей примирения в конфликте между президентом и парламентом. Православная церковь предложила свое посредничество, было принято решение о переговорах в Свято-Даниловом монастыре. Меня мало интересовала эта затянувшаяся история, и, почти не слушая, я наблюдал за Некричем. Он глядел на экран, улыбаясь в телевизионном свете, зубы его поблескивали в полуоткрытом рту.

Облику Некрича секретное метро добавляло новую фиктивную глубину, наподобие бесконечной прямой перспективы на плоскости холста. Он представлял теперь здесь, на лицевой стороне действительности, эту потустороннюю за-секреченную пустоту у нас под ногами, стал ее полномочным посланником. Он оставался, конечно, тем же человеком с двойным дном, каким был и раньше, но его второе дно углубилось и расширилось до теряющихся в подземной тьме размеров секретного метро, расходящихся в разные стороны черных тоннелей, гулких безымянных станций, оставаясь при этом по-прежнему пустым.

Ирине я о том, что Некрич жив, говорить не стал. Сначала меня сильно тянуло за язык, особенно когда она вновь начинала о том, как он снится ей и зовет к себе, но я твердо решил выждать: она так крепко вбила себе в голову, будто любила его, что известие о том, что он цел и невредим, не могло не изменить наших отношений. Некрич ведь собирался после продажи квартиры уехать из России и ждал теперь только, когда будут готовы документы. Если б его план с отъездом удался, я был бы рад и за него, и за себя. Получив его письмо откуда-нибудь из Германии, а еще лучше из Новой Зеландии, я непременно показал бы его Ирине, чтоб зря по нему не убивалась.

Однажды она приехала ко мне без звонка, взволнованная больше обычного, с влажными, потемневшими волосами, хотя стоял сухой солнечный день, один из первых дней октября. В некричевой квартире отключили воду, и она ходила мыться в сауну. Там было много женщин, молодых и пожилых, и они говорили только о двух вещах: о политике и о смерти.

— Представляешь,— рассказывала мне Ирина с расширенными от испуга глазами,— две тетki едва не подрались из-за того, кто лучше: Ельцин или Хасбулатов! Все между собой переругались, одни за Ельцина, другие против. Я у одной мыло попросила, мое смылилось, а она мне в ответ: «Ты за президента или за парламент?» Все распаренные, красные, кричат, друг друга не слушают. А про смерть, наоборот, очень спокойно разговаривали, как о самом обычном деле, на этом все и помирились. Так спокойно, что мне жутко сделалось. Говорили, как лучше умирать, от какой болезни, случаи разные вспоминали, кому повезло во сне душу отдать, а кто годами мучился... Одна совсем еще не старая женщина, но очень полная, вот с такими боками — Ирина показала руками,— сказала, что это большое счастье — умереть легко и быстро. И мне тогда так жить захотелось, ты даже вообразить себе не можешь, до чего сильно мне вдруг захотелось! — Закусив нижнюю губу, Ирина обняла меня и дальше говорила мне на ухо шепотом: — Я взяла и приехала к тебе, хотя должна была сегодня вечером Гурия не то в Ростов, не то в Тамбов провожать, не помню даже толком куда... А я все равно к тебе приехала... Ну похвали меня, скажи, что я хорошо сделала.

— Ты не боишься?

— Не-а. Все равно он раньше, чем завтра вечером, оттуда не вернется, а уж до тех пор я какое-нибудь объяснение придумаю. Он в этот свой Саратов на упаковочную фабрику едет: ему там треугольные пакеты пообещали, в которых раньше, в советское время, молоко продавали, помнишь? У них каким-то чудом сохранились. Зато я теперь на всю ночь могу у тебя остаться.

Ее волосы пахли яблочным шампунем. От пережитого и еще дрящегося испуга Ирина была растерянной и непривычно мягкой, от обычной ее напряженности не осталось и следа. Кажется, впервые она никуда не торопилась.

Мы не спали почти всю ночь. Она заснула уже под утро, я лежал рядом, понимая, что так привык быть в своей кровати и в своей комнате один, что с нею мне не уснуть. Но мне было хорошо и спокойно. Я поднялся, вышел на кухню, зажег плиту и поставил чайник на газ. От усталости тело было легким и каждое действие доставляло непривычное наслаждение, как будто в присутствии спящей Ирины все было иным, чем всегда: шаги босыми ногами по полу, сквозняк, тепло от горящей конфорки. Я двигался осторожно, боясь разбудить ее, стараясь, чтобы каждый неизбежный звук — скрип паркета, шорох спички о коробок, шум воды из крана — раздавался как можно тише. Иринин сон был, как тонкий лед, готовый треснуть от одного моего неловкого шага, по которому я перемещался, прислушиваясь к любому скрипу под ногой. Из окна сильно сквозило, и я накрыл ее еще одним одеялом.

Начинало светать, но солнце еще не появилось, и раннее утро походило на пасмурный, странно безлюдный день. На улице за окном не было никого, кроме ветра в кронах. В темной шевелящейся листве было примерно поровну зеленого и желтого. Осень была временем, в котором хотелось спрятаться от времени — укрыться за деревьями маскировочной окраски и переждать. В доме напротив на одном из нижних этажей зажглось окно, его резкий свет прошел сквозь подвижную массу листвы.

Выпив стакан чая, я вернулся в комнату. Ирина по-прежнему спала. Я впервые рассматривал ее лицо спящим, опустошенным и замкнутым сном, и его вид внушал мне чувство покоя, как будто не я оберегал ее сон, а, наоборот, она, вытянувшись во сне, как часовой, хранила меня. Мне никогда не было так спокойно с ней, как сейчас, когда она была свободна от своих неизменных спешки, тревоги, страха перед одиночеством и прочих страхов.

Разглядывая ее и свои вещи на круглой табуретке у постели, я почувствовал, как, теснясь, жмутся друг к другу телефон, будильник, карандаш, стакан с водой, Ирнины полупрозрачные колготки, пачка сигарет и косметичка. Шнур телефонной трубки, уже не уместаясь, свешивался вниз — в пропасть. Ощущение уюта в моей комнате под охраной Ирениного сна было острым, почти пронзительным.

Это ощущение возникает всегда на границе двух миров, малого и большого, у того, кто выглядывает из первого во второй. Уют — это чувство зрителя, и оно невозможно без наличия рядом с малым миром, сжатым иногда до размеров тела самого наблюдающего, выделенного из окружения, как это было, например, со мной в вагоне метро, большого мира, даже если пока это только темное движение листвы за окном. И чем резче разница между двумя мирами, чем ненадежнее граница, тем острее чувство уюта, тем туже сжимается оно внутри, как готовая лопнуть часовая пружина. В реальном присутствии смерти вся жизнь должна показаться маленькой, способной уместиться в ладонях, со всеми прошедшими событиями, жмущимися друг к другу, — пронзительно уютной.

Иренины губы зашевелились, она произнесла: «Не я... это не я...» Наверное, ей опять снился Некрич, и она оправдывалась, что невиновна в его гибели. Мне стало жалко оставлять ее одну во сне. Я лег рядом, взял ее за руку. Не просыпаясь, Ирина повернулась на бок, губы ее уткнулись мне в плечо. Она глубоко дышала через нос, и мое тело, постепенно становясь невесомым, раскачивалось на приливах и отливах ее дыхания.

Услышав шаги в прихожей, я вспомнил, что Ирина выходила курить на лестничную клетку и, наверное, оставила дверь незапертой. Я знал, кто это, раньше, чем открыл глаза. Гурий был не один, вместе с ним в комнату вошли стриженный наголо с царапинами на подбородке и лысом черепе, продавший Некри-

чу пистолет, и еще один, со свернутым набок носом. Гурий был в том же белом плаще, что и обычно. Несколько секунд он молча смотрел на меня и спящую с раскрытым ртом Ирину, потом сделал знак рукой, чтоб я поднимался. Стриженный кинул мне мои брюки со спинки стула. Я стал одеваться под их взглядами, запутался в штанах, потом никак не мог найти носок. Ступая по полу в одном носке, я заглядывал под кровать и под шкаф, разыскивая второй, и отчаянно думал: может быть, если он не найдется, они меня отпустят? Они почти не разговаривали между собой, очевидно, не желая будить Ирину. Кое-как одевшись, я заметил, что криво застегнул рубаху, начал застегивать по новой и бросил. Мои пальцы стали какими-то тупыми. Тип со свернутым носом подтолкнул меня к дверям, я хотел в последний раз оглянуться на Ирину, но не решился. Молча мы вышли из квартиры, спустились по лестнице и сели в стоявшую у подъезда машину.

Машина была иномаркой и шла необыкновенно плавно; если бы не мельканье за окном, на которое я почти не обращал внимания, движения было бы вообще незаметно. Мы ехали через центр, точнее определить я не пытался. На улицах было много народа, в одном месте пришлось проезжать через разрозненную толпу, идущую прямо по проезжей части, мы проплыли сквозь нее, и я не разглядел ни одного лица, в другом месте улица была перекрыта цепью людей в форме. Мы свернули в направлении объезда, и здесь стоявший у обочины гаишник сделал нам знак остановиться. Стриженный вопросительно поглядел на Гурия, тот кивнул, сидевший рядом со мной тип со свернутым носом положил руку мне на колено. Машина затормозила, в открытое окошко передней двери просунулась ожидающая рука гаишника. Стриженный вложил в нее водительское удостоверение.

«Сейчас или уже никогда», — подумал я и, кажется, сказал вслух что-то вроде: «Сейчас, сейчас, одну минуту...» — дернул за ручку двери и открыл ее. Державший меня не решился применить силу на глазах у милиционера, я вырвал колено из его пальцев и выскочил. Шаг из машины я делал как шаг в никуда, в пропасть. Захлопнул дверцу, не оглядываясь, дошел до угла ближайшего дома, свернув за него, пустился бегом. Остановился в конце переулка, чтобы отдышаться, и, оглянувшись, увидел въезжающую в него машину со стриженным за рулем.

Я думал, что бежал долго и успел оторваться далеко, но машина была совсем рядом. Тогда я заскочил в узкую темную щель между стенами двух полуразрушенных домов, заваленную до высоты второго этажа горой рухляди и строительного мусора. Поднимаясь по грудам мусора все выше, я ждал, что сейчас в меня будут стрелять, и именно это ожидание придавало смелости, когда я переходил по гнилым доскам, перешагивал через провалы, наступал на прогибающиеся под ногами листы фанеры. Оно помогало мне сохранить равновесие на узких ребрах бетонных плит и не разбиться, когда, перебравшись через вершину мусорной горы, я прыгал, спускаясь, с одной плиты на другую. Страх заменил мне мой никуда не годный вестибулярный аппарат и сгущал вокруг меня воздух при прыжке.

Среди выброшенных вещей я заметил тахту из кабинета некричева отца, на которой мы когда-то лежали с Ириной. Может быть, Гурий выкинул ее сюда после ремонта, а может, это была другая тахта, точно такая же. Так или иначе она показалась настолько знакомой, что захотелось спрятаться за ней, забиться, сжаться и, сидя на корточках, обняв руками колени, выжидать, оглохнув от стука собственного сердца, — вдруг да пройдут мимо, не заметив. Но, оглянувшись на карабкающегося за мной Гурия и двух других, я не решился, почувствовав, что нужно как можно скорее выбираться из этой щели, слишком подходящей для того, чтобы стать моей могилой. Кругом было еще много старых предметов мебели, похожих на вещи из некричевой квартиры, которыми погнушался Лепнинский, разломанных на части или перевернутых вверх ногами, но я не успел как следует рассмотреть их. Мне было не до того. Выйдя из щели, я оказался на

площади перед метро «Киевская». Свалка громоздилась темной горой у меня за спиной, оглянувшись, я не сумел разглядеть между стенами домов ничего, кроме приближающегося белого пятна плаща Гурия.

На площади у метро было почти пусто, зато в вестибюле станции неожиданно оказалось битком народу, и я почувствовал себя спокойнее. Но когда протолкался к контролеру и протянул ему проездной, мои преследователи — мне это было видно через головы — уже вошли на станцию. Контролер поглядел на проездной, потом на меня и сказал:

— Что это вы мне показываете? Он же у вас давно просрочен!

Вот оно! Вот когда некричев проездной обнаружил наконец свою поддельность, в которой я никогда не сомневался! Когда каждая минута может стоять мне жизни!

Я оставил проездной в руках контролера и, не оборачиваясь, пошел к эскалатору. Он попытался схватить меня за рукав, но я вырвался. Он закричал:

— Стой! Стой, говорю! — И засвистел в свисток.

Откуда-то появился милиционер, и контролер стал показывать ему на меня пальцем. Но я уже успел ступить на эскалатор, и плотная людская масса сомкнулась за мной.

Впереди меня, как и позади, люди стояли в два ряда, многие были с чемоданами и сумками, очевидно, с Киевского вокзала, пробраться между ними было невозможно. Эскалатор полз мучительно медленно, я ощущал себя на нем мухой, увязшей в меду. На свете нет ничего медленнее движения эскалатора, когда за тобой гонятся по пятам! Лампы наплывали одна за другой, белые светящиеся пустые шары, им не было конца. Поднимаясь на носках, я не видел ничего, кроме уходящей вниз бесконечной череды затылков. Утешало только то, что и мои преследователи должны были так же, как я, застрять в этой человеческой каше. Пока мы вместе сползали в состоящей из людей лавине, они не могли ко мне приблизиться, и я был в безопасности.

На станции оба поезда только что отошли, и, чтобы не терять времени на ожидание, я свернул в переход. Здесь было посвободнее. Несколько спин в пиджаках и плащах двигались впереди меня, но, хотя они шли, не ускоряя шага, а я спешил как мог, обогнать их мне не удавалось. То с одной, то с другой стороны я пристраивался, чтобы обойти их, но всякий раз те же спины снова оказывались передо мной. Наконец я увидел приоткрытую дверь в стене с надписью «Служебный вход» и, войдя, сразу понял, что это та самая дверь, про которую мне рассказывал Некрич.

За ней было две комнаты, одна со стендом, на котором большими буквами было написано «Доска объявлений», в другой вдоль стен стояли железные шкафы в человеческий рост. Между ними я нашел еще одну дверь, но, толкнув ее, обнаружил, что она закрыта. Мысль о том, что это ловушка, возникла мгновенно. Страх, рассосавшийся было в судорожной спешке, как бы растекшийся по всему телу и ставший почти уже привычным фоном каждого шага, вновь сгустился в груди и стал подниматься к горлу. Я налег на дверь плечом — она немного поддалась. Я надавил сильнее, еще сильнее, и мне удалось отжать ее достаточно, чтобы протиснуться. Спустившись по железной лестнице, я пробежал по длинному узкому коридору, выкрашенному зеленой краской с пупырышками, как гусиная кожа, выходящему на площадку еще одной лестницы. В конце концов я очутился у лифта. Здесь снова был тупик. Кнопка вызова была вырвана, как это часто бывает в незапирающихся подъездах, вместо нее в стене зияла круглая черная дыра. Я погрузил в нее палец и нажал на что-то, провалившееся в глубину. Я жал снова и снова, палец все глубже уходил в дыру, но лифт не появлялся, я старался напрасно — а сзади уже приближалась, нарастая, дробь тяжелых шагов. Приложив ухо к двери лифта, я слышал, как скрипели в глубине шахты железные тросы — это был скрип сухожилий растягиваемого ожидания времени, нескончаемо длящейся минуты.

Наконец лифт остановился, двери раскрылись. Я втиснулся в полутемный ящик между двумя коренастыми женщинами в оранжевых жилетах и наугад нажал кнопку этажа. В последний момент перед тем, как дверям сомкнуться, я успел увидеть спускавшегося по лестнице Гурия. Правая рука его была засунута в карман брюк, отбрасывая назад полу распахнувшегося плаща.

Служебный лифт был узким, предназначенным от силы для двух человек, и низкорослые коротко стриженные женщины стиснули меня с обеих сторон так, что не пошевелиться. Входя, я не рассмотрел в полутьме их лиц и теперь видел только макушку и широкие скулы той, что стояла передо мной. Приглядевшись, я обнаружил, что под оранжевым жилетом на ней ничего больше нет, а сам жилет застегнут всего на одну пуговицу и расpiraем не уместившейся в нем необыкновенно большой грудью. Женщина была широкоплечей, габаритами полного тела, крупной головой и выпуклым лбом похожей на огромного неуклюжего младенца. Голова ее была опущена, словно она не осмеливалась поднять на меня глаза. При этом ее грудь давила на меня все сильнее, а сзади я ощущал такое же упругое давление второй пассажирки лифта. Тяжело дыша, она возилась у меня за спиной. Ее мягкие руки обнимали меня, и, якобы ища спички, чтобы закурить, она шарила почему-то по моим, а не по своим карманам. Вскоре ее неуклюжие пальцы добрались до ремня и принялись вслепую возиться с застежкой. Рано или поздно они неминуемо одолели бы ее, если бы женщина передо мной не помешала, с силой оттолкнув беззастенчивую руку. От волнения жилет ее окончательно растянулся, и матово-белая, с голубыми прожилками грудь вырвалась на свободу. Расплющенная между нами, она разделила нас, как буфер. Женщина часто-часто задыхалась открытым ртом, глядя по-прежнему вниз, в углубление между своих грудей. Мне сделалось очень жарко, я почувствовал, что весь вспотел. Не зная, куда девать руки, я положил их на ее бока, и ладони погрузились в глубокие влажные складки. Никто из нас не произнес при этом ни единого слова, все совершалось как бы по взаимному молчаливому согласию. Руки женщин, отталкивая друг друга, боролись в тесноте, пальцы их переплетались, и я вдруг заметил, что они вымазаны чем-то темным, не то мазутом, не то машинным маслом. В этот момент лифт резко остановился, двери разошлись в стороны, и я смог выскочить наружу.

Обе женщины вышли вместе со мной, одна на ходу застегивала свой жилет, убирая грудь на место. Мы прошли по коридору, где на стенах висели показавшиеся такими знакомыми, почти родными, плакаты «Пьянству — бой!», «Крепи дисциплину труда». Но коридор быстро закончился, и, спустившись по узкой лесенке, мы очутились в тоннеле.

Сразу изменился звук шагов, сделавшись непривычно гулким, точно мы двигались по сцене и к нам прислушивался огромный невидимый зал. Одна из женщин уронила гаечный ключ, звякнувший о рельс, и металлический звон унесся по рельсу в бесконечность, ближайшие метров триста которой были освещены далеко отстоящими друг от друга лампами дневного света. Женщины принялись разматывать катушку с толстым кабелем, а я стоял в пол-оборота к тоннелю, ловя доносившиеся из него звуки. В его глубине что-то глухо рокотало, как далекое море. Я почти не сомневался, что мне придется идти по нему, он притягивал, ощущито засасывал в себя. Было очевидно, что раз уж я очутился здесь, то другого пути отсюда нет. Я вспомнил, как в детстве прижимался к окну поезда метро и мечтал оказаться за ним, чтобы узнать, что там, в проносящейся с грохотом тьме.

Мои преследователи заставляли себя ждать, и я уже подумал было, что удастся выбраться обычным путем, а не по рельсам, когда вся троица показалась на лестнице. Больше терять время было нельзя, расстояние между нами и так сократилось до предела.

Идти по шпалам было неудобно, тем более неудобно — бежать. Кое-какковыляя и то и дело спотыкаясь, я спешил скорее миновать участок, освещен-

ный лампами дневного света, где был хорошо виден идущим за мной, — оглядываясь, я различал их силуэты на фоне светлого входа в тоннель. Когда лампы закончились, наступила полная тьма. Я шел, раздвигая темноту широко открытыми глазами, но с таким же успехом мог бы закрыть их и двигаться вслепую. Редкие красные лампочки, тусклого света которых хватало всего на несколько метров вокруг, указывали мне направление. Что-то живое с писком дернулось из-под ноги, и в растекшемся по рельсам красном отблеске я разглядел большую крысу. Я пожалел, что у меня нет с собой ничего, чтобы приманить ее, и она удрала, оставив меня одного. Все-таки то, что здесь обитает живое существо, меня обнадежило.

Наконец впереди показалась слепящая белая лампа. Я помнил, что за ней должен быть выход на станцию. Но до нее было еще далеко, а по тоннелю приближался быстро нарастающий гул. Поезд! Я только теперь понял, что все это время, даже не думая о нем, все-таки ждал его.

Однажды я видел, как в метро доставали из-под колес упавшего на рельсы человека. Движение поездов было надолго остановлено, и на станции скопилась толпа народу. Люди расспрашивали друг друга, что произошло, одни говорили, что под поезд кинулся самоубийца, другие, что упала женщина, которой сделалось плохо, определенно никто ничего не знал. Прокатившийся над станцией голос из репродуктора сказал, что состав не тронется, пока человека не вытащат. Встревоженная толпа росла с каждой минутой, неопределенный страх увеличивался пропорционально плотности массы теснящихся людей. В том месте, где возились работники метрополитена, толпа была особенно густой, так что пробиться туда было невозможно. Наконец из ее центра раздались крики: «Отойдите! Пропустите! Дайте дорогу носилкам!» Люди стали подаваться в разные стороны, а тот же высокий голос просил: «Уходите, идите... Не нужно на это смотреть! На это ведь неприятно смотреть!» Поезд проехал по человеку до предпоследнего вагона, и то, что они несли на носилках, должно было быть не телом, а ошметками от него. Я увидел, как люди отворачиваются, женщины торопливо уводят детей (а дети оглядываются, пытаются хоть что-нибудь разглядеть), волна ужаса распространяется по толпе.

Но ведь этого не могло случиться сейчас со мной! Гул нарастал с каждой секундой, он был уже не только сзади, но, кажется, со всех сторон. Огни фар текли по рельсам, вокруг сделалось невыносимо светло, и я увидел резко выделяющуюся чернотой нишу в ячеистой стене тоннеля. Переступив рельс, я шагнул в нее, и поезд слившейся полосой окон в одну секунду пронесся мимо.

Красные огни хвостового вагона быстро удалялись, пока не исчезли за каким-то дальним невидимым поворотом, и на их месте вновь возникла белая лампа. Я шел к ней неопределенно долго, не отдавая себе больше отчета во времени и пройденном расстоянии, — слепящий свет лампы уничтожал и то и другое. Мне казалось, что он выбеливает меня изнутри, и, когда я наконец выйду отсюда, меня будет потом рвать сгустившейся из света водянистой бесцветной кашей. Все-таки наступил момент, когда, прикрывая глаза ладонью, я миновал лампу. За ней, по словам Некрича, должна была быть лестница наверх, и она появилась через сотню метров, такая же узкая лесенка, как та, по которой я спустился в тоннель. Все, о чем рассказывал Некрич, совпадало один в один до деталей. Я поднялся, прошел по отгороженной перилами площадке и открыл железную дверь. Передо мною уходил вдаль длинный ряд мраморных колонн совершенно незнакомой мне станции. Можно было не сомневаться, что это и есть секретное метро — второе дно Некрича.

Станция оказалась вовсе не такой огромной, как я ожидал увидеть, помня восторг Некрича по поводу ее грандиозных размеров. Скорее это была маленькая старая станция, тесная и тускло освещенная, наподобие Октябрьской или Новокузнецкой, с давящими сводами низкого полукруглого потолка. Между колоннами по одному и группами стояли люди, некоторые в ожидании поезда пе-

реминались с ноги на ногу, многие были в военной форме. Больше всего я боялся, что кто-то из них заинтересуется мной и захочет выяснить, кто я и как здесь очутился. Я заметил, что стоило мне начать кого-то рассматривать, как он, словно чувствуя на себе мой взгляд, тут же поднимал на меня глаза и уже не отводил их. Я шел между этих людей, цепляясь за них глазами. Потолок кишел нависающими над головой батальными сценами, русская, турецкая, французская, немецкая армии отвоевывали его друг у друга. Знамена, свисая торжественными складками, распластывали крылья по сторонам темных гербов. Я решил подальше отойти от двери из тоннеля, через которую вошел, ожидая, что из нее появятся мои преследователи. Станция, выглядевшая узкой и короткой, обладала тем свойством, что, сколько по ней ни иди, противоположный конец ее не приближался, как будто она удлинялась с каждым моим шагом. Толстые квадратные колонны из коричневого мрамора по-прежнему в безукоризненной перспективе уходили вдаль, где сливались, уменьшаясь в размерах. С приближением поезда конусообразные витые люстры с вертикальными лампами закачались под ветром, как тяжело груженные корабли на воде. Треугольник огней уже показался в тоннеле, когда дверь из него открылась, в ней возникли Гурий и двое других с ним. Садясь в подошедший поезд, я оглянулся и увидел, что Гурий показывает на меня пальцем.

В вагонах было довольно много народу, все сидячие места были заняты. Не сомневаясь, что на ближайшей станции мои преследователи попытаются достичь моего вагона, я стал пробираться к дальней двери, чтобы пересест в следующий. Прося пропустить, я проходил мимо пассажиров в военном и в штатском, терся об их кители и пиджаки, случайно касался их рук. Одному офицеру, судя по звездам на погонах, подполковнику, я наступил на ногу. Он обернулся ко мне, и у меня комок застрял в горле: если бы он спросил, что я здесь делаю, я не смог бы выговорить ни слова. Но офицер посмотрел на меня примерно таким же взглядом, как Некрич, когда он демонстрировал нам с Катей и Жанной свою способность закатывать зрачки под веки, и ничего не сказал. Извинившись, я стал продвигаться дальше. Люди в поезде были слишком сосредоточены, чтобы обращать на меня внимание, большинство из них неподвижно смотрело перед собой или в проносящуюся за окнами черноту.

Следующая станция была, кажется, немного просторнее предыдущей, с более высоким потолком, но я ничего не успел как следует рассмотреть, спеша перейти в другой вагон, больше озабоченный тем, чтобы увидеть белый плащ Гурия и определить, какое расстояние нас еще разделяет. В этом вагоне было свободнее, места рядом и напротив нескольких пожилых военных в брюках с лампасами оставались незанятыми, все остальные вокруг них стояли, держась за поручни. Ехавшие здесь, все без исключения, вытягивая шеи, заглядывая через плечо тех, кто был впереди, иногда даже становясь на носки своих начищенных сапог, смотрели на сидящих, ловя каждое их слово и движение. Вид у пассажиров этого вагона был настолько встревоженный, что я почти не опасался привлечь чье-либо внимание. Было очевидно, что никто из них не мог и мысли допустить, что здесь может оказаться кто-то, кроме тех, кому положено по уставу.

— Скорее, — сказал один из сидевших военных, судя по виду — званием не ниже генерала, — у нас мало времени. Давайте сюда карту!

Откуда-то из-за спин ему протянули карту, и он стал разворачивать ее на коленях. Это была самая большая и самая подробная карта из всех, что я когда-либо видел, она легла на колени двум другим военным, сидевшим по обе стороны генерала, а стоящим вокруг пришлось отступить назад. Поднырнув под мышкой одного из тех, кто держался за поручень, я оказался рядом с сидящими и обнаружил, что на их карте есть все улицы со всеми без исключения домами. Я без труда нашел дом Некрича и разглядел окна его квартиры на последнем, пятом, этаже, затем отыскал свой дом с автостоянкой напротив и телефонной будкой у подъезда, в котором свернулась клубком, мерцая прищуренными глазами,

сонная беременная кошка. Пока я рассматривал карту, вошедший на последней станции офицер докладывал, держа ладонь у виска и наклоняясь к генералу, чтобы перекричать грохот поезда. Мне удалось расслышать только обрывки фраз: «...несанкционированный митинг... сорвали оцепление ОМОНа... повстанцы движутся по Крымскому мосту... массовые беспорядки... принимаются меры... все идет по плану... пятнадцать единиц бронетехники... дивизия имени Дзержинского... войска специального назначения... положение под контролем...» Генерал снял очки, протер их, снова надел и задумчиво почесал бородавку на подбородке.

На каждой остановке я переходил из вагона в вагон. Когда поезд выезжал из тоннеля, я уже стоял у дверей. Возникавшие станции, поначалу смазанные скоростью движения, уплотнялись по мере того, как замедлялось мелькание колонн. Всякий раз, выйдя на перрон, я видел троицу моих преследователей, лавировавших между садящимися в поезд и покидающими его, чтобы сократить расстояние между нами. Приближался последний вагон, из которого мне уже некуда будет пересаживаться.

В спешке я почти не обращал внимания на облик станций, они казались незнакомыми и знакомыми одновременно, похожими на известные станции московского метро и все-таки другими. Они все слились для меня в одну. Низкие арки проплывали надо мной, раздутые бронзовые ноздри памятников, орденоносные бюсты в нишах. Трудноразличимые мозаики тускло блестели над головой, барельефы перерастали в горельефы, каменные фрукты не помещались в вазах и переваливались через край, выдавливаясь из плоскости мраморных стен. Стройные коринфские колонны чередовались с короткими и толстыми романскими, увенчанными веерными капителями с барочным орнаментом из плодов и листьев. Вдоль нервюрного готического свода, украшенного псевдорусскими кренделями, шел классический фриз. Стрельчатая аркада переходила в полуциркульную, сквозь которую в конце зала был виден массивный памятник Тиберию или Домициану в плащ-палатке и с автоматом Калашникова. На одной из станций надо мной, пересекая пространство под потолком, пролетела птица, и, поглядев ей вслед, я обнаружил — казавшееся мне тесным пространство на самом деле так огромно, что птица пропала из виду раньше, чем достигла противоположного конца зала.

Последний вагон. Я вошел в него, но перед тем, как двери закрылись, высунул голову и, убедившись, что мои преследователи уже сели, выскочил назад. Поезд тронулся, увозя Гурия, кривоносого и стриженного, и я остался на перроне один. Находиться здесь совсем одному было так странно, что я поспешил к эскалатору, не оборачиваясь на огромный пустой зал за спиной. Эскалатор поднимал меня к медленно вырастающей в размерах пятиконечной звезде под куполом со вписанными в нее в круге серпом и молотом. По привычке я еще чувствовал погоню за спиной, но, оглядываясь, убеждался, что весь длинный эскалатор позади меня пуст, если не считать нескольких крохотных неразличимых фигурок в самом низу. Офицер на проходной проводил меня длинным взглядом. От радости я едва удержался, чтобы, минуя его, не взять под козырек.

На улице еще светило вечернее октябрьское солнце, неровный шум машин доносился от проспекта Мира. Мимо меня, переговариваясь, шли люди, обыкновенные и ничем не примечательные, а главное, в отличие от тех, которых я оставил внизу, никак на меня не реагирующие, — для них я тоже был ничем не примечателен и обыкновенен. Я обрадовался и пошел с ними.

Теперь я лучше, чем когда-либо, понимал всегдашнее желание Некрича — теряться среди людей, смешаться с ними, раствориться в толпе. Меня радовало, что народу кругом становилось все больше. Мне было все равно, куда идти, лишь бы рядом со мной были люди, с которыми я чувствовал себя в сравнительной безопасности. Я бы хотел, чтобы толпа стала еще гуще, чтобы мы все сжались плечом к плечу. Разные люди двигались вокруг меня в быстро наступаю-

щих сумерках в одном направлении, точно их всех гнал в спину общий ветер, старые и молодые, мужчины, женщины, подростки. Шли, обнявшись, пары, иногда замедляя шаг, чтобы поцеловаться на ходу, шли с детьми, шли с сумками и авоськами, словно только из магазина, шли не торопясь, но и не медленно, в одиночку и компаниями, без сомнения, зная цель движения, но все же как будто гуляя. У торгующих спиртным ларьков выстраивались очереди, покупатели набитаями головами, выкрикивая невнятное, продвигались зигзагами в ту же сторону, что и остальные, влекомые единым течением толпы. Группы молодых парней обгоняли других, некоторые несли железные щиты, другие — штыри арматуры, промелькнул подросток с топором и еще один с куском водосточной трубы. Несколько битком набитых автобусов обогнало нас, на них развевались темные в сумерках флаги. Затем мимо проехали бронетранспортеры с сидящими на броне солдатами, и бравый пенсионер прокричал им: «Смотрите не стреляйте в народ!»

Когда уже почти стемнело, мы, миновав останки башню, вышли на площадь перед телецентром. Она была вся заполнена людьми, шатающимися в полутьме с места на место, переминающимися с ноги на ногу, не зная, что теперь делать и куда идти дальше. С заходом солнца стало прохладно. Потирающий руки, чтобы согреться, старик в коротком пиджаке сложил их рупором и что было сил закричал: «Ельцина под суд!» — потом огляделся кругом. Один за другим подъезжали грузовики, из них выпрыгивали люди в камуфляже с автоматами. Кто-то сильно ударил меня сзади по плечу, я обернулся, ожидая самого худшего. Это был Коля с пьяной кривой улыбкой, явно довольный тем, что меня встретил:

— И ты тут?! Деньги есть? Пошли шампанского купим!

— Купим, если ты мне скажешь, где здесь происходит.

— Ты что, с луны свалился?! Революция победила, наши взяли власть! Теперь все, свобода, Ельцину конец! Мусора по всему городу попрытались, как крысы! Я вот это своими руками у одного отнял!

Он показал мне резиновую милицейскую дубинку.

— Все войска на нашей стороне, дивизия Дзержинского перешла к Руцкому, мэрия взята! Я сейчас любому менту, если он мне на глаза попадет, могу в рожу плюнуть, и он только утрется, ничего мне не сделает. Потому что свобода! Ты хоть понимаешь, что это значит — свобода?! Нет, тому, кто не сидел, этого никогда не понять!

Колю распирало, его потное лицо сияло, от избытка чувств он обнял меня и потянул за плечи.

— Ты Толю с Некричем не видел? — спросил он.

— Они что, тоже здесь?

— Конечно, здесь! Весь народ здесь! Сейчас возьмем эфир и на всю страну скажем, что наша власть пришла!

Мы отправились искать Некрича и Толю, обходя группы ряженых казаков в портупях и фуражках с кокардами, людей в касках и без, с автоматами, прутьями, железными щитами. Старик в коротком пиджаке, привстав на носки и вытягивая худую шею так, что едва не рвались тонкие старческие сухожилия, закричал в рупор ладоней: «Долой жидов Лужкова!» Человек пятнадцать от избытка энтузиазма, или чтобы согреться, или попросту спяну толкали незаводящуюся поливальную машину. Толю я увидел напротив низкого темного здания технического центра. Одной рукой он держал бутылку шампанского, отхлебывая прямо из горла, другой обнимал за плечи Некрича. Андрей, выглядевший рядом с ним еще более щуплым, чем был на самом деле, несмотря на заметную перекошенность в лице, время от времени решительно забирал бутылку у Толи и сам к ней прикладывался.

— А ведь мы его пришить должны! — сказал мне Толя, крепче прижимая к себе понимающе улыбнувшегося Некрича. — Слышишь, ты, — повернулся он

к Андрею, — если бы не такой день, мы бы тебя уже загасили. Но в праздник не хочется о тебя руки марать. Революцию нужно делать чистыми руками! А тебя мы судить будем, а не просто так. Новым нашим судом, по нашему закону!

Некрич как будто даже с воодушевлением соглашался с тем, что говорилось, всем своим поведением выражая полную готовность предстать перед судом, раз он новый, революционный.

— Я знал, что ты тоже придешь! — сказал он, протягивая мне бутылку.

— Ты-то как здесь очутился?

— Я? Я с народом! — Он поглядел на Колю и Толю. — Да здравствует русский бунт! Счастлив, кто посетил сей мир в его минуты роковые!

— Ты что, тоже считаешь, что это революция?

— Конечно! Я же тебя предупреждал! Я же говорил, что со дня на день! И вот этот день настал. Музыка прорвалась! Слушайте музыку революции!

Он говорил что-то еще, но больше я не разобрал, потому что подросток с магнитофоном под мышкой врубил звук на полную мощность, и из динамика понеслось, заглушая все вокруг: «Мои мысли — мои скакуны... Эскадрон моих мыслей шальных...» Девка в короткой юбке с плоским лицом продавщицы магазина стала, закусив губу, рьяно танцевать на своих длинных скучных ногах, сильно мотая из стороны в сторону копной волос. Скоро парня заставили убавить громкость, чтобы услышать, что кричит в мегафон в направлении телецентра окруженный автоматчиками седой военный в бронежилете.

— Крысы, выходите! — доносился его голос с грузовика. — Вы окружены превосходящими силами противника. Ельцин вас предал! Каждому, кто выйдет добровольно, будет сохранено одно яйцо! Выходите, крысы! Спротивление бесполезно. Даю вам три минуты на размышление. Потом мы откроем огонь на поражение!

— Сейчас начнется, — сказал Некрич, сделал большой глоток из бутылки и облизал мокрые, блестящие губы.

— Неужели стрелять будут? — спросила меня стоявшая рядом пожилая женщина в вязаной шапочке.

— Наверяд ли. Помитингуют, как обычно, и разойдутся. — Присутствие и энтузиазм Некрича не давали мне при всем желании поверить в серьезность происходящего.

Два грузовика «Урал», проехав сквозь толпу, врезались в стеклянные двери телецентра. Дождь осколков со звоном посыпался вниз. Грузовики подали назад и стали раз за разом таранить прозрачные стены. Большие стекла разламывались сразу на множество частей и, рушась на кабины машин, открывали неосвещенные помещения за собой. Из телецентра вышел солдат с автоматом, его лицо казалось маленьким под большой каской, рот увеличенным от крика: «Люди, назад! Убью! Всем назад!» Толпа подалась от стен, ее возвратное движение дошло до нас. Коля поднес бутылку ко рту и, запрокинув голову, стал торопливо допивать шампанское, точно боялся, что не успеет. Напротив разгромленного входа возник человек с гранатометом. Раздался такой грохот, что у меня заложило уши и я перестал слышать.

В беззвучии я видел, как люди попадали на асфальт, и упал сам. Ослепительная вспышка взрыва осветила все вокруг. Большинство лежало неподвижно, некоторые отваживались приподнять голову, другие беспомощно прикрывали ее руками. Впереди кто-то, видимо, раненый, перекатывался, поджав колени к животу, с бока на спину и обратно. Некрич распластался рядом со мной, мне было видно его скривившееся лицо. Губы женщины в вязаной шапочке, лежавшей за Некричем, шевелились бесшумно и быстро, отдельно от застывшего лица. С другой стороны полный мужчина смотрел на меня совершенно бессмысленным, остановившимся взглядом, рот его был глупо приоткрыт. Когда ко мне вернулся слух, я услышал, что он беспрерывно громко и однообразно стонет.

Одновременно стали слышны истошные крики и автоматная стрельба спереди и сзади. Пожилая женщина в шапочке молилась.

Асфальт был не холодным, а если сильно прижаться к нему щекой, можно было даже почувствовать остатки накопленного им за солнечный день тепла. Фонари ярко освещали его (и нас на нем), так что я мог разглядывать начинающуюся неподалеку от моего глаза трещину, соединяющую меня с раненым слева.

Некрич дотянулся до меня, нашел мою руку и пожал ее. Это означало, наверное, что мы с ним теперь крещенные огнем боевые товарищи. Как ни глупо, но на меня его рукопожатие подействовало, оно как бы давало зарок, что мы выберемся из этой кровавой свистопляски.

Худой старик ползал на четвереньках между лежащими, ища на ощупь потерянные очки. Вокруг свистели пули, но он их, наверное, не слышал. Время от времени кто-нибудь пригибал его голову к земле, тогда он выжидал несколько минут и снова принимался за свой безнадежный поиск, поднимая иногда вверх напряженное невидящее лицо с дрожащими веками. Наконец кто-то нашел его очки и протянул ему. Он торопливо надел их, но ничего не увидел: оба стекла были раздавлены. Ощупав оправу и убедившись, что она пустая, старик упал ничком, закрыл глаза и больше не шевелился, только жевал голубыми губами, дожидаясь смерти.

Позади нас был каменный борт подземного перехода, за которым можно было бы укрыться, если б удалось до него добраться. «Эй, подсоби-ка», — попросил меня один из двух мужчин, пытавшихся поднять ближнего ко мне раненого. Может, если увидят, что мы несем раненого, по нам не станут стрелять? Полный мужик оказался страшно тяжелым, он не хотел отрываться от земли, мычал и мотал головой. Свитер его под моими руками на плече и под мышкой был мокрым. Расчет на то, что не будет стрелять в несущих раненого, не оправдался: за несколько шагов до борта раздались автоматные очереди, и мы один за другим попадали на асфальт. Раненый грузно грохнулся лицом вниз и не застонал уже, а закричал. Он лежал плашмя громадной неподвижной тушей, издававшей прерывистое, иногда захлебывающееся рычание. «Я с вами, я помогу!» — Некрич подполз сзади и взялся обеими руками за большую ногу. Едва мы поднялись во второй раз, как несший тело за правое плечо упал, и раненый рухнул снова, увлекая нас за собой. Упавший был невредим, просто споткнулся. Раненый повернул ко мне разбитое толстое лицо и, глядя мутными пьяными глазами, выматерил меня. У меня возникло отчетливое желание бросить его здесь и налегке пробежать остающиеся до борта считанные метры. Но, словно прикованные к этой туше, мы подняли ее снова и все вместе кое-как доволокли до укрытия.

В подземном переходе было уже множество народу, среди прочих и Коля с Толей. Приносили и клали на каменный пол новых раненых, здесь же их перевязывали. Некоторые громко стонали, другие лежали молча с белыми лицами, в набухших от крови бинтах. Один мужчина скреб ногтями по неровному асфальтовому полу и судорожно раскрывал рот, как будто кричал, но не издавал ни звука: голос его был раздавлен болью. Пожилая женщина в вязаной шапочке вытирала раненым пот со лба, поправляла бинты и пела: «Царице моя преблагая, надежда моя, Богородица, приятилище сирых и странных предстательнице...» Стрельба не утихла, в редких паузах становились слышны крики: «Скоро!» — темным рваным пламенем запыхал угол телецентра.

— Не дрейфь! — сказал мне бодрый старичок, с любопытством высовывавший рядом со мной свою лысую голову из-за борта и быстро прячущийся назад. — Это еще что... На Курской дуге похлеще было... Там нас фашист всерьез гасил. А это так, игрушки...

Труп с завернутой за спину рукой лежал лицом вниз с внешней стороны борта. Когда стреляли трассирующими, видно было, как пули попадают в него снова и снова. Коля протянул мне где-то раздобытую водочную четвертинку, я

хотел взять и только тут заметил, что обе руки у меня в крови. Она принадлежала, наверное, тому раненому, которого мы тащили. Я постарался вытереть руки об одежду, но кровь уже вьелась в ладони и не оттиралась.

Толя допил водку и от бессилия и безвыходного бешенства швырнул с размаху пустую бутылку в направлении телецентра. Раздался стеклянный звон и длинная автоматная очередь в ответ. Пули застучали о борт перехода, сразу показавшийся слишком низким, до смешного ненадежным укрытием.

— С-с-суки! — процедил Толя сквозь сжатые губы, криво улыбаясь от бешенства. — Я б им зубами горло перервал, если б только до них добраться! Это ж надо было быть таким дураком, чтобы прийти сюда без ствола! Это ж... — Ему не хватило слов, и он с силой ударил кулаком по кафельной стене.

Когда с другого конца перехода появился казак с автоматом, Коля и Толя кинулись к нему: где достать оружие?

— Идем со мной, — сказал казак с усами и бородкой под Николая Второго. — Получите. Сейчас будем проводить рекогносцировку.

— Мы им дадим проссаться! — говорили, уходя, Коля и Толя. — Мы их смерть умоем!

На площади загорелся брошенный грузовик, за ним вспыхнул автобус. Бронетранспортер на большой скорости пронесся мимо телецентра, врезался в автобус, смял его и поехал в обратном направлении, паля наугад во все стороны. Прошло, наверное, совсем немного времени с тех пор, как мы укрылись в переходе, но происходящее кругом — стоны, стрельба, непонятная езда бэтээров взад-вперед по площади — уже стало привычным, само собой разумеющимся, и казалось, что так будет теперь всегда и ничего другого, кроме огня, крови и бессмысленной смерти, больше не будет.

Некрич сидел на корточках, прислонясь спиной к стене возле последнего в ряду раненых, внимательно его разглядывая. Оттого, что мне было тошно, а он был, по крайней мере на вид, совершенно спокоен, ковыряя ногтем в зубах, изредка сплевывая на асфальт, и оттого, что он действительно предвидел развитие событий, предупреждая о нем с начала нашего знакомства, я вдруг проникся наконец Ирениной верой в его способность предчувствовать будущее.

— Некрич, скажи, что будет дальше?

— А-а, теперь ты мне веришь! — Он ухмыльнулся. — Вот то-то... Давно бы так...

— Так что же?

— Дальше? — Он еще раз длинно сплюнул. — Не ссы, прорвемся...

Стрельба немного притихла, очередей было не слышно, теперь стреляли единичными, и я спросил:

— Может, попробуем отсюда выбраться?

— Не спеши, рано еще...

Некрич извлек из кармана носовой платок и стал вытирать заляпанное грязью и кровью лицо лежащего рядом раненого. Это был грузный мужчина лет сорока, дышавший, тяжело отдуваясь. Вся левая половина его лица была покрыта темной кровавой коркой. Когда Некрич осторожно прикоснулся к ней, раненый дернулся, пошевелил губами, пытаясь что-то сказать, но не сумел и только выдохнул: «Хана мне...» Потом он все-таки произнес: «Жена в Омске... дочь... запиши адрес...» «Сейчас, сейчас», — сказал Некрич и спросил у меня карандаш. Я обычно ношу с собой что-нибудь пишущее и теперь принялся шарить по карманам, но, пока я искал, переходя от брюк к куртке, от куртки к рубашке, назад к брюкам, надобность в карандаше отпала — раненый потерял сознание. Он был в распахнутом пиджаке и рваной в клочья рубашке, открывавшей полное тело, начавшее содрогаться от предсмертной икоты. С каждым разом умирающий икал все глубже, его грудная клетка ходила ходуном так, будто кто-то запертый в ней бился изо всех сил в ее стенки, пытаясь вырваться наружу. Некрич следил за ним сосредоточенно, как врач, и даже положил ему руку на безволосую грудь

в присохших потеках крови, как бы стремясь ее успокоить. Наконец мужчина прекратил икать, открыл рот, словно для того, чтобы вдохнуть побольше воздуха напоследок, и застыл.

Некрич наблюдал за ним еще некоторое время, приблизившись и прищурился одним глаз, заглянул другим, увеличившись, в мертвый черный рот, затем огляделся кругом и, убедившись, что никто в подземном переходе на нас не смотрит, достал у мертвого из внутреннего кармана пиджака паспорт. Перелистав его, убрал к себе за пазуху, а оттуда быстро вынул свой и открыл на странице с фотокарточкой. На снимке был тот Некрич, которого я уже успел забыть, — с усами и бородкой. Наклонившись над мертвым, он прижал паспорт страницей со снимком к кровавой корке на его лице. Отняв, удостоверился, что замазанная фотография сделалась неразличимой, и положил паспорт в пиджак умершего. Поглядел на меня — единственного свидетеля. У меня было чувство, что мои глаза окаменели. Даже если б очень захотел, я не смог бы отвести их.

— Мир его праху, — сказал Некрич. — Теперь можем идти. — И, поднимаясь с коленей, добавил: — Только бы они опубликовали список погибших... Тогда я спасен...

Пять бронетранспортеров пронесли мимо нашего укрытия, развернулись и выстроились полукругом у входа в телецентр. Стало очевидно, что на стороне защитников явный перевес сил. Нападавшие, рассыпавшись по площади, стреляли все реже, понемногу оттягиваясь в боковую улицу. Из перехода люди выскакивали по одному и, на всякий случай согнувшись, хотя по ним не стреляли, перебежали опасное пространство. Мы с Некричем дождались очередного промежутка тишины и один за другим — сначала он, потом я — миновали простреливаемый участок. Едва мы достигли места, куда пули, по-видимому, не долетали, потому что там, попивая пиво и комментируя происходящее, стояли зрители и болельщики, как пальба вспыхнула с новой силой. «Это из пулемета с крыши бьют, — комментировал округжающим гордый своей осведомленностью долговязый подросток. — А теперь из крупнокалиберного жарят». Посреди фразы он вдруг нагнулся, сделал подламывающийся шаг вперед и упал на землю, прижимая руки и колени к животу, как взявший в падении сложный мяч вратарь. Зрители поспешно отошли на несколько десятков метров дальше, подросток остался там, где упал.

Некрич потащил меня по длинной улице, освещенной отсветами пламени от горящего здания телецентра. Ноги не хотели идти, я спотыкался на ровном месте. Пролетевший березовый лист чиркнул меня по щеке. Подул ветер, и воздух наполнился темным листопадом. «Подожди!» — Я остановился, прислонился к фонарному столбу и закрыл глаза. Невесомый шелест листьев заполнял паузы между выстрелами. Я вытер ладонью потное лицо и, надавив на веки пальцами, увидел под ними высокие деревья с листвою сияюще-белой, как на негативе, кипящей и осыпающейся на ветру. Густые стаи белых или, может быть, бесцветных, из одного света состоящих листьев парили в пахнущем гарью воздухе, кувыркались, закручивались воронками, садились, как ручные птицы, на плечи. Снежный листопад накрывал все вокруг, ложился на мертвые тела, на кровавые лужи, кружился слепящими вихрями, переполнял слитным шумом слух, рассеивался, не кончался...

Движение городского транспорта повсюду было прекращено, и нам пришлось идти от Останкина пешком. Сзади доносились звуки то гаснущей, то вновь усиливающейся перестрелки. Изредка выстрелы раздавались с других сторон, с дальних границ осенней ночи, казавшейся из-за них необъятнее и глуше, так что идущий в ней чувствовал себя еще потерянной. Большинство окон было погашено, улицы пустынные, между фонарями и голыми лампочками над входными дверями подъездов лежали провалы космической тьмы. Однажды группа людей в камуфляже показалась в конце улицы, но, не дойдя до нас, свер-

нула в переулок, в другой раз с разносящимся до близких звезд истошным воем мимо пролетели в направлении Останкина несколько пожарных машин. Еще один труп валялся на пожелтом газоне — седой мужчина с серым лицом, в одних носках. Пробегавшая мимо бесцветная в свете фонаря собака облаяла его. «Труп» приоткрыл глаз, показал ей кулак и выругался нетрезво и с оттенком ласковости.

Большинство ларьков было закрыто, но некоторые продолжали работать, их витрины мерцали среди тьмы ядовитыми красками дешевых ликеров. Возле одного из таких ларьков жались друг к другу двое, и, когда мы проходили мимо, один из них слабым голосом позвал нас.

— Пойдем,— сказал, поколебавшись, Некрич,— помянем...

На круглом шатком столике стояли стаканы, картонные тарелки с холодными остатками закуски, присохшим кетчупом и полупустая бутылка водки, по всей видимости, не первая, потому что один из собутыльников совсем уже не вязал лыка. У него были всклокоченные волосы, растрепанная борода, дряблые щеки и выпученные белогорячечные глаза человека, видящего в окружающих персонажей своего бреда. Он ничего не говорил, а когда пытался сказать, из этого ничего не получалось. Иногда он мычал себе под нос обрывки каких-то мелодий, изо всех сил держась обеими руками за столик, чтобы не упасть, точно этот покосившийся фанерный кружок под низкими звездами с поллитровкой в центре был спасательным кругом, остающимся на плаву посреди погружающегося во мрак и кровь мира. Второй был немного трезвее, в слепе бликующих круглых очках, с мокрыми усами и бородой в крошках.

— Вы там были? — проникновенно спросил он нас.— Что там?

Прежде чем ответить, Некрич налил себе стакан водки, выпил одним махом, шумно выдохнул и только после этого, ни на кого не глядя, сказал:

— Друга у меня застрелили. Некрича. Андрюху. Братишку моего названого. Нет его больше в живых.

Некрич замолчал, словно не в силах больше говорить, подавленный сказанным.

— Как же это? — болезненно морщась, спросил очкастый.— За что же?

— Наповал убили. Тремя выстрелами в голову. Сюда, сюда и сюда.— С остановившимися глазами Некрич неуверенно нашел пальцем три места у себя на голове — над левой бровью, на лбу и на виске.— У меня на руках умер. Вот на этих руках.— Он поднял руки перед собой и глядел на них в точности так, как Ирина, когда говорила мне, что он снится ей убитым.

— А за что... Было за что. Я-то знаю, он мне многое рассказывал... Боялись они его, специально в него метили... Он у этого правительства как соринка в глазу сидел. Потому что много знал про них, про дела их закулисные. Про оборотную сторону власти, а точнее, про настоящую власть, секретную, не ту, что у всех на виду, а ту, что скрыта! Кое-что он мне объяснил напоследок...

Некрич, подавшись вперед, облокотился о столик, так что он перекосялся в его сторону и поллитровка чуть не упала. От страха, что это случится, и без того выпученные глаза того из собутыльников, который не мог уже говорить, стали еще больше, едва не вылезая из орбит, а рот мучительно задвигался. В последний момент я успел подхватить бутылку.

— Это была провокация! — сказал Некрич, прищурившись.— Все, что сейчас происходит, было запланировано заранее!

— Но ведь они же первыми начали, те, что в Белом доме,— неуверенно возразил очкастый.

— Их заставили начать! У Ельцина не оставалось другого выхода. Госсекретарь США Уоррен Кристофер предупредил его о недопустимости применения силы! («Уоррен Кристофер» Некрич произнес с таким значением, точно это был его близкий родственник.) А добровольно Белый дом никогда бы не сдался. Чтобы развязать себе руки, правительству нужно было заставить их перейти

в атаку! Теперь их ничто уже не спасет, их песенка спета. Руцкого дезинформировали, будто вся армия на его стороне, милиция специально отступила перед демонстрантами, военные грузовики и автобусы были умышленно брошены с ключами, чтобы сторонникам Белого дома было на чем добраться до Останкина. Все было продумано до мельчайших деталей!

Пучеглазый, глядя исподлобья, тяжело замотал головой из стороны в сторону, как будто не соглашаясь, но не имея сил возразить.

— По-моему, ты придаешь событиям гораздо больше смысла, чем в них есть на самом деле,— сказал я,— и хочешь увидеть порядок и замысел там, где нет ничего, кроме крови и хаоса.

— Замысел есть во всем, только немногие догадываются о нем до тех пор, пока он не пронзает жизнь, как молния!

— Но ведь ты же сам говорил, что революция, что музыка прорвалась!

— Все дело в том, кто эту музыку заказывает. Неужели ты думаешь, что все это,— Некрич кивнул в сторону зарева над крышами,— возникло из случайного стечения обстоятельств? Нет, как говорил мой убитый ельцинистами друг, да примет Господь его душу.— Некрич глубоко вздохнул.— Случайность существует только для непосвященных!

В этот момент в конце улицы раздался глухой рокот, и в нее как зримое воплощение порядка въехал бронетранспортер с закрытыми люками. Быстро приближаясь, он осветил нас слепящими фарами. Пучеглазому фары били в лицо, и он так страшно морщился, словно резкий свет причинял ему физическую боль. Я почувствовал себя, как в недавно приснившемся сне, где выходил из моря на залитый солнцем пляж и вдруг обнаруживал, что плавки остались в воде и прикрыться мне нечем. Некрич, стоявший к бэтээру спиной, превратился в вырезанный в стене света черный силуэт с сияющим ореолом волос и прозрачными пунцовыми ушами. По мере того как слепая машина с грохотом приближалась, тень его, отброшенная на кирпичную стену дома, к которому примыкал лагерь, стремительно увеличиваясь, косо вырастала над нами.

— Наверное, в городе уже объявлено военное положение.— Сверкая линзами, очкастый приблизился ко мне так, точно пытался за меня спрятаться.— А у нас нет никаких документов. Если станут проверять, нам каюк. Но ты, Модя, не бойся,— тонким, высоким голосом сказал он пучеглазому.— Я тебя, Модя, не брошу, что бы ни случилось!

Машина была уже рядом, от рокота ее мотора наш жалкий столик вибрировал под руками, мелкая дрожь била стаканы и бутылку. Залитое неистовым светом, обнажилось убожество съеденной закуски, тоненькие куриные косточки, засохшие хлебные корки, сосисочная кожура. Бронетранспортер остановился рядом с нами.

— Вот и все,— сказал очкастый.

Модя вдруг неожиданно проворным и отчаянным движением схватил со стола поллитровку, хотя водки в ней оставалось совсем на доньшке, и засунул к себе в карман.

Люк бэтээра открылся, из него вылез парень в шлеме, подошел к ларьку и купил сразу две бутылки «Столичной», внимательно осмотрев этикетку и пробки, чтобы убедиться, что водка не поддельная. «Смотри,— предупредил он продавца,— если халтуру продал, прощайся с жизнью. Не поленюсь вернуться, чтоб тебя к стенке поставить по закону военного времени!» Потом он спросил у нас, как выбраться к Останкину, сказав, что «совсем в этой проклятой Москве заблудился». Я стал объяснять, припоминая маршрут, которым шли с Некричем, он выслушал, поблагодарил и вернулся в свою машину. Бронетранспортер тронулся снова, свет отхлынул, и мы опять оказались в темноте, едва различая друг друга.

— Холуи тирана! — бросил Некрич вслед удаляющимся огням.

— Раз пронесло, надо скорее еще одну взять! — радостно предложил очкастый, вытирая пальцами мокрые усы. Модя закивал одобрительно.

Когда разлили по стаканам новую бутылку, Некрич поднял свой, чтобы помянуть убитого друга.

— Эх, знали б вы, каким он парнем был! Но в том-то и дело, что никто его до конца не знал. Даже я, его лучший друг, даже жена его, тварь паскудная, подло ему изменившая! Андрей Некрич был одиноким человеком, одним из самых одиноких людей, каких я встречал. В своей короткой жизни он столкнулся с предательством самых близких людей, с низостью и расчетливым обманом! Он перестал верить людям, замкнулся в себе, и его тайна умерла вместе с ним! Он ушел от нас неразгаданным. Может быть, только я, его ближайший друг... — На этих словах Некрич запнулся, сделал паузу, как будто у него не было сил продолжать.— Только я и еще один-два человека догадывались, сколько было скрыто в нем нежности и невестребованного тепла!

Модя смотрел на Некрича полными слез глазами, кажется, даже забыв про налитый стакан в руке, растроганный так, точно произносимые слова относились к нему. Возможно, он и в самом деле принимал их на свой счет.

— Так много было в нем доброты, легкости и незлопамятности, что, умирая, он простил всех преследовавших его и предавших. И убийц своих простил, и жену-изменницу. Когда он на руках у меня умирал, последние слова его были: «Передай ей, что я ее прощаю!» — Некрич произнес это, обращаясь ко мне.— Так и сказал: «Передай, что прощаю...»

Здесь голос его сорвался, и от волнения он едва не расплескал водку.

— И еще я хочу сказать... Мой друг знал, что его убьют! Смерть не застала его врасплох: он ждал ее и готовился к ней. Я думаю, он был готов к ней еще до того, как понял, что на него идет охота. Если даже к самым близким ему людям у Некрича порой проскальзывала отстраненность и чувствовалось отношение на «вы», то это потому, что с собственной смертью он всегда был на «ты».

Некрич сделал еще одну паузу, чтобы собраться с духом и закончить на мужественной ноте:

— Прощай, Андрюха! Ты покинул нас рано, не достигнув возраста Пушкина, лишь немного пережив Лермонтова! Твои таланты остались нераскрытыми. Ты был богато одарен природой и мог бы стать... — Он приостановился, прикидывая размер притязаний, но поминальное вдохновение подстегивало его, не давая долго раздумывать.— Ты мог бы стать вторым Леонардо, Черчиллем или Достоевским! Тебе было многое дано, но... не судьба! Да будет земля тебе пухом!

Некрич выпил залпом, всхлипнул и стер рукавом сорвавшуюся слезу. Модя, давно уже хлюпавший носом, обнял его, и слезы потекли по его дряблым щекам в три ручья. Вместе со слезами у него прорезался голос, и сквозь бормотание стали различимы отдельные слова:

— Зачем... за что... моложе Пушкина... совсем мальчик! За что убили?! Для чего это все?..

— Не плачь, Модя,— принялся утешать его очкастый,— ну не плачь... Это же история, что здесь поделаешь... Ну! — Он толкнул его ладонью в плечо и стал тонким голосом напевать, однобоко пританцовывая:

— Расходилась, разгулялась удаль молодецкая,
Разгулялась, поднималась сила пододонная,
Ой ты, сила, силушка,
Ой ты, сила бедовая!
Ой ты, сила, силушка,
Ой ты, сила грозная!..

Ну, Модя, не расстраивайся...

Однако Модя отталкивал руку очкастого, продолжая сильно расстраиваться, всхлипывать и бормотать, выпучивая глаза и мотая из стороны в сторону тяжелой головой так, точно в ней перекачивались с края на край, не находя выхода, чудовищные хоры «Годунова»:

— Не надо... зачем... ничего не надо... сколько их, убитых?!

Обнимая Некрича, он вытирал слезы расстегнутым воротом его рубашки и раз чуть было в избытке скорбных чувств не высморкался в него, но не утративший бдительности Некрич угадал его намерение и успел в последний момент отстраниться. Я попытался взять у Модя стакан, который он уже не мог допить, только расплескивал из него водку, но он свободной рукой схватил меня за запястье и притянул к лицу мою ладонь.

— У тебя руки... в крови!

Он поглядел на меня прищурившись, как смотрят вдаль, словно хотел разглядеть сквозь мое лицо что-то за ним.

— Говори, кого убил?

— Никого...

— Врешь, убил! Убил, убил, убил! — Он уронил голову на руки и загоревал еще пуще: — К чему эта кровь?.. Повсюду кровь... А я... что я могу?

— Можешь, Модя, можешь! — отбросив волосы со лба, с новой силой кинулся утешать очкастый. — Ты напишешь музыку, которая все искупит и все оправдает! Это будет музыка двадцать первого века! Новая великая музыка может возникнуть только на крови, только в такую ночь, как эта! Ты же гений, Модя, что тебе стоит! — И, обернувшись к нам с Некричем, заверил на случай возможных сомнений: — Модя — гений. Мы все так, а он — настоящий... Он напишет музыку, какой еще не бывало! Да, Модя? Правильно я говорю? Ты сочинишь реквием погибшим! И все узнают, все поймут и навсегда запомнят! Мы им еще покажем русскую школу! — Очкастый погрозил неизвестно кому кулаком в темноту.

Модя поднял тускло блестящее от размазанных по щекам слез лицо:

— Реквием? Да-да... искупит и оправдает... и все запомнят... Я напишу реквием двадцать первого века... они запомнят...

Он налил себе еще, но смог выпить только несколько глотков и уронил стакан. Упав на мягкую землю, стакан не разбился. Никто не нагнулся за ним, и он остался лежать под столом, пустой и темно-прозрачный...

Сжав зубы и вцепившись белыми пальцами в столик, Модя накренился назад. Он замер в неустойчивом положении, в котором, казалось, было бы достаточно легкого порыва ветра, чтобы свалить его, но он не падал, окоченев в неменяемом равновесии. Прищуренными глазами смотрел вверх наших голов сквозь легкую и подвижную октябрьскую тьму на самый последний в длинном ряду фонарей... Неподалеку раздались автоматная очередь и несколько одиночных выстрелов в ответ.

— Никто ничего не запомнит, — сказал Некрич. И повторил: — Никто ничего. Уже через пару лет все позабудут. Опубликуют списки погибших и забудут. Лишь бы списки напечатали! Те сотня-полторы человек, которых положили и еще положат, — для этой страны ничто! Но даже если их в десять раз больше будет — все одно: никто — ничего.

Модя отпустил столик и неуверенными шагами пошел за угол ларька, где росли высокие кусты. Там он, держась за ларек, согнулся пополам, и до нас донеслось его судорожное рычание. Белый фонарь высвечивал сгустки, вываливающиеся у него изо рта. Длинные потеки свисали с его губ, тянулись и не хотели обрываться.

— Через год-другой, — продолжал Некрич, проводив Модю безразличным взглядом, — никого уже не будет интересоваться, была провокация или нет. Все будут увлечены чем-нибудь иным, разоблачений всегда хватает. Довлеет дневи злоба его. Так что и мы можем обо всем этом забыть, в наших же интересах. Нужно освобождать память от бесполезного балласта. Это был сон, длинный страшный сон, он продлится еще несколько дней, а потом кончится. После таких затяжных кошмаров обычно целый день ходишь сам не свой. Но к вечеру, как правило, уже забываешь, что, собственно, снилось...

Я нашел на столе что-то острое — кажется, это была пластмассовая вилка — и ткнул на ощупь в мякоть своей ладони.

— У него были глубокие глазные впадины на худом лице, и, когда он закрыл глаза, вместо них остались две ямы, два темных провала, как будто глаз у него вообще не было,— рассказывал я Ирине про старика, искавшего в Останкине свои очки под пулями.— А на подростке убитом была каска надета, которая велика ему была, он ее поправлял то и дело. Когда он упал, она свалилась и в сторону откатилась... Мне это так в память врезалось, что вряд ли когда-нибудь забуду...

Я был весь еще там, на площади у телецентра, и моя комната, вещи в ней выглядели непривычными, какими-то уменьшившимися, почти игрушечными. Особенно странной была белизна чистого постельного белья. Но, создавая своей нерасторжимой принадлежностью друг другу круговую поруку обыденности, вещи в моих четырех стенах как бы стремились доказать правоту слов Некрича, что все случившееся в Останкине было лишь длинным страшным сном. Вещи были на его стороне. И только Ирина... Обняв колено, она сидела рядом со мной и смотрела телевизор. Ее волосы пахли яблочным шампунем. Ирина была намертво связана для меня с мыслью о Гурии, о Некриче, о Коле и Толе, а тех уже не существовало без Останкина. Закрыв глаза, я приблизил лицо к ее волосам, втягивая в себя длинную ленту щекощущего запаха, наполнявшего меня постепенно ощущением чистоты и сказочной легкости, от которой тем более таяло сердце, что плечи еще ныли от тяжести раненого, которого мы несли с площади в подземный переход. Казалось, стоит вдохнуть еще глубже, до крайнего предела внутренней пустоты, а потом еще совсем немного, и я исчерпаю запах, его длинная лента наконец оборвется и я перейду тогда в совсем уже невесомое, таящее и неопишуемое состояние.

На экране телевизора продолжался в сиэнэновской трансляции все тот же сон, но теперь он был уже не страшным, а только скучным. Там подолгу ничего не менялось, группы каких-то маленьких людей перебежали, пригнувшись, от постоянно находящегося в кадре Белого дома, иногда трещали выстрелы. Поскольку все это совершалось на телеэкране, казалось, что это происходит где-то далеко и не имеет к нам никакого отношения.

За несколько шагов до границы кадра один из бежавших упал на асфальт и застыл. Разгоняя сиреной многочисленных зрителей, в его направлении поехала «скорая», но даже с того расстояния, на котором находилась камера, видно было, что она, вероятнее всего, зря торопится: крохотный человечек лежал абсолютно неподвижно.

— Вот и все,— сказала Ирина.— Был — и нет. Легкая смерть, сказали бы тетки в сауне, можно позавидовать.

Она встала, подошла к окну, и просеянный сквозь желтую листву свет лег на ее лицо.

— Я раньше боялась, думала о ней,— произнесла она,— а после смерти Некрича поняла, что тут и думать не о чем: самая простая вещь на свете. Был — и не стало, как будто не было его. Проще смерти и быть ничего не может.

— Некрич-то как раз жив,— сказал я совсем тихо, а может быть, даже не сказал, а только подумал,— живет всех живых! — А в моей расслабленности мне показалось, будто сказал, во всяком случае, Ирина не расслышала, даже не обернулась ко мне, и я решил, что тем лучше, значит, рано еще ей знать об этом.

Она стояла, прижавшись щекой к стеклу, так что угол рта слегка оттянулся книзу. Ирина касалась стекла с неотчетливой нежностью, избегающей направленности на кого-либо,— ведь я был рядом, она могла бы положить лицо хотя бы мне на плечо,— с нежностью, замыкающейся на самой себе. Сияние оконной листвы золотило ее глаза и таяло в них, погружаясь на дно. От ее дыхания несколько сантиметров стекла перед лицом затуманились. Возникла одна из тех не таких уж редких пауз, когда Ирина выключалась из окружающего, теряла к нему интерес. Мне казалось тогда, что все мы — близкие ей и претенду-

ющие на нее мужчины с нашими деньгами, знаниями, борьбой за власть и прочими мужскими играми, в которых она в другое время охотно участвовала, — в такие минуты только мешаем ей. В этих паузах, пусть недолгих и скрыто тревожных, она достигала наконец независимости и ни в ком из нас не нуждалась. Но именно к такой Ирине, не нуждающейся во мне и ничьей, меня больше всего тянуло. Прежде чем подойти и обнять ее, я выключил телевизор.

5

Проклятый случай!.. Ты всегда остаешься верным самому себе в своей капризной изменчивости, всегда одинаково непостижим, всегда загадочен. Я воплотил твой образ в себе...

С. Кьеркегор. Или-или

Она идет ко мне по бульвару мимо высоких — чем выше, тем великолепнее — сверкающих под холодным солнцем деревьев. Октябрьский день настолько беззастенчиво, настолько бесстыдно и избыточно красив, что красота его выталкивает меня, сидящего на скамейке, я не причастен к этому сверканию и блеску, остаюсь за рамой дня, не впущенным внутрь, ни при чем. Ирина смотрит в мою сторону, не замечая меня. Нитка паутины блестит у глаз, как порез на коже воздуха...

Или еще: крася губы перед зеркалом и не видя, что я наблюдаю за ней, Ирина слизывает лишнюю помаду с угла рта, а затем быстро показывает самой себе окровавленный помадой язык...

Или еще: мы ждем поезда в метро; стоя вполоборота к тоннелю, прижав левую руку к бедру, Ирина искоса глядит на приближающийся треугольник огней такими глазами, что мне хочется встать между нею и краем платформы. Но я этого, конечно, не делаю. «Ты смотришь на поезд, — говорю я, — взглядом Анны Карениной». Она не улыбается. Ее голая напряженная шея над вырезом платья повернута так, точно парализована режущим светом, и она не смогла бы отвернуться, даже если бы захотела.

Или еще... Нет, хватит. И так ясно, что я всегда лишь свидетель, по сути, случайный, которого могло и не быть, присутствие которого ничего не меняет и изменить не может, даже если б он к этому стремился. Он, впрочем, и не стремился.

Но если я по отношению к Ирине воспринимал себя как наблюдателя и свидетеля, то она отводила мне явно другую роль, четко очерченную и жестко закрепленную, как и все в ее мире, совершенно лишенном гибкости, несмотря на свою непредсказуемость и сумбурность. Если уж она решила, что я похож на Некрича и возник в ее жизни для того, чтобы компенсировать его утрату, то сколько бы я ни лез из кожи, чтобы доказать обратное, она замечала во мне только черты сходства. И рот у нас с ним был одинаковый, и манера держаться, и любовь к соевому соусу и красному перцу, и дурная привычка ложиться на разобранную постель одетым, и множество других деталей, каждая из которых не только говорила сама за себя, но еще и указывала Ирине на более глубокую внутреннюю общность между мной и Некричем, так что отличало меня от него в ее глазах, похоже, лишь несколько поверхностных мелочей, таких, как цвет волос, глаз и дырка между моими передними зубами. Если б не это, я бы, наверное, полностью с ним слился. Я и сам начал думать, что, может быть, от общения с Некричем подцепил сходство с ним, как сразу. Назвал же его Гурий вирусом, заражающим все вокруг. Иногда я замечал за собой некоторые вещи, бывшие явными симптомами «болезни Некрича». Начали сильно сохнуть губы. В метро я обнаружил, что не могу больше выносить промежутков ничем не заполненного ожидания от одной станции до другой — они кажутся мне бесконечными. Чтобы чем-то занять себя, я прочитывал все набранные крупным шрифтом заголов-

ки газет в руках у соседей по вагону, и отдельные куски фраз застревали у меня в памяти иногда на несколько дней, всплывая в сознании в самые неожиданные моменты. Вообще потребность занимать себя, раньше мне совершенно незнакомая, все больше определяла мое поведение. На удовлетворение ее шло что попало — от острого голода переставешь быть разборчивым в еде, — я что-то читал, смотрел, с кем-то встречался и в конце недели не мог вспомнить уже ничего из того, что делал в прошедшие дни. А если что-либо все же возникало в памяти, то я не мог уже понять, зачем мне это понадобилось. Жизнь ускорялась, начиная в своей судорожной спешке смахивать на немое кино. Я часто напоминал себе человека, который, придя в библиотеку, вместо того чтобы выбрать книгу и сесть ее читать, перелистывает их одну за другой, не в силах остановиться, ни в одну не углубляясь дальше названия и нескольких выхваченных из середины строк. Так и я листал дни, иногда вдруг с уже привычным изумлением замечая, что пересказываю случайному попутчику в автобусе газетную статью о штурме Белого дома подразделением «Альфа» с таким воодушевлением, как будто сам в нем участвовал, или обнаруживал себя неопределенно долгое время разглядывающим выразительную лепку морщин на лбу пьяного старика, лежащего под фонарем в своей блевотине.

Однажды я проснулся от сквозившего из окна холода, заварил себе чай, а затем на несколько минут задумался, решая, сколько ложек сахара в него положить. Обычно я кладу две, но почему не три, не пять, не десять, почему вообще сахар, а не соль и масло, как калмыки? В этот момент любой из вариантов показался мне одинаково возможным. Я вдруг почувствовал, что память о том, что хорошо, а что плохо, что вкусно, а что отвратительно, хотя еще и не покинула меня полностью, но держится во мне на честном слове, на последней тонкой ниточке. Плоский желтый лист проплыл в тумане за окном. Он не падал, а именно плавно плыл мимо, слегка покачиваясь на неровностях воздуха, как будто силы тяготения больше не существовало.

Наконец раздался телефонный звонок, восстанавливая распавшиеся было связи, удерживающие этот мир и меня в нем. Звонила Ирина, чтобы сказать, что мы можем встретиться вечером.

В тот вечер я первый и единственный раз побывал в некричовой квартире после ремонта. Дверной замок остался прежним, и бывший у меня ключ подходил к нему, как и раньше. Ирина сказала, что Гурий собирается ставить железную дверь и тогда уже вместе с дверью менять замок, — зато самой квартиры стало не узнать: если б меня привели сюда с закрытыми глазами, я никогда бы не догадался, что это та самая квартира, где я уже был трижды. Новый сияющий паркет под ногами, по которому хотелось кататься, как по льду, венецианские зеркала, японская аппаратура, арктической белизны американская сантехника... Модная итальянская мебель выглядела слегка растерянной в больших комнатах. Кажется, даже ветер, шевеливший занавеску в приоткрытом окне, залетал сюда не с улицы Горького, а откуда-нибудь из южной Франции. И главное, от прошлой обстановки не осталось и следа, изумление старых стен довоенного дома было скрыто под голландскими моющимися обоями, квартира смотрелась так, будто всегда была такой. Из всех вещей, бывших здесь при Некриче, я нашел только оставленную Лепнинским и по неясным причинам сохраненную Гурием модель краснозвездного бомбардировщика, распластавшего крылья над хрупким журнальным столиком и казавшегося в новом окружении одиноким, как белая ворона.

Зато в бывшем кабинете отца Некрича находился настоящий склад старья — сюда сносил Гурий свои коллекционные трофеи. Дверь еле открывалась, заставленная стиральной машиной «Вятка». Мешки с одеждой были свалены кучей, целые ящики с обувью громоздились друг на друга. Очевидно, все усилия Гурия уходило на приобретение новых старых вещей — на то, чтобы разобрать

их, времени уже не оставалось. Сильный нафталиновый запах шел из кабинета. Ирина с демонстративной брезгливостью закрыла туда дверь.

Пока я ходил, осматриваясь, по комнате, где когда-то мы вчетвером, Некрич, я и две девушки, сидели за круглым столом под темной люстрой — теперь в это трудно было поверить, — Ирина следила за мной с дивана, угрюмо грызя заусенец на пальце. Когда глаза наши встретились, показалось, что все это время я разглядывал новую обстановку на самом деле только для того, чтобы избежать этой встречи.

Она устроилась на диване так, что поднятая рука лежала локтем на спинке, одно плечо было выше другого и перекашивало вырез платья, открывавший кусок шрама под ключицей. Я множество раз разглядывал этот шрам и досконально изучил его, но теперь — оттого ли, что раньше я всегда видел его лишь на голом теле, или потому, что сейчас он выступал из выреза только наполовину, — он показался мне необыкновенно и по-новому притягательным. «У тебя на шее, Катя, шрам не зажил от ножа...» Словно почувствовав мой взгляд, Ирина повела шеей так, точно ей было неудобно и скучно между плеч, и от этого движения шрам открылся еще немного...

— Ты говоришь, Гурий не придет раньше девяти?

— Не должен...

— Значит, у нас еще час в запасе.

Вслед за платьем она сняла с руки часы и положила их на стол циферблатом вниз.

— Куда ты будешь меня прятать, если он сейчас вдруг явится? Под кровать?

— Я не успею тебя спрятать, — ответила Ирина совершенно серьезно.

— А это возможно? Может случиться, что он придет раньше времени?

— Конечно, возможно. Все возможно. — Она обняла и привлекла к себе мою голову, как бы утешая: не беспокойся зря, будет лишь то, что будет. И затем уже только шептала мне на ухо: — Не спеши, не спеши, не спеши...

А когда все кончилось и я протянул руку за часами на стуле, Ирина сделала произвольное движение, чтобы остановить ее, даже схватила меня за запястье, но сразу же отпустила. И все-таки я успел понять: в глубине души Ирина хотела, чтобы я забыл о времени, Гурий вернулся и застал нас. Может быть, даже не отдавая себе в этом отчета, она стремилась к вскрытию ситуации, к скандалу, к поножовщине — это был ее способ обнажения истины. Это разрушительное стремление боролось в ней с ее природной хитростью, умением устраивать жизнь, и исход борьбы зависел только от случая. Я почувствовал себя разменной фигурой в ее отношениях с Гурием, которой она, недолго думая, могла бы пожертвовать.

— Может, еще раз? — безразличным голосом спросила она, глядя на меня из глубины полуприкрытых глаз — из глубины ожидания.

Но ее тело рядом со мной было уже снова привычным и насквозь знакомым, вся его география, все шрамы и родимые пятна были известны мне наизусть и оставались неизменными, если не считать пары полученных от Гурия новых синяков, возникших на коже, как поднявшиеся со дна на поверхность моря острова. Грустная, слегка припахивающая потом простота этого тела вызывала только жалость и легкую досаду: ради чего здесь было рисковать? Я поцеловал ее и стал одеваться. На пороге протянул руку, чтобы погладить ее на прощание, но Ирина отстранилась:

— Не нужно... Не трогай моих волос. Мне сегодня весь день кажется, что они мне чужие... Словно они мертвые.

Ладно, пусть я для нее только разменная фигура в отношениях с Гурием, утешал я себя, но ведь и он наверняка разменная фигура в отношениях с кем-то еще, например с Некричем, а тот, в свою очередь, с кем-то (с чем-то?), что важнее для Ирины всех нас, вместе взятых, — с судьбой? С самой собою? Или Не-

крич в своем новом статусе безвременно усопшего, каковым она его по-прежнему считала, выйдя за пределы человеческих измерений, стал для нее окончательной инстанцией?

Вспоминая его, мы говорили с Ириной о разных людях: я о Некриче живом, она об убитом. Умерший, он был причислен ею к лику святых и состоял теперь из чистого, ничем не замутненного сияния. Поэтому, когда я сказал однажды, что он убежал не только и не столько от Гурия с Лепнинским, сколько от самого себя, она сразу же восприняла это в штyki.

— И тем не менее это так,— настаивал я.— Самым страшным для Некрича было бы равенство самому себе, полное совпадение с собой. Поэтому бегство было его постоянным занятием. Если б не история с продажей квартиры, случилось бы что-нибудь другое с тем же результатом. Он нашел бы иной способ увлечь за собой преследователей, идущих по его следам, подбирая отброшенные им личины (говоря о преследователях, я имел здесь в виду не одних Лепнинского и Гурия, но и в первую очередь самого себя). Но, пока он не равен себе, он неуловим, потому что ловят всегда другого, а не его.

Я так увлекся, что даже не заметил, как из прошлого времени перешел в настоящее, но Ирина, разгневанная моими словами, которые, вряд ли поняв их до конца, восприняла как покушение на хранящийся в ее памяти нетленный образ Некрича, не обратила внимания на такую мелочь.

— Да ты... да вы...— Она даже не могла от негодования сразу найти нужное слово.— Да вы все мизинца его не стоите! Вы все грязь по сравнению с ним!

Это меня задело, и я решил расставить точки над «i».

— Всю жизнь Некрич убегал в пафос, в патетику, в большие жесты или в мечты о них от собственного ничтожества. Для того эти вещи и предназначены. Бегство было основным смыслом его жизни.

Теперь я внимательно следил за тем, чтобы употреблять глаголы только в прошедшем времени, и благодаря этому сохранял контроль. Ирина же, напротив, вконец вышла из себя.

— А ты? На себя-то посмотри! Если он ничтожество, то ты тогда что?!

Она стояла посреди моей комнаты, расставив прямые ноги, глядя на меня прищуренными от злости глазами. С каждым словом она взвинчивала себя все больше и больше. Вероятно, вина, которую она испытывала, чувствуя свою причастность к гибели Некрича, заставляла ее так заводиться. Руки ее летали в воздухе как будто сами собой, сопровождая речь внезапно взрывающимися жестами. Ее ярость неслась на меня, как скорый поезд. Ирина была так хороша в этот момент, что я полностью прекратил обращать внимание на ее слова, попросту перестал ее слышать. Черты ее лица стали резче и сильнее. Они подчеркивали слова бешеной мимикой, какая бывает у дерущихся глухонемых. Мне вспомнилась прочитанная накануне фраза из дневника одного философа-неудачника: «Это происходит со мной довольно часто: я едва слышу, что она говорит, потому что так пристально на нее смотрю». Я не слышал Ирину вовсе, точнее, воспринимая звук, не фиксировал смысл, потому что она не говорила, а кричала.

Стукнув кулаком по столу, она сделала несколько шагов ко мне и оказалась совсем рядом, почти вплотную. Это произошло так внезапно, что я растерялся, и внимание само собой переключилось на слова.

—...А ты думаешь, что, раз я с тобой сплю, значит, ты такой же, как он?! Ты думаешь, раз я и с тем, и с другим, значит, я шлюха, да?! Ну скажи мне, не трусь, прямо в лицо мне скажи. Ударь меня, раз я такая! Что ты на меня смотришь? Не будь трусом, ударь! Я слабая, ты со мной справишься... Дешевка!

Я ошеломленно сделал шаг назад и прижался спиной к стене: дальше отступать было некуда. Мы уже несколько раз ссорились с Ириной, особенно часто в последнее время, но такой я ее еще никогда не видел. И вдруг меня осенило: то, что она мне демонстрировала, было классическим блатным «наездом»! Взвинченная и измотанная за последние дни, Ирина перепутала свои роли: эта пред-

назначалась, без сомнения, для Гурия. Будь он на моем месте, он бы ей сейчас задал! Сбылась наконец моя старая мечта — увидеть, как она ведет себя не со мной. Я почувствовал себя вполне удовлетворенным и даже улыбнулся.

Это слегка сбilo Ирину, она отошла и, кажется, немного опомнилась. Нижняя губа ее оттянулась, точно она собиралась то ли заплакать, то ли плюнуть мне в лицо. Но не сделав ни того, ни другого, она отвернулась и быстро вышла из комнаты. Из прихожей она выкрикнула напоследок:

— Да вы все... Да никто из вас Некричу в подметки не годится! И если хочешь знать, здесь, в сердце, — она ударила себя кулаком в грудь, — я ему никогда не изменяла! Никогда!

Прежде чем входная дверь с грохотом захлопнулась, я успел в очередной раз отметить про себя правоту Некрича, уверявшего меня, что в глубине души его жена, с кем бы она ни была, все-таки остается ему всегда верна.

В первый раз мы поссорились с Ириной в тот день, когда она смотрела в метро на приближающийся поезд взглядом Анны Карениной. Повод был ничтожным — я сказал ей, что вечер, который мы собирались провести вместе, у меня, оказывается, занят, — но Ирине этого было достаточно: если она была настроена на ссору, то причину могла найти на пустом месте. Тогда, на перроне, она уже была полна обидой под завязку, и стоило нам войти в вагон, как Ирина взорвалась. Грохот поезда заставил ее повысить голос, и, перейдя на крик, она себя уже не сдерживала. Я отвечал, стараясь ее перекричать, практически ее не слыша. Окна вагона были частично открыты, и вместе с грохотом в него врывалась из тоннеля переполнявшая нас до потемнения в глазах невидимая чернота.

Точно так же — как оглушенные в летящем сквозь беспросветный тоннель поезде — выискивали мы с ней отношения и дальше. Я научился угадывать ее настрой на ссору задолго до того, как тучи начинали сгущаться. Верной приметой служила мне, например, преувеличенная, точно она специально демонстрировала ее и себе, и мне, радость, с которой Ирина встречала меня в свои худшие дни. Слово, когда она видела меня, у нее появлялась надежда, что я удержу ее от сползания в глухое раздражение, тлеющее у нее в глубине души. Но любое мое слово и движение неизбежно оказывались неверными, только подталкивая ее к тому, чтобы разрядить напряжение скандалом. Поначалу она изо всех сил пыталась сдержаться и даже улыбалась, если замечала, что я стараюсь шутить (шутки давались мне с трудом и выходили не смешными, поскольку я чувствовал, к чему идет дело). Мне запомнилась эта ее искусственная, застывшая, почти мучительная улыбка на совершенно серьезном лице.

После первой ссоры я места себе не находил, то же самое после второй и третьей. Но в этот раз, когда дверь за Ириной захлопнулась, я впервые почувствовал что-то вроде облегчения. Вернувшись на следующий день с урока, я обнаружил на автоответчике ее голос: «Извини... Я была сама не своя. Извини. Со мной что-то происходит последнее время. Позвони, когда придешь. Я жду».

Я не бросился к телефону, решив, что сначала нужно сосредоточиться и многое обдумать. Я нуждался в паузе, в передышке, мне хотелось побыть одному. Но из этого ничего не получилось, потому что не прошло и нескольких минут, как раздался звонок в дверь, и, когда я открыл, Некрич кинулся мне с порога на шею:

— Поздравь меня! Все! Меня больше нет! — Он достал из кармана газету. — Опубликовали все-таки! Я уж боялся, что они струсят и не опубликуют. А они напечатали! Вот смотри!

На газетном листе колонкой были набраны имена погибших в перестрелке у телецентра и при штурме Белого дома, длинный список, всего около ста пятидесяти человек. Между Моргуновым Игорем Владимировичем, 1963 г. р., и Никитиным Евгением Юрьевичем, 1970 г. р., я прочитал: Некрич Андрей Борисович, 1960 г. р.

— Теперь я свободен! — ликовал Некрич. — Свободен так, как может быть свободен только умерший! Я все теперь могу, у меня неопровержимое алиби: я умер! Убит наповал, три пули в голову!

— Надеешься, что эта газета попадетя в руки Лепнинскому или Гурию?

— Конечно, попадется! Еще как попадется! А если не им, так Коле с Толей или еще кому-нибудь из их шайки. Представляешь, как они локти себе будут кусать, когда поймут, что я окончательно от них ушел! Ускользнул на тот свет! Можно считать, что эту банду я сбросил с хвоста. Эта история закончена. И вся капуста при мне. А теперь смотри еще... — Некрич извлек из другого кармана авиабилет. — Москва—Мюнхен, лечу первым классом, с икрой, шампанским и стюардессой — финалисткой всемирного конкурса красоты! Прощай, небритая Россия! Меня ждет другой фатерланд!

— И визу получил? — спросил я, чувствуя, как в голосе против воли возникает привычная интонация недоверия.

Некрич протянул мне новый загранпаспорт с лучащейся всеми цветами немецкой визой, где под его безусой фотографией стояло: Чиркин Борис Андреевич.

— Ну что, гульнем на прощание? Где предпочитаешь пообедать? В «Пекине» или в «Праге»? Выбирай, я угощаю.

Я начал было отказываться, но потом подумал, что, может быть, и в самом деле вижу его в последний раз...

Обедали в «Пекине», ужинали в «Праге». Некрич был щедр, вальяжен и привередлив в выборе блюд, как Гоголь периода «Мертвых душ».

— Сейчас здесь ничему нельзя верить, — говорил он, листая меню. — Заказываешь эскалоп с кровью а-ля Бурбон, а тебе приносят непрожаренного Шарика, доманного под мусорным баком в проходном дворе. И так во всем, от водки до правительств. Мы вступили в эпоху дешевых подделок, точнее, не мы, а вы — меня увольте! Мне нечего делать в империи пописы! А так называемая демократия без попысы ни шагу, они близнецы и братья.

После третьей рюмки самого дорого из имевшихся в меню коньяка красноречие Некрича достигло достойной его высоты:

— Поверь, Игорь, я бы не уезжал, перебрался бы хоть в Питер и жил там в безопасности, не рискуя ни с кем ненароком встретиться, но я не могу смотреть, как шекспировскую драму власти превращают в бездарный водевиль! Как трагическая опера становится на глазах скверной опереткой! Мне стыдно в этом участвовать! — произнес он тоном человека, без которого не принимается ни одно решение государственной важности.

Каждый раз, когда Некрич исчезал, а затем снова появлялся у меня, мне требовалось время, чтобы осознать происшедшие с ним изменения и совместить его новый образ с предыдущим: то он возникал вдруг без усов и бороды, то в необыкновенном белоснежном хитоне, то оживал, вынырнув из секретного метро, когда его уже считали мертвым, то был спокоен и знал все наперед среди всеобщего ужаса в Останкине. Нынешний Некрич, ничего больше не боящийся, уверенный в победе, щедрый, вкусно и дорого меня угощающий, был непривычен настолько, будто и впрямь обратился в свой негатив, в абсолютно незнакомое мне Чиркина. И лишь последней фразой о том, что ему стыдно в этом участвовать, искренне сказанной тоном власти имущего, Чиркин вернулся к Некричу, в любом своем обличье не совпадающему с собой и всегда претендующему быть чем-то большим, чем он является. Восстановив для себя его непрерывность, я впервые по-настоящему почувствовал, сколько у нас общего позади и как много нас связывает. Мне захотелось сказать ему об этом, а также о том, что его бывшая жена считает нас похожими, как родные братья, и, может быть, она не совсем права, но вовремя осекся. Можно было не сомневаться, что Некрича меньше всего могло бы обрадовать сходство с кем бы то ни было. Поэтому я сказал только, что желаю ему удачи за границей.

— Мне будет тебя там не хватать,— ответил Некрич.— Если бы ты знал, как мне будет тебя не хватать! Я никогда тебе об этом не говорил, но ты был, в сущности, моим единственным другом, единственным, кто не предал меня в трудную минуту, на кого я мог положиться в этом насквозь поддельном предательском мире!

Уж кому-кому, подумалось мне, но не ему, распространителю вируса, заражающего недостоверностью все вокруг, жаловаться на поддельность мира. Хотя, с другой стороны, он сам, может быть, в первую очередь и страдает от болезни, которую разносит.

Из «Праги» мы вышли в мутные, сырые сумерки в обнимку, Некрич что-то напевал, я изо всех сил пытался ему подпевать.

— Идем,— сказал он,— идем, я хочу разыскать напоследок одно место... Одну улицу, где мы с Ириной впервые встретились. Это где-то здесь, недалеко... Обычная улица, но мне хочется...

Мы отправились в затяжной поиск по смеркающимся переулкам, мокрым и скользким, все более запутывающимся, все более похожим друг на друга, прячущимся в эту схожесть, в анонимность позднего часа и времени года, когда не только улицы, но и прохожие на них становятся одинаковы, скрывая свои лица под зонтами.

— Это было летом, здесь все было иначе,— говорил Некрич, потерянно осматриваясь.— На ней было легкое платье, оставляющее всю спину открытой, в сущности, не платье, а так, тряпочка, непотребная, по правде сказать, вещица. Она шла впереди меня жаркой ночью, и на всей улице, кроме нас с ней, никого. Когда я стал ее догонять, ничего еще про себя не решив, она, не оборачиваясь, шаги ускорила, и я уловил, как она меня боится, всей спиной, пустым, незащищенным ее пространством, плечами, лопатками, мелкими родинками и прыщами, так боится, что даже оглянуться не решается! И во мне тогда возникла уверенность, что я ее судьба, что захочу, то с ней и сделаю!

Пока Некрич говорил, я думал о том, что Ирина просила меня позвонить, сказала, что будет ждать звонка. И сейчас еще, наверное, ждет...

Так и не найдя улицы, мы сошлись наконец на том, что искать ее и не стоило, сели передохнуть на блестящую от сырости лавку в заваленном листвой дворе, и Некрич закончил рассказ:

— Я догнал ее, под каким-то там предлогом заговорил, мы познакомились, пошли дальше вместе, и она перестала меня бояться. А потом она споткнулась и сломала каблук. И тогда я поднял ее — она же совсем легкая — и целый квартал на руках нес! От светофора до светофора! Ты мне веришь?

— Верю, конечно, верю! — Я сказал это с таким пылом, точно хотел разом компенсировать все недоверие, с которым всегда относился к Некричу.— А ты мне веришь, что я тебе верю?

— И я тебе верю, что ты мне веришь... что я тебе верю,— слегка запутался Некрич, чей язык после выпитого уже начинал заплетаться.— Но скажи мне другое... Скажи мне такую вещь... Только правду, обещаю сказать мне правду.

— Клянусь!

— Когда Гурий убедил Ирину, что Коля с Толей меня застрелили, как она себя повела? Плакала? Ну хоть немного?

Мне вспомнился эксперимент, проделанный Некричем над матерью, когда он имитировал самоубийство при помощи порошка от тараканов. Я подумал, что он просто повторяет другими средствами тот же самый опыт и следит за реакцией окружающих, ожидая от них, чтобы ему, как в детстве, все простили, пожалели и оплакали его, а в конечном итоге выполнили все его желания. С упорством идиота он стремится к осуществлению заветной детской мечты: присутствовать на собственных похоронах.

— Да,— ответил я,— она плакала. Она пришла ко мне как к твоему другу и два часа кряду прорыдала у меня на плече. Как ни пытался, я не мог ее успокоить. Промочила мне слезами всю рубашку, хоть выжимай.

Некрич пренебрег иронией в моих словах. Удовлетворенно откинувшись на спинку скамейки, он смотрел на единственный освещающий глухой двор фонарь с кривым жестяным кольцом вокруг лампы.

— Вот увидишь, мы с ней еще встретимся,— сказал он.— Это еще не конец...

Дремучий двор обступал нас со всех сторон, живя своей темной, шуршащей жизнью по гнилым углам за мусорными баками. Ржавые гаражи были в нем, провисшие между деревьями бельевые веревки, сломанные качели, еще одна лавка и стол перед ней с прилипшими к мокрой фанерной крышке листьями и граненым стаканом на углу, до краев наполненным желтым светом от фонаря. К стене панельного дома примыкала низкая пристройка из черных от влаги досок с грязным маленьким окном, полуприкрытым белыми в цветочек, как нижнее белье, занавесками. Разбитая половина арбуза лежала возле стола, вывалив на землю свои багровые внутренности, наполняя воздух сырým арбузным запахом. Мы сидели молча, и в тишине мне постепенно начало казаться, что двор медленно увеличивается, словно разбухает на дрожжах гниющей листвы и памяти, приближаясь к размерам, какие были у дворов в детстве, когда любой из них был больше, чем целый город сейчас, а мы с Некричем погружаемся в него все глубже, все безвыходнее. Невозможно было поверить, чтобы здесь, где все было точно таким же и двадцать, и тридцать лет назад, когда-нибудь могло что-то измениться. Перемены проходили стороной по центральным улицам, а двор (изнанка города, его скрытое и подлинное лицо) оставался тем же, что и всегда. Мы забрели спяну в местную вечность и в ней застряли. Я сказал об этом Некричу.

— Как бы не так! — ответил он.— Эта иллюзия неизменности у тебя все отсюда же, из защищенного со всех сторон благополучного советского детства. Скоро здесь все перевернется вверх тормашками. Слава Богу, это случится без меня. А вам, остающимся, я не завидую. Ты думаешь, октябрьскими событиями все закончилось? Если бы! Это было только начало, только первый акт драмы. Все еще впереди! Слышишь? — Некрич вдруг вскочил с лавки и замер.— Слышишь?

— Что?

— Гул под землей. Прислушайся! Это оно!

Ветер прошел поверху, деревья зашелестели, и Некрич поднял было руку, чтобы, поднеся палец к губам, заставить их затихнуть, но, осознав бессмысленность жеста, сжал от досады кулак.

— Это секретное метро, наверняка оно! Ни одна из обозначенных на плане линий тут не проходит. А оно может быть повсюду, оно, по сути, и есть везде, нужно только уметь расслышать. Встань, его нужно слушать не одними ушами, а всем телом. Гул входит в тебя через мелкое дрожание земли под ногами. Чувствуешь? Это и есть гул грядущего!

Я поднялся. Некрич схватил меня за руку и крепко сжал ее. Приоткрыв рот, он смотрел мне в лицо. Стоя посреди темного двора, я слышал пустой шорох листвы над головой, падение созревших капель, глухой бубнеж телевизора за окном деревянной пристройки, редкие хлопки дверей в подъездах. Беззвучно зажглись несколько окон, в дальнем конце двора мелькнул прохожий.

— Ну? — Некрич ожидал от меня ответа с таким волнением, точно от этого зависела вся его жизнь.— Ну?!

За звуками, раздающимися внутри двора, каждый из которых падал в него по отдельности, как в копилку, можно было различить далекий слитный шум города. Кроме этого, я ничего больше не слышал.

— Ну?! — в третий раз спросил Некрич.

Мне не хотелось его разочаровывать, и я кивнул головой.

— Наконец-то! Что я тебе говорил! А я уже начал бояться, что это мне кажется... Выходит, я не один... Значит, ты тоже... Раз нас двое, то оно существу-

ет, теперь уже нет никаких сомнений! Это не выдумка газетчиков и мне не приснилось. Значит, я не один...

Он все не выпускал мою руку из своих немного потных мягких пальцев и тряс ее, повторяя:

— Не один... нет, не один...

Вместо того чтобы разойтись по домам, мы забрели в первое попавшееся ночное заведение, где оказалась рулетка, взяли еще коньяку, но от наблюдения за вращающимся по кругу маленьким шариком у меня закружилась голова, меня замутило, а Некрич сказал, что здесь опасно, потому что можно наткнуться на Гурия или Колю с Толей, и мы поспешили уйти, чтобы очутиться вскоре в другом заведении, где танцевали на сцене красивые малоодетые девушки. Некрич тут же начал искать среди них похожую на Ирину. За соседним столиком сидела компания немцев, Некрич принялся налаживать контакт, подсел к ним и стал объяснять, что едет «нах Дойчланд», показывая рукой в сторону сцены. Один из немцев, рыжеволосый, в очках, немного говорил по-русски.

— Я есть Ульрих, я есть из Мюнхен, специалист по реклам,— объяснил он, глядя на нас поверх очков.

Ульрих оказался одержим примерно той же манией, что и Гурий: достав из кармана толстый конверт, он стал вынимать из него и показывать нам свои фотографии московских вывесок, витрин и афиш.

— Это будет исчезать,— говорил он, тыкая пальцем в надписи большими буквами, как в книгах для дошкольников, «Молоко», «Продукты» и в простые, как в букваре, рисунки овоще-фруктов.— Это есть нигде! Особый стиль. Больше не будет никогда! Как Атлантида.

— Да что ты понимаешь в нашем стиле! — Некрич обнял Ульриха за плечи, почуяв, что нашел для себя подходящую публику.— Что ты вообще можешь в нас понять, немчура ты очкастая? Я родился здесь, я — русский! — Как и полагается при этих словах, Некрич ударил себя кулаком в грудь.— Я в этом городе полжизни прожил! Ты знаешь, что это значит — полжизни здесь прожить и не сдохнуть?! Нет, этого никому из вас не понять... как был для вас р-р-русский человек загадкой, так навсегда и останется!

Желая, очевидно, продемонстрировать масштаб своей загадочности, Некрич захотел подарить нам с Ульрихом по девушке из числа танцующих и стал пробиваться за сцену, чтобы договориться о цене. Но такая услуга правилами заведения не была предусмотрена, Некрич стал скандалить, обещать совершенно нереальные суммы, нам было предложено удалиться, и, чтобы не получить по шее, я взял его под локоть и вытащил на улицу. Ульрих увязался за нами. Идя посреди пустой проезжей части и держась с Некричем за руки, они распевали на два голоса: «Ах, майн либер Августин, Августин, Августин...»

Потом мы попали в какое-то совсем уж странное место, бывшее, судя по всему, ночной пельменной, потому что на закуску к водке здесь не предлагалось ничего, кроме пельменей и синеватых яиц под майонезом. За пятью или шестью столиками в небольшом помещении стояли бессонные небритые старики, бомжи и нищие, прыщавые панки, несколько пожилых алкоголичек и одна красивая печальная блондинка с иссиня-черным, как грозовая туча, синяком в пол-лица. Едва войдя, Некрич заказал всем присутствующим по сто граммов и одному яйцу. Народ потянулся к нашему столику.

— Уезжаю я, ребята,— сообщил Некрич двум подошедшим первыми красноглазым старикам,— уезжаю навсегда! Не поминайте лихом!

Стоявшая в углу пожилая женщина покачала головой, узнав, как далеко он собрался.

— А меня с собой не возьмешь? — спросила ее подруга, поправляя просвечивающую прическу.— Со мной не соскучишься. А то ведь там небось и водки не с кем будет выпить.

— Ну что, давай на брудершафт,— предложил Некрич одноногому на костылях в солдатской шинели, кажется, времен первой мировой.— На прощание!

Одноногий засунул оба костыля под мышку, но, когда скрестил с Андреем руку со стаканом, не удержался на единственной ноге и, потемнев лицом, стал с криком валиться на стол. Ульрих поймал его и снова поставил прямо, затем украдкой, чтобы никто не видел, вытер руки под столом о скатерть. Понюхал их, поморщился и, не в силах преодолеть к ним отвращения, спрятал в карманы брюк.

— Передавай от меня Коле привет! — смеясь пустыми младенческими деснами, сказал беззубый нищий.— Канцлеру ихнему. Так и скажи: привет тебе от дяди Вади Петушкова из ночной пельменной.

— Обязательно передам,— ответил Некрич.

— Смотри, не забудь!

— Ни за что не забуду. И ты меня, дядя Вадя, не забывай!

Печальная блондинка, наскоро запудрив синяк, пробралась поближе к Ульриху и всякий раз, когда он скользил глазами по ее лицу, поспешно улыбалась ему половиной рта (целым ртом улыбаться ей было, наверное, больно).

— Всем еще по сто граммов и по порции пельменей! — опять заказал Некрич.

Из пельменной он уходил народным героем. Все наперебой желали ему удачи, пили за его здоровье, а пожилая синегубая алкоголичка послала ему из своего угла воздушный поцелуй и слегка пошевелила в воздухе пальцами.

На улице мы расстались с Ульрихом. Довольный знакомством с жизнью ночной Москвы, он написал Некричу свой мюнхенский адрес и подарил на прощание зажигалку. В такси Андрей, забившись в угол заднего сиденья, подолгу держал ее зажженной, глядя на пламя.

У меня дома мы очутились под утро, хотя светать пока не начинало. Опьянение еще не прошло, а голова уже болела тупо, как отсиженная нога. Не хотелось включать свет, еще труднее было заставить себя возиться с постелью для Некрича. Если бы не он, я бы завалился сейчас спать, не раздеваясь... Некрич ушел в уборную, и, пока он там журчал, я включил автоответчик.

«Это опять я. Не знаю уже какой раз тебе звоню, а тебя все нет. Я не могу больше быть одна.— Иринин голос звучал неуверенно, она не сразу находила слова, как человек, который хотел поговорить с другим человеком, а вынужден разговаривать с молчаливым автоматом, не прощающим к тому же ни одной оговорки и все записывающим.— Гурий чуть не убил меня за то, что я целый мешок его старья на помойку выбросила. Порвал, скотина, два моих платья и ушел. Я не знаю, что теперь делать, я не могу так больше жить! Если ты не приедешь, я включу газ, говорят это не больно, просто засыпаешь — и все... Я не могу одна, мне гадко... я не понимаю... Как я ненавижу эти автоответчики!»

Некрич вошел в комнату. Только что он, казалось, едва стоял на ногах, а теперь выглядел уже вполне трезво. Сел на край постели, положил на колени мокрые после ванной руки.

— Звонила твоя жена, хочет, чтобы я срочно к ней приехал.

— Сейчас?!

— Не знаю, звонила она, может быть, уже давно, но я поеду. Кажется, ею овладели суицидальные намерения.

— Ах это...— Некрич махнул рукой.— Да брось ты!.. Эти намерения овладевают ею каждую неделю. Она же истеричка, обыкновенная истеричка, неужели ты еще не понял?!

— Может, ты и прав. Но все равно...— Я чувствовал вину за то, что не позвонил Ирине накануне, когда она просила.— Все равно я поеду.

— Ладно,— согласился Некрич,— езжай, раз она тебя зовет. Только я с тобой. А то ведь у тебя наверняка и денег на такси нет. Эх, голь перекатная...

На улице по-прежнему не было заметно никаких признаков рассвета, небо было обложено тучами. Моросил мелкий невидимый дождь. Пока поджидали

такси на перекрестке, Некрич ежился, подняв воротник плаща, чихал, сердито сморкался (под утро у него начался насморк) и ворчал на меня, как будто я на- сильно потащил его с собой.

В такси неожиданно выяснилось, что он хочет не только проводить меня, но и вместо меня пойти к Ирине.

— Пойми, это же мой последний шанс, я же больше никогда ее не увижу! Я ведь улетаю завтра, и все. Навсегда! Она же моя жена, в конце концов имею я право с ней попрощаться?! А насчет того, что она самоубиться грозилась, даже и не думай! Кто, всерьез решив свести счеты с жизнью, станет об этом направо и налево раззванивать? Она уже давно об этом забыла и спит сейчас зубами к стенке, можешь мне поверить, я-то эти ее фокусы знаю.

Всю дорогу Некрич уговаривал меня, не останавливаясь ни на секунду. Если он делал паузу, чтобы высморкаться, глаза его, выпучиваясь над носовым платком, продолжали умолять меня без слов. Я пытался найти повод, чтобы отказать ему, но не мог сосредоточиться. Сказать ему «нет, и все», не затрудняясь объяснениями, после того как он целый день угощал меня в лучших ресторанах, я не мог.

— Не боишься, что, увидев тебя, Ирина расскажет потом об этом Гурию?

— Не расскажет. Ты же сам говорил, что она два часа рыдала у тебя на плече, узнав, что они меня застрелили! Значит, она меня не выдаст.

Я проклял свою выдумку, но взять слова назад было уже поздно. Когда машина остановилась, я так и не пришел еще ни к какому решению. Я чувствовал себя слишком усталым и сонным, чтобы решать. Может быть, раз Некрич все равно завтра улетае, ничего особенного не произойдет, если он сегодня встретится с Ириной? От мучительных попыток просчитать возможные последствия этой встречи голова заболела еще сильнее, и мне сделалось все безразличным. Мы вышли из машины на темную мокрую улицу, и я отпустил такси — скоро должно было открыться метро.

— Так я пойду к ней? — Некрич наклонил голову набок, целиком превращаясь в напряженный от ожидания знак вопроса.

Все три угловых окна его квартиры на последнем этаже были темными. Я кивнул. Не сказав больше ни слова, он повернулся, сделал несколько шагов в направлении подъезда, потом вдруг вернулся назад.

— Вот еще что... Будь так добр, верни мой ключ от входной двери... Не хочу ее будить звонком, пусть это будет сюрприз...

— Откуда ты знаешь, что ключ у меня?

— Мне ль не знать... — неопределенно ответил Некрич и протянул руку с распластанной ладонью.

Я достал ключ, который всегда носил с собой, и положил его на ладонь. Он сжал ее и потряс поднятым кулаком в воздухе — на удачу.

У кого-то я уже видел этот жест, но лишь после того, как Некрич исчез в подъезде, вспомнил: Ирина рассказывала мне, что, когда хочет, чтобы ей повезло, говорит про себя: «Некрич, милый, не выдай» — и сжимает кулак. Одинаковость жестов создавала между ними связь, исключаящую меня. Под усиливающимся дождем я подумал, что был, вероятно, как и Гурий, и любой другой, всего лишь третьим лишним между Некричем и Ириной.

Дождаться, пока зажжется какое-нибудь из трех угловых окон последнего этажа, я не стал и не спеша пошел по направлению к метро. Торопиться было некуда, до открытия ближайшей станции оставалось еще минут двадцать. Холодные капли падали на мою больную похмельную голову. Это было приятно.

Взрыв за спиной раздался, когда я уже зашел за угол соседнего дома. Грохот был таким, что сработал условный рефлекс, и я обнаружил себя сидящим на корточках. Вслед за взрывом наступила еще более гулкая тишина, чем была до него. Выйдя из-за угла, я увидел, что улица перед некричевым домом завалена грудой камней, балок и плит, а угол верхнего этажа дома снесен. На месте не-

кричевой квартиры зияла под небом огромная черная дыра с рваными краями. Над горой обломков беззвучно оседало в свете фонарей облако пыли.

На остальных этажах и в доме напротив повыбило стекла, загорались, высвечивая дождь, окна, люди высыпали из подъездов на улицу. «Газ,— слышал я повторяемое со всех сторон разными голосами слово,— газ рванул». Вместе с другими я бросился разбирать обломки, но скоро мы добрались до бетонных плит, сдвинуть которые нам было не под силу. Из-под них не доносилось ни звука. Паузы, когда мы все замирали, прислушиваясь, были наполнены слитным безразличным шумом дождя. Не оставалось ничего иного, как дожидаться спасателей. Они приехали вместе с милицией, двумя пожарными машинами и «скорой помощью». На улице сделалось тесно от разворачивающихся автомобилей. Милиционеры принялись расталкивать толпу. Прислонясь к стене дома напротив, я смотрел за действиями спасателей в мокрых блестящих комбинезонах. Чем больше людей и машин суетилось под дождем вокруг груды обломков, тем очевидней казалось, что все это бесполезно.

«Газ... Она все-таки сделала это.— Мысли возникали в голове сами собой и без всякого моего участия соединялись друг с другом в объяснение происшедшего.— Открыв дверь своим ключом, Некрич не почувствовал из-за насморка запаха газа. После ремонта в квартире поменяли все выключатели, он не смог их найти и, чтобы сориентироваться, зажег подаренную Ульрихом зажигалку. Если Ирина звонила мне, предположим, вечером или еще раньше и через несколько часов после этого открыла конфорки, то к утру газа должно было накопиться достаточно, чтобы все разнести. Если бы я, вместо того чтобы целую ночь шляться с Некричем, пришел вечером домой и услышал ее запись на автоответчике... Или, может быть, я просто сам...» От последнего «если бы» я почувствовал приступ такой обессиливающей тошноты, что сполз вниз по стене.

Сидя на корточках, я увидел в нескольких шагах от себя модель бомбардировщика с погнутым крылом. Выброшенный взрывом, он совершил свой первый и единственный перелет и теперь валялся искореженный на асфальте. Я хотел было подобрать его, но не нашел в себе сил подняться.

Когда наконец рассвело, от горы обломков к машине «скорой помощи» пронесли двое носилок. Лежавшие на них были накрыты с головой, а значит, ни в какой помощи уже не нуждались. Со вторых носилок свешивалась рука. Она была серая и явно неживая, будто даже не человеческая, а какая-то кукольная. Но на узком длинном запястье был браслет, который я не смог не узнать,— браслет некричевой бабушки, тот самый.

Некоторое время я сидел у стены с закрытыми глазами, положив голову на руки. Когда я встал, дождь уже прекратился. Я не заметил, когда он кончился. Народ, жаждавший, как всегда, увидеть извлекаемые из-под плит трупы, убедился, что больше никто не погиб, и начал расходиться. И тогда в дальнем конце уводящего в густой утренний туман пустеющего переулка я увидел их: старуха костюмерша в брюках клёш наклонилась над маленьким Некричем в крестьянском армячке и лаптях, затягивая ему пояс; Некрич вырвался из ее рук и, шлепая лаптями по лужам, побежал прочь, все дальше в туман. Почти совсем уже растворившись в нем, он неожиданно обернулся и высунул язык.

Я поднял бомбардировщик и, неся его за погнувшееся крыло, как подбитую птицу, побрел домой.

Я снова был один.

Первые несколько дней я каждое утро и еще пару раз вечером приходил к некричеву дому. Меня влекло туда, как на место преступления. Не подходя близко, я рассматривал громадную брешь в стене на последнем, пятом, этаже, башенный кран, грузовики, увозящие обломки, суетящихся рабочих. Снизу мне видны были словно в насмешку сохранившиеся на единственной уцелевшей внутренней перегородке фотографии и натюрморты. Все остальное было сметено

начисто, из полуобвалившихся кирпичных стен торчали вывернутые трубы, свисали обгорелые потолочные балки, обугленные обрывки обоев. Рабочие, казалось мне издалека, с явным удовольствием доламывали и добивали ломами, расчищая пространство, то, что осталось после взрыва. Иногда кто-нибудь из них извлекал внизу из постепенно уменьшающейся груды обломков какую-либо вещь из коллекции Гурия и, разглядев, брезгливо отбрасывал или, наоборот, бережно относил в стоящий неподалеку вагончик. Подолгу возле дома я не держивался, опасаясь, что кого-то может заинтересовать, почему я появляюсь здесь снова и снова.

Но уже к вечеру того же дня или утром следующего ноги сами несли меня к этому дому. Мне было понятно все, что случилось, яснее ясного, ясно до безумия, и все-таки это не умещалось в голове. Только вид исковерканных стен под открытым небом своей чудовищной очевидностью останавливал вращение одних и тех же мыслей по замкнутому кругу. Если бы я позвонил Ирине до того, как пришел Некрич! Если бы я не отпустил его к ней вместо себя! Если бы, если бы... Мне было очевидно, что *это* зрело в Ирине давно, может быть, всегда и, уж во всяком случае, совершенно определенно с того момента, когда она поверила Гурию, что Некрич убит (а я, зная, что он жив, не сказал ей!), и он начал сниться ей, зовя к себе. Точно так же очевидно было, что она как бы играла в русскую рулетку и, уже включив газ, наверняка ждала, что я все-таки приеду, не могу не приехать. Понятно мне было и неумолимое взаимодействие вещей — ключа, автоответчика, браслета, дареной зажигалки — в безжалостной игре случая, в которой мы были на самом деле лишь разменными фигурами, а вещи — ферзями и королями, походя снимающими нас с доски. Все было очевидно, очевидно до того, что хоть головой о стену бейся!

А ночами бессмысленные «если бы» снова атаковали меня отовсюду. Бессонничая, я вел нескончаемые мысленные разговоры с Ириной и Некричем, оправдываясь перед каждым из них в гибели другого. Они обвиняли меня с двух сторон, устраивали мне перекрестный допрос, длящийся из ночи в ночь. Как мог, я обелял себя, юлил, передергивал факты, искал смягчающие обстоятельства. Перед Некричем я пытался свалить все на Ирину, перед ней доказывал, что во всем виноват он. Это он приучил меня к недоверию и убедил не принимать всерьез ее предупреждение на автоответчике. Но сам-то он, сам... Как могло это случиться с ним, в чье чутье будущего и необыкновенное везение я уже готов был вслед за Ириной поверить?! И чего стоит теперь эта вера? Или, может быть, Некрич бессознательно стремился именно к такому концу, поняв, что он все равно никогда не сможет жить с Ириной, и решив, раз так, вместе с ней умереть? Решив, конечно, тоже бессознательно, поскольку представить себе Некрича, осознанно стремящегося к гибели, было невозможно. Да и какой смысл по отношению к нему вообще может иметь это деление мотивов на сознательные и бессознательные, если он был, в сущности, по уши погружен в свое подсознание, никогда из него не поднимался и только пускал пузыри на поверхность действительности — пустые, бесшумно (иногда с грохотом) лопающиеся пузыри своих поступков и жестов?! Но если Некрич на самом деле, не отдавая себе в этот отчет, стремился к общей с Ириной гибели, то, значит, предыдущие ситуации — бегство от Коли и Толи, подмена паспорта в Останкине и, возможно, даже та детская история с притворным самоубийством, — ситуации, когда Некрич, как мне казалось, передразнивал свою смерть, были на самом деле вольными или невольными ее репетициями! Ночь напролет ворочаясь с боку на бок, я перебирал в памяти одни и те же события, и мысли мелькали намного быстрее, чем я мог оценить их, проносясь в голове с такой скоростью, что мне начинало казаться, будто я не лежу на кровати, а стремительно лечу в темноте с плотно закрытыми глазами и стиснутыми зубами. Пытаясь прекратить думать и наконец уснуть, я начинал считать, потом прислушиваться к заглушенному мыслями тиканью часов. Вместе с ним становилась слышна тишина в комнате. Ход часов

был неравномерным, их мелкий шаг то приближался, делаясь чуть громче, то удалялся, стихая, становился то быстрее, то медленнее, как шаг заключенного в одиночной камере бессонницы, меряющего ее из конца в конец, чтобы не сойти с ума.

Я не мог больше думать об Ирине и Некриче по отдельности — только одновременно об обоих, общая смерть спаяла их между собой, и, даже когда я вспоминал Ирину в своей постели, Некрич в той или иной степени всегда присутствовал рядом. Все, что он говорил о ней, приросло теперь к ней так же намертво, как то, что она говорила о нем. Когда я постепенно погружался к утру в полусон, они становились еще ближе и Некрич выглядывал из-за Ириного плеча, стоило мне к ней приблизиться, а она появлялась у него из-за спины. Если они сливались окончательно в одно существо, о котором уже нельзя было сказать, Некрич оно или Ирина, потому что оно было ими обоими, это значило, что я все-таки уснул. Во сне я был со всех сторон виновен перед этим прекрасным существом и мне нечем было больше оправдаться, все смягчающие обстоятельства, которые мне удавалось выдумать наяву, не стоили там ни гроша. Раздавленный своей виной и сознанием непоправимости происшедшего, я просыпался в слезах, с удивлением ощупывая мокрую кожу лица, раздраженную и непривычно мягкую.

Проходя в один из этих дней мимо другого полуразрушенного и обугленного здания — Белого дома — по направлению к «Краснопресненской», я увидел на стене стадиона, где висели снимки павших в октябрьских событиях, знакомое лицо. Некрич в усах и бородке смотрел на меня со своей увеличенной паспортной фотографии. Внизу был текст:

«Некрич Андрей Борисович, 1960—1993. Сын известного конструктора боевых самолетов Некрича Б. А. (1902—1965), внесшего своей деятельностью неоценимый вклад в победу советского народа над немецко-фашистскими захватчиками в Великой Отечественной войне, Некрич А. Б. всю жизнь хранил память об отце и оставался верен его заветам. Усилиями Некрича А. Б. его квартира была превращена в мемориальный музей отца, где посетители могли почувствовать атмосферу героических лет, прикоснуться к вещам, окружавшим Некрича Б. А. при жизни. Неприятие новых порядков в России Некрич А. Б. выразил отказом от любых форм сотрудничества с правящим страной антинародным режимом. Он принимал участие в работе многих патриотических организаций и в октябрьские дни не мог оставаться в стороне от происходящего. Некрич А. Б. был в первых рядах бойцов, пытавшихся прорваться в останкинский телецентр, чтобы оповестить людей о предательской сущности проамериканского режима Ельцина Б. Н. Пал смертью храбрых. Память о нем не угаснет в сердцах».

На земле под фотографией лежали уже заметно подвявшие цветы. Вокруг толпился возбужденно спорящий народ, в основном люди пожилые. Две девушки, попавшие сюда явно случайно, задержались у снимка Некрича.

— Молодой, всего тридцать три года, — подсчитала одна.

— Симпатичный, — сказала другая. — Жалко... И зачем он туда полез?

— А затем, — возбужденно ответил ей старик с худой, красной, в седом пуху шеей, тянущейся из отложного воротничка рубашки, которая могла бы украсить коллекцию Гурия, если б она еще существовала, — чтобы ваши дети не росли рабами американских империалистов!

Девушки пожалы плечами, переглянулись и пошли восвояси. Я купил у метро лиловых астр и, вернувшись, положил их на место увядших. Пусть так, пускай он подменил себе даже смерть, пусть оставленный им в памяти след на самом деле ложный, но все-таки это след. Некрич уже превратился, как предвидел в свое время Гурий, в легенду, пока только в узком кругу, однако судьба легенд гораздо менее предсказуема, чем человеческая, а главное, она бесконечна, и, если нынешняя оппозиция когда-нибудь все-таки возьмет власть, скорее всего ему поставят памятник.

Я увидел Некрича, изваянного из мрамора, десятиметровой по крайней мере высоты, с каменными скулами, пронзительным взглядом вдаль из-под каменных век, сжимающего монолитным кулачищем автомат, возвышаясь перед телецентром посреди площади имени Некрича (бывшей улицы Королева) в окружении симметрично расположенных клумб с лиловыми астрами.

«Болезнь Некрича» с исчезновением ее распространителя у меня не прошла, а только обострилась. Дни мои стали еще беспорядочнее, а незаполненность их еще ненасытнее. Я существовал в пустоте, оставшейся после гибели Ирины и Некрича, разряженной почти до вакуума. От постоянной бессонницы я воспринимал окружающее так, точно со зрения содрали кожу. В своих четырех стенах было еще куда ни шло, но стоило выйти из дому, как мир уличных вещей начинал двигаться на меня лавиной, невыносимо избыточный, оглушающий, словно только что созданный и продолжающий каждую секунду возникать заново. Я чувствовал себя так, будто из меня выдернули позвоночник, превратив в студенисто-дрожащий столб.

Я предпринял несколько попыток найти фильм, на котором мы познакомились с Некричем, чтобы увидеть ту актрису, похожую, по его словам, на Ирину. В конце концов мне это удалось, но смотреть его я не смог. Сходство показалось мне настолько полным, что при первой же похабной сцене, едва она начала раздеваться, я понял, что сейчас заплачу, и, пока этого не произошло, как можно скорее выбрался из зала. На выходе я еще раз оглянулся и застал ее одну в кадре, уже обнаженную по грудь. Камера наезжала, поясной план переходил в крупный, ее лицо выросло, заполняя трехметровый экран, приближаясь ко мне, надвигаясь на меня. Губы — те самые губы, я помнил их наизусть! — улыбались, а глаза — Ирины глаза — оставались серьезными, как бы спрашивая поверх и помимо неуверенной улыбки: «Вы опять надо мной шутите?» Она всегда была самой серьезной из всех нас. В этот момент в кадр вторглась волосатая рука одного из убудочных персонажей фильма, к которому на самом деле был обращен вопрос ее глаз, потрепала ее по щеке, и гнусавый голос произнес: «Снимай штанишки, крошка, и поторапливайся...» Прочь, прочь отсюда, скорее на улицу, под черный дождь и мокрый свет слепящих фар... Этой ночью я не смог уснуть даже к утру.

Видя в кафе или в транспорте людей, увлеченно разговаривающих друг с другом, я не понимал теперь, о чем они могут между собой так долго говорить. О чем вообще говорить, если все так бесповоротно и страшно ясно?! Но когда я как-то спросил у первого встречного, как пройти, и он принялся объяснять мне долго, сочувственно и подробно, меня внезапно переполнила настолько горячая к нему благодарность, что я не запомнил ни слова из сказанного и вынужден был через несколько шагов переспрашивать еще раз.

Однажды вечером я споткнулся и едва не упал на мокрый асфальт Пушкинской площади, потому что мне померещилось, что я наступил в лужу крови, оказавшуюся отражением багровой рекламы кока-колы с крыши ближайшего здания. Ожидая автобуса, я наподдал ногой камень, запрыгавший по тротуару с таким непривычно гулким звуком, точно под тонким слоем асфальта была пустота. «Оно может быть повсюду, оно, по сути, и есть везде,— вспомнились мне предсмертные слова Некрича о секретном метро,— нужно только уметь слушать». Я обнаружил, что моя рука сжимает железную штангу автобусной остановки до безизны в пальцах. «Слышишь? — спрашивал он меня в том дремучем, разбухающем от сырости дворе, глядя мне в лицо так, точно хотел прочесть ответ по губам раньше, чем я его произнесу.— Слышишь?!» Теперь я слышал. Каждый шаг отдавался бездонной пустотой под ногами. «Болезнь Некрича» явно прогрессировала. Когда при переходе улицы мне представилось, что тормозящие у светофора машины специально замедляются, чтобы, хищно горя фарами, подкрасться ко мне, я понял, что она зашла уже так далеко, что с этим нужно что-то делать.

Придя домой, я открыл новую пачку бумаги и после нескольких часов размышлений написал на первой странице: «В моей комнате четыре стены. Четыре стены, потолок и пол. Между ними расположены некоторые вещи, как-то: кровать, стол, стул, шкаф и другие. Я сижу на стуле за столом». Дальше этого дело не двинулось. Я пил чай, кофе, грыз киевские сухари — ничего не помогало, работа не клеилась. Пару часов кряду, ни о чем не думая, я черкал карандашом по бумаге, и выходило все одно и то же лицо: усы, борода, сигарета в зубах, почти сросшиеся над переносицей брови... (Ирина не получалась, женские лица рисовать я вообще не умею.) Внимание рассеивалось, у соседей беспрерывно бубнил телевизор... Прислушавшись, я понял, что никакого телевизора нет и не может быть в четыре часа ночи, бубнеж за стеной мне только кажется.

Оставалось последнее средство, старое и уже мною испытанное. Пунцовая буква «М» светила мне издали сквозь пустую тьму, сквозь дождь и мокрый снег. Удобно устроившись на сиденье, я стал снова ездить по кольцевой круг за кругом, день за днем. Поначалу это помогло. Я чувствовал плечи попутчиков, стискивающие меня со всех сторон, как бы говоря мне: «Держись». Каменный уют старых станций — «Курской», «Октябрьской», «Парка культуры» — был надежен и непоколебим. Мне начинало казаться, что вся моя жизнь была только бесконечным из года в год кружением по кольцевой с одними и теми же повторяющимися станциями, что ничего, кроме этого, в ней не было, но ничего больше и не нужно, потому что здесь и так все есть: жизнь целой страны, ее прошлое, настоящее, будущее, и моя в ней, втиснувшаяся в угол сиденья и не желающая иного, кроме как ехать и ехать, сжимаясь от грохота...

Однажды вечером я возвращался с урока от ученика, живущего в районе «Бауманской», чувствуя привычную вязкую усталость, когда движешься, точно опутанный липкой паутиной, и еще какое-то добавочное глухое раздражение, в котором высвеченные фонарем на полсекунды золотые царапины дождя на черном стекле автобуса оставались на глазной сетчатке, как застрявшие занозы. В вестибюле метро некрасивая девушка в толстых очках играла на скрипке незнакомую мне мелодию, больше всего похожую на одну из тем, звучащих в аду, куда глюковский Орфей спускался за своей Эвридикой, но сильно перевернутую. Я прошел мимо, и мелодия засела во мне, поймав меня на свой извилистый крючок. На эскалаторе отголоски скрипки еще были слышны, но и дальше, на платформе, пока в ожидании поезда я разглядывал в нишах фигуры солдат, партизан и шахтеров, навязчивая мелодия не стихала у меня в ушах. Фигуры выступали из ниш навстречу друг другу, точно из-за кулис на сцену, расправив плечи, выкатив колесом груди, как будто их отлили в бронзе в тот самый момент, когда они набрали полные легкие воздуха, чтобы запеть. И когда поезд въехал на станцию, в его грохоте я услышал их легшие на неотвязную мелодию прорвавшиеся голоса. Это был ураганный хор, неуклонно набирающий силу, поднимающийся все выше и выше по мере того, как поезд, оставив станцию позади, набирал скорость в тоннеле. Он не перекрывал гул поезда, но и не заглушался им, я понимал, что он на самом деле и был им — гулом, ставшим музыкой. Скорее на кольцо, там все будет снова в порядке!

Но когда на «Курской» я пересел на кольцевую, хор не стих, наоборот, к мужским голосам присоединились женские: плачущие, умоляющие, жалующиеся, разгневанные. Не найдя сначала свободного места, я опрометчиво встал спиной по ходу движения, и мне тут же начало казаться, что поезд не едет по горизонтальному тоннелю, а вместе со всем голосящим в апокалипсическом ужасе хором низвергается вниз, к центру Земли. Над зашедшими от страха женскими голосами воздвигались мужские, злорадно-торжествующие, затем женские вновь брали верх. Это была нескончаемая fuga, беспрерывно нагнетающая пафос опера московского метрополитена — метропера, как сократили бы в годы, когда начиналось его строительство. Станции менялись, как декорации сцен.

После того как я сел на освободившееся место, головокружительное падение прекратилось, но сила размытой мелодии продолжала нарастать от одной станции к другой. Мелодия, впрочем, скоро сделалась неразличима в ничем не управляемом многоголосье, только обрывки ее иногда всплывали на его поверхность. Отдельным пронзительным женским голосам удавалось возвыситься над общей лавиной, но надолго их не хватало, и кипящая звуковая лава вновь поглощала их. Это была смесь всех когда-либо слышанных мной опер, сплошной сумбур вместо музыки. Больше всего мне хотелось, закрыв глаза, погрузиться в нее полностью, и я уже готов был порвать последнюю связь с действительностью, когда увидел пьяного, приближающегося ко мне по вагону. Он шел, едва не падая, цепляясь за поручни, матерясь и наступая на ноги пассажирам. Еще раньше, чем как следует разглядеть его, я узнал Гурия. Где-то он уже успел схлопотать по морде: рот его был разбит, губы распухли и слиплись. Белый плащ весь был заляпан грязью. Пьян он был настолько, что я даже не мог понять, признал он меня или просто плюхнулся рядом, потому что место оказалось свободным. Сначала он сидел молча, медленно клонясь в мою сторону, затем осторожно разлепил языком спекшиеся губы, так что между ними образовалась темная трещина, точно лопнула кожура сгнившего помидора, и я услышал:

— Это она из-за меня... Мне назло... Специально... Я ей сказал, когда уходил, что вечером приду, чтоб пол помыла... и не пришел... Не вышло... — Гурий развел руками. — Она, когда газ открывала, думала, что я приду и все обойдется... Попугать меня хотела... А я взял и не пришел... Загулял немножко...

Несколько раз Гурий пытался выпрямиться, но в конце концов сдался, и голова его ласково легла ко мне на плечо. «Не вышло...» — еще раз повторил он и сонно выругался. Я сидел, замерев, его мокрые волосы щекотали мне шею. Последний раз у меня на плече так лежала Ирина голова. Ощущение чужого тела, расслабившегося до полного доверия, чужого виска на плече напоминало о совершенно забытом мной за последнее время чувстве покоя. Мы потеряли с ним одно и то же, он даже больше, чем я, и так же, как я, он винил себя в происшедшем, что уменьшало часть моей вины. Общая потеря объединяет... Метропера притихла, продолжая звучать лишь смутным фоном на заднем плане сознания. Вдруг Гурий издал рычащий звук, горло его раздулось, ликующий хор оглушительно взмыл ввысь... Я успел вскочить, и его вырвало в основном на пол вагона, но спасти недавно купленные брюки мне все-таки не удалось.

Этот случай оказался последней каплей, которой не доставало моей решимости порвать замкнутый круг. Жить, ничего не меняя, дальше было невозможно. Я предпринял необходимые шаги и после некоторых хлопот, полезных для меня хотя бы тем, что позволяли отвлечься и ни о чем другом не думать, оформил по не вполне подлинным документам выезд в Германию. В России меня больше ничто не удерживало.

6

В Германии «болезнь Некрича» пошла у меня на спад. Сама по себе перемена обстановки сыграла, возможно, решающую роль. В московской атмосфере, очевидно, присутствовало что-то способствующее развитию болезни, она была вся заражена вирусом Некрича. В Германии же, среди честных немецких вещей, не норовящих обернуться декорациями, как в некричевой квартире, и не претендующих на то, чтобы представлять эпоху, как у Лепнинского, я сразу пошел на поправку. Улучшение началось, возможно, еще в Москве — метропера, как я понял задним числом, была кризисом болезни, ее высшей и переломной фазой, — но по-настоящему почувствовал я его уже после пересечения границы с первой порцией *Bratwurst mit Kohl*, запитой рюмкой *Jägermeister*'а. Случались, конечно, и рецидивы, когда, например, зачитавшись какой-нибудь книгой у прилавка книжного магазина, я не мог, оторвав от нее глаза, понять, как здесь очу-

тился и что делаю в этой незнакомой мне стране среди совершенно чужих людей. Но замешательство продолжалось, как правило, не больше минуты.

Очень помогала в борьбе с «болезнью Некрича» работа над начатой в Москве рукописью. Благодаря ей вопрос о том, сколько ложек сахара класть в чай или, может быть, положить вместо сахара масло и соль, как калмыки, меня больше не мучил, потому что, садясь за нее по утрам, я получал себя готовым вместе со всеми своими вкусами из уже написанных страниц. Лишние вопросы отпадали сами собой.

Местом жительства из предложенных мне в посольстве вариантов в память о Некриче я выбрал Мюнхен. Мне понравилась провинциальная роскошь его модерна, помпезность Леопольдштрассе, английский сад, студенческий Швабинг, мосты через Изар с грудастыми каменными бабами, а всего больше — бесчисленные бирштубе, биргартены и кнайпе. Слушая в кафе разговор за соседним столиком двух немцев — один в бакенбардах, другой в круглых битловских очках, — обсуждающих за кофе со сливками политическую ситуацию где-нибудь в Алжире или Конго, я думал, стыдясь своей аполитичности: «Это и есть Европа».

В первую же неделю я наткнулся на улице на бывшего однокурсника, с которым не виделся лет десять. Я сказал ему, как, мол, странно, ни разу за много лет не пересечься в Москве, чтобы встретиться за границей. «Ничего удивительного, здесь все русские рано или поздно встречаются, — ответил он, — как на том свете».

С его помощью мне удалось снять сравнительно недорогую комнату недалеко от центра. С соседом мне, правда, не повезло: он учился в музыкальной школе и то и дело с чисто немецким упорством принимался терзать свою скрипку, мешая мне работать. Но и здесь нашелся выход: я обнаружил неподалеку русское кафе, открытое семейной парой из Петербурга, где днем было всегда пусто, и стал уходить писать туда. Эмигранты начинали собираться только к вечеру, а по-настоящему людно там бывало лишь по выходным и в пятницу, мне рассказывали, что в эти дни выступают даже специально приглашенные музыканты, но с меня хватало соседской музыки, и в выходные я в кафе не появлялся. Отношения с хозяевами заведения сложились так хорошо, что они то и дело пытались угостить меня пивом за свой счет. Когда у меня не хватало силы воли отказаться и вместо обычной кружки я выпивал две или три, на страницах рукописи среди реальных лиц возникал маленький Некрич в армячке и лаптях, или его покойная бабушка, или они вместе. Как-то с пьяных глаз я чуть было не ввел в повествование даже дедушку Некрича, но, протрезвев, не смог разобрать написанного и вынужден был все перечеркнуть.

Иногда, особенно когда дело доходило до эпизодов, связанных с Ириной, я, вместо того чтобы писать, целыми часами глядел в окно кафе, вспоминая ее. Поверх немецкой улицы с велосипедистами и машинами я видел нашу первую встречу в вагоне метро, когда, уже прижатый к ней, не решался ее узнать, движение, которым она, стиснутая со всех сторон, откидывала волосы с глаз, страх одиночества на ее лице, когда мы растерялись в толпе... В такие дни мне, как правило, не удавалось написать ни строчки, зато напивался я так, что едва находил дорогу домой.

Ирина показывает мне кофту и бусы на некричевой квартире, снег в окне у нее за спиной... задев локтем дверную ручку, бьет в отместку ногой мою дверь... подняв голую руку, разглядывает браслет старухи костюмерши... Затяжной немецкий дождь за окнами кафе. Велосипедисты проезжают в непромокаемых накидках, мокрые красные руки на руле... Охота им колесить в такой ливень... Еще одно темное, пожалуйста...

На трезвую голову я не мог смириться с приблизительностью памяти, с тем, что она мне, в сущности, не подчинялась, вспоминая то, что вспоминалось, а не то, что хотелось мне, и никогда не достигая точности, в которой я нуждался, —

точности прикосновения. В большинстве случаев я не мог восстановить Иринных слов, сказанных при той или другой встрече, а если какие-то фразы все же всплывали в сознании, то мне не хватало интонации, выражения произносящего их лица. Без этого они оставались, как подписи к кадрам немого кино. «Я их всех зову семёнами». «Почему ты надо мной смеешься?» «Некрич сказал, что я погибну при взрыве». «Мне себя не жалко, на мне все как на кошке заживает». «Теперь тут все мое. Я у себя дома». «Проще смерти и быть ничего не может...» Память и была немым кино, чередой беззвучных картинок с подписями, не хватало только тапера. Некрич ссутулился над пианино в дальнем углу кафе, видимый со спины, едва различимый в полутемном помещении (на самом деле, конечно, просто кто-то лишь немного на него похожий), открыл крышку и заиграл тот самый вальс, сочиненный не то его дедом в перерывах между заседаниями одесского расстрельного трибунала, не то соседом снизу Иннокентием Львовичем, теперь уже не имело никакого значения, кем именно, вальс был до слез хорош... Ирина записывает мой телефон на ладони... накрывает рукой мои пальцы на своем шраме... задумывается на постели с колготками, надетыми на одну ногу... задерживает, поправляя волосы, пальцы у виска... прижимается щекой к стеклу... Дождь на улице не кончался, Некрич играл в почти пустом кафе как будто для самого себя. Закончив, он поднялся и, с каждым шагом увеличивая степень своей реальности, прошел через зал ко мне.

— Привет,— сказал он и присел на край стула, как будто не решаясь претендовать на большее место в действительности.

— Привет,— я ответил.— Ты что, живой?

— Как видишь. Может, хочешь потрогать?

Я потрогал его за протянутую руку.

К этому моменту я был уже слишком пьян, чтобы удивиться по-настоящему. Удивление осталось поверхностным, а в глубине возникла смутная мысль, что в этой малопонятной мне стране все возможно, и те, кто умер там, каким-то образом продолжают жить тут...

— Откуда ты взялся? — спросил я, чувствуя за собой право несомненно живого не церемониться с тем, кого своими глазами видел накрытым с головой на носилках.— Тебя что, взрывной волной сюда выбросило?

— Типа того. Смотри... точнее, слушай.— Некрич выставил левую ногу из-под стола, закатал брючину выше колена и покачал в воздухе черным ботинком: коленная чашечка издала отчетливый железный скрип. Затем он подвигал правым плечом, и я расслышал металлическое пощелкивание. — У меня половина суставов искусственные. Меня врачи по частям собрали. Я как с самолета сошел, так сразу и слег в больницу. Так что мне тоже досталось, но ничего, уцелел, как видишь. Ты же понимаешь, что если был хоть один шанс уцелеть, то этот шанс мой.

«Почему?! — подумал я.— Почему твой, а не ее?!»

— Это что! Я тут недавно в газете прочел, как самолет упал, все пассажиры вдребезги, а единственному ребенку на борту хоть бы хны.— Некрич, как всегда, испытывал потребность доказывать правдоподобность своих слов и самого себя.— Все потому, что ребенок! Девочка. Даже не ушиблась. А у меня, видишь,— он открыл рот и постучал себя ногтем по зубам,— две трети зубов новые. Зато из лучших материалов, я ими железо перегрызть могу!

Он схватил было и потянул в рот, чтобы продемонстрировать, что не хвастает, мою шариковую ручку с железным корпусом, но в последний момент я успел ее вырвать.

— Не надо, я тебе и так верю, ты же знаешь. Кого же я тогда на носилках под протыней видел?

— Иннокентия Львовича, соседа снизу. Я потом у другого соседа узнал.

— А-а... Дремучий лес Пицунды.— Я вспомнил последний рассказ старика.

— Не суждено ему было своей смерти дожидаться... Еще Ирину, наверное, видел... — несмело добавил Некрич.

— Да.

Он отвел глаза, поерзал на стуле, сдвинувшись на самый его краешек, провел пальцем по ободу пивного стакана, подобрал — аккуратист — скорлупку от фисташки и положил в пепельницу.

— Но мы-то с тобой,— он посмотрел на меня заговорщицки, как смотрят на соучастника,— мы-то живы! — И прищелкнул правым плечом.

Мне был понятен его взгляд, хоть я и не хотел бы, чтобы он был мне понятен.

Мне вдруг сделалось пронзительно ясно: он не просто жив, а жив так, что по сравнению с ним я только смутно догадываюсь, что это значит: быть живым! Во мне лишь изредка прорывалось на поверхность это скрытое под привычкой к жизни чувство сладкого ужаса, которое стараешься подавить как можно быстрее, точно проглатываешь обжигающую рот замороженную ягоду, соскальзывающую вниз по пищеводу гаснущим очагом холода, словно высвечивающим изнутри все твои судорожно сжимающиеся кишки: «Мы-то живы!» Жизнь в исполнении Некрича была нечистой тайной, которую нужно было тем более скрывать, что она находилась у всех на виду и была всем доступна, только руку протяни. Секрет его неуязвимости состоял, может быть, еще и в том, что он начисто лишен был привычки к жизни, никогда ее не имел, всегда и везде воспринимал сам факт своего существования как нарушение общего закона, исключение из всех правил... Он сидел передо мной, глядя в сторону, скромно так улыбаясь, одним своим ненавязчивым — по-прежнему на краю стула — присутствием если не перечеркивая полностью, то делая безнадежно устаревшим все, написанное о нем в почти уже законченной рукописи на столе между нами. Живехонький...

— А здесь ты что делаешь? — спросил я, имея в виду кафе.

— Играю по пятницам и выходным, подрабатываю. Сегодня в виде исключения договорился на четверг, завтра мне в другом месте нужно быть, Ульрих подкинул работенку... Помнишь Ульриха?

— Специалист по рекламе? Помню, помню... Куда ж он тебя устроил?

— Пока не скажу, если все получится, через неделю сам увидишь. Тьфу-тьфу-тьфу, чтоб не сглазить! Спасибо немчуре, не дал пропасть. А то я совсем уже загибался. Я ведь почти все деньги на лечение ухнул, оно здесь невероятно дорогое. Ободрали меня как липку, из больницы я вышел без гроша. Кем только ни вкалывал: и на фабрике, и в магазине, и афиши расклеивал, и объявления разносил... И такая меня тоска от этой работы поедом ела, ты и вообразить себе не можешь! Гнали меня отовсюду, а я каждый раз, когда меня увольняли, думал про себя: ничего, зато мы вас в войну отодрали как сидорову козу! И надо будет, еще выдерем! Да!

Некрич откинулся на спинку стула, заняв его наконец целиком, точно неожиданный прилив патриотических чувств придал ему смелости.

— Нет, гражданина мира из меня не вышло. Не бывает гражданина мира без гроша в кармане. Бедные все — патриоты, не по бедности, а от потерянности. Пролетарии всех стран только и ждут повода друг другу морды намылить! Ты не представляешь, какие со мной приступы патриотизма тут случались! До слез, до мурашек по коже. Только лишившись родины, понимаешь, что она на самом деле для тебя значила! Все мы балансируем на одной ноге на гребне настоящего, и за что нам еще держаться, скажи мне на милость, как не за мысль о величии Отечества?! А то, что миллионы убиты задешево, так это когда было! И главное, что с того?! Государство — это миф, а память о его жертвах, может, и способна победить время, но против мифа она бессильна! Ты со мной не согласен?

— Не знаю... — Я пожал плечами. — Смотри чья память...

— Ах, как я по Москве скучаю! Даже не ожидал от себя, что так буду скучать.

— По чему больше всего?

— По театру, конечно, я же без него, как улитка без своего дома. По метро нашему. Да по всему, даже по ночной пельменной, по дяде Ваде Петушкову... А это что у тебя такое? — Некрич кивнул на пачку бумаги.

— Все то же... Пытаюсь разлучить легенду и действительность...

— Бесплезно, зря стараешься. Обо мне?

— С чего ты взял?

— Да о чем тебе еще писать, если не обо мне?

— В самом деле...

— «Правда о Некриче»? Ну-ну... Дай прочесть.

Я задумался, решая, стоит ли давать ему рукопись. Хозяин кафе делал Некричу знаки из-за стойки, что пора ему возвращаться к пианино — посетителей прибавилось.

— Хорошо, бери, только верни поскорее.

— Отлично! — Некрич взял пачку бумаги со стола и зажал ее под мышкой. — Ну мне пора снова за работу...

— Постой, Андрей, когда увидимся?

— Тсс!.. Я не Андрей, а Борис, ты что, забыл?.. Чиркин я, Борис Чиркин. Здесь же через неделю. Все, ауфидерзейн.

Табурет у пианино показался ему низким, он повозился с ним, пытаясь поднять сиденье, и, не сумев этого сделать, положил на него мою толстую рукопись и уселся сверху. «Живой, гад!» — возникло во мне эхом прошлых мыслей. Некрич заиграл «Подмосковные вечера», десяток эмигрантов по разным углам кафе вяло захлопали.

Неделю спустя он выложил передо мной рукопись на стол в русском кафе.

— Ну как? — спросил я как можно безразличнее.

— Пиво мне возьмешь?

Я подозвал официанта и заказал ему пива.

— И орешки, не забудь про орешки.

— Хорошо. Еще порцию фисташек, пожалуйста.

Некрич бегло перелистал пухлую кипу бумаг, как работник крупного издательства, и у меня сразу возникло подозрение, что он ничего не читал.

— Ну что тебе сказать... — Он выдержал паузу, отхлебнул пива. — Недурно. Местами даже очень недурно. Гораздо лучше, чем я ожидал. Нет, ей-богу, ты небесталанен! Твоя встреча с Ириной в битком набитом вагоне меня очень повеселила, и как Коля с Толей за мной в театре гонялись, ты неплохо описал. Октябрьские события тоже убедительно вышли...

— Твоя похвала — для меня высшая награда, — сказал я.

— Про твои шуры-муры с Ириной я, как ты понимаешь, догадывался, для меня это не было неожиданностью... Но вот почему ты не сказал мне тогда, что она не просто хочет покончить с собой, а при помощи газа? Я бы в жизни туда не сунулся!

— Что теперь говорить... кто ж мог знать?

— Да, говорить уже поздно... Все в прошлом. От целой жизни остались одни обугленные стены. Все это кончилось.

Некрич допил пиво и поставил стакан на рукопись, показывая этим, что ему все с ней ясно, открывать ее он больше не собирается — она тоже принадлежит к числу вещей, оставшихся для него в прошлом, в московской жизни.

— Но главное-то у тебя не получилось. А жаль...

— Что именно?

— Я, — просто ответил он. — Меня там нет. — Некрич кивнул головой на кипу бумаги. — Так, отдельные черты, кое-какие мои фразы, но в сумме я из этого не складываюсь, нет. Увы. Стать моим Эккерманом тебе не удалось. Я и

от тебя ускользнул, как от Гурия с Лепнинским. Ты думаешь, это так просто, да, взять пару моих словечек, два-три жеста, и готово дело?! То же мне, Босуэлл нашелся! Думаешь, раз я тебе одно про своих предков говорил, а Ирине другое, так ты меня и поймал? Хрена с два! Тебе кажется, что ты меня описал, может, ты даже напишешь, что меня выдумал?! А сам-то ты кто? Откуда ты взялся?! Это благодаря мне ты писатель, это я тебя кем-то сделал, а не ты меня! Кем бы ты был, если б не я? Да никем! Пустым местом! Нолем без палочки!

— Зря горячишься, ты прав, я ж не спорю...

— Ну ладно... У меня, собственно, времени в обрез. Моя девушка меня ждет. Настоящая баварская *mädel**! Хочешь познакомлю?

— Не сейчас.

— Зря, тебе бы понравилась. В смысле внешности она Ирине, может, и уступает, зато в искушенности... Не сравнить! И покладистая. Скажу тебе по секрету,— Некрич наклонился ко мне через стол,— имею матримониальные планы. У ее отца своя булочная...

— Ах, вот оно что! — Я понимающе кивнул.

— У нее есть свободная подруга. То, что тебе нужно. С косой, натуральная Гретхен. Пошли?

— В следующий раз.

— Ну как знаешь.— Некрич поднялся, чтобы уходить.

— Подожди, Андрей, то есть Борис, то есть... Скажи мне всего одну вещь напоследок, только правду...

— Разве я тебе что-нибудь, кроме правды, хоть раз говорил?

— Скажи, эту музыку... вальс, который ты тут неделю назад играл и раньше в Москве... Кто его все-таки на самом деле сочинил, твой дед или Иннокентий Львович?

— Зачем тебе это?

— Сам не знаю... Хочу хоть что-то знать наверняка.

— Я его сочинил. Я сам. Ясно? — Глаза Некрича на секунду выросли, точно он хотел взглядом вдавить в меня свои слова.— Я!


Мой сосед-скрипач уехал на неделю к родным, и, пользуясь тишиной, я целыми днями работал дома, заканчивая книгу. В тот день я с утра бился, пытаюсь описать одну из наших встреч с Ириной, когда она ни с того ни с сего возникла у меня на пороге с пылающими щеками и взмокшим лбом, кашляющая так, точно у нее что-то рвалось в груди. Она прикладывала ладонь ко лбу, чтобы определить температуру, и встревоженный ее взгляд был при этом обращен внутрь. А если она смотрела на меня, глаза ее беззвучно просили: «Скажи мне, что со мной?»

Когда к вечеру мне стало наконец казаться, что я подобрал правильные слова, я вдруг понял: это не она. Описанное мной лицо принадлежало той самой похожей на Ирину актрисе из порнофильма, это ее глаза спрашивали кого-то там в кадре: «Что со мной?» — по какому-то совсем другому поводу. На ее растерянность, или испуг, или что там еще испытывала эта дрянь по ходу идиотского сценария, я убил целый день! Память, лишний раз доказывая свою независимость, подстроила мне ловушку: Ирина вела себя иначе, похоже, но не так. Внезапно у меня возникло подозрение, что и в остальных сценах тоже действует на самом деле не она, а та актриса из дрянного кино. Я бросился перечитывать написанное. Нет, это было наваждение, я просто устал, переработал, нужно было отдохнуть, пойти пройтись. Во всех эпизодах Ирина была узнаваема, я мог дать руку на отсечение, что она была именно такой. И все же мне было ясно, что чем дальше, тем труднее мне будет отделить ее лицо от лица с экрана: «болезнь Некрича» не прошла, а затаилась, перейдя из острой в хроническую форму и продолжая скрыто свою разрушительную работу.

* *mädel* — девушка (баварск.).

Я вышел на улицу. Было около десяти, темно, безлюдно и холодно. В это время прохожих на мюнхенских улицах можно встретить только в пешеходной зоне в самом центре города. Спрятав в карманы мерзнущие руки, я зашагал по переулку: его абсолютная пустота вызывала желание заорать во все горло, пугая немцев у телевизоров за закрытыми ставнями, или пройти на руках по брусчатке.

Я увидел его, едва зайдя за угол. Некрич смотрел на меня немного искося, улыбаясь своей знаменитой улыбкой. Волосы небрежно сбиты на лоб, замшевый пиджак перекинут через плечо — таким он встретил меня на рекламном плакате на прозрачной стене трамвайной остановки. На другой стороне на остановке встречного трамвая висел еще один плакат: Некрич в джемпере от «Хуго Босс», на небритом лице смесь дешевого немецкого демонизма с чисто московской придурковатостью — такой шутит-шутит, а может и ножом пырнуть. Это, значит, и была новая работа, на которую устроил его Ульрих! Куда бы я ни шел, я везде натыкался на него, снятого то по пояс, то в полный рост, то одно лицо крупным планом занимало весь плакат. Некрич небрежный, вальяжный, скалящийся, оглядывающийся, Некрич в пуловере, в плаще, в свитере, примеряющий галстук, вывернув голову в одну сторону, подбородок в другую: Некрич оккупировал, пока я писал, весь Мюнхен. В этот безлюдный час город принадлежал ему. Куда б я ни свернул, повсюду меня встречал его нарочито косящий взгляд. Он преследовал меня на каждой улице, тарачился с любой трамвайной или автобусной остановки. Под его издевающимся конвоем я дошел до центрального вокзала. Здесь я увидел гигантское лицо Некрича, лыбящееся на торцовой стене восьмизэтажного универмага. Вокруг горла у него был замотан шарф, на голове клетчатая кепка — реклама все того же «Хуго Босс». Я чувствовал себя на мостовой напротив него, как Гулливер на ладони у великана. Каждый зуб в его приоткрытом рту был в два раза больше меня, любой волосок трехдневной щетины толщиной с мою руку. Увеличенное до таких размеров, лицо Некрича не только было лишено своего привычного выражения, но теряло вообще всякий смысл, утрачивало все человеческое. Изначальная чудовищность наглядно проступала в его чертах. Повернувшись спиной, я не мог не чувствовать его у себя за плечами. От него было никуда не деться. Нужно было срочно что-нибудь предпринять. Войдя в помещение вокзальных касс, я взял билет на завтра на поезд «Мюнхен—Москва», хотя и не сомневался в том, что это бесполезно.



Светлана АКСЕНОВА–ШТЕЙНГРУД

Дует вселенский сквозняк...

* * *

Слово «потоп» было, конечно, допотопным.
В нем медленно топали динозавры и мамонты
первого мира.
Но, даже если прибавить
слово «всемирный»,
все равно невозможно представить
мощь стихии, сметавшей сушу,
как пылинку со стола застывшей Вселенной.
Мощь воды, поглотившей грешных людей
и безгрешных тварей,
которых расточительный Бог уничтожил просто так,
из любви к искусству
создавать и рушить
и смертельной скуки
приговоренного к бессмертию.
Но Бог дал слово, что второго потопа
не будет!
Он пунктуален и слово свое
не нарушит.
И потому миллионы других избранников Божьих
уничтожил огонь и сладкий дым печей и камер.
И снова тоска неподвижна, как серый камень.
Тоска ненасытной любви.
Мой праведный Боже
столько раз упомянут всуе, что, наверно, икает.
И теперь такие игрушки Его забавляют,
которые не оставляют сомнений в успехе
Его самой главной, последней Его потехи.
На зеленом платье своем
Земля не латает прорехи.
Для чего? Если снова огонь. И вода.
И медные трубы.
И ожогом предчувствий обуглены наши губы...

* * *

Ветер бешеным волком вонзает клыки
В апельсиново-сонные вены ветвей.
Кровь зеленая брызнет травой у асфальта.
Провода, словно струны охрипшего альта.
И уставились окна очами сычей.

Сколько русской осенней и пьяной тоски
У внезапных израильских ливневых зим.
Желтым снегом лютуют песчаные бури.
И погромы небес в грозовой партитуре
Страх столетий смывают, как въевшийся грим.

* * *

Было ли в жизни моей опрометчивой,
было ли в юности провинциальной
это предчувствие доли астральной,
дальней дороги, звездой отмеченной?
Дальней дорогой, из гетто до вечности,
можно уйти легкомысленным дымом,
снова родиться и стать невредимым,
не вспоминая дымящие печи,
не ощущая дыхания Млечного,
не понимая, что — поздно ли, рано ли —
скажет Господь о призванье избранника:
не с чемоданами — с давними ранами
дальней дорогой бредущего странника...
Было ли в жизни моей опрометчивой,
было ли в черной тоске человеческой
это слепое предчувствие встречи —
встречи нечаянной, или случайной,
или начертанной строгой судьбой:
желтой звезды моей, вещей и вечной,
с красной звездой моей роковой!
Мне не отречься от них, не отринуться —
все разделила — и с той, и с другой!
Выжить — возможно, умом бы не сдвинуться
в звездном безумии над головой!

* * *

...И вот ты остаешься без корыта.
Оно давно, давным-давно разбито,
Но все же было видимостью быта,
В нем бултыхалось время домовито

И пузырилась розовая пена
Обманных, переменчивых надежд.
Душа, как канарейка в клетке, пела,
Сверкали мысли белизной одежд.

Но жизнь от частых стирок отсырела.
Постыдно-непослушным стало тело.
Метафора, как прачка, устарела,
За прошлое цепляясь неумело.

А нас иные травят трафареты,
И кнопкой управляется планета.
И голое пространство Интернета
Не оставляет места для сонета.

* * *

В пустотах жизни — столько шелухи
И шелудивых слов, лишенных смысла!
А молоко земли заветной скисло,
И мед горчит, как старые грехи.

Не пахнет морем синий кипяток,
Удушливый шараф не пахнет ветром.
И вечный лист застыл на вечной ветке,
А человек, как прежде, одинок...

* * *

Нет, не журавлем и не синицей —
я была неперелетной птицей,
серым воробьем под серым небом
городским, где серые асфальты,
где в ошметках суеты и фальши
мы искали крохи наслажденья
невозможной и чужой свободой
запредельных стран, страстей и странствий,
за которой остальные птицы
улетали осенью туманной,
для чего-то снова возвращаясь
к серым небесам и сирым лицам.
Я была неперелетной птицей!
А потом взяла и улетела!
Обморок восторга затянулся,
непонятно, можно ли очнуться
и себя почувствовать живую
в этом нарисованном пейзаже,
где художник краски слишком щедро
разбросал, не думая о вкусе,
где цветы похожи на искусство
импрессионистов, самых буйных,
где плывет по голубому небу
пышное, раскормленное солнце,
плещется неправдашнее море
и растут неправдашние пальмы.
Воздух раскален, как в русской бане, —
до остервенелого озноба
памяти, ныряющей в сугробы
белого, неправдашнего снега.
Парься, задыхайся в всхлипах сленга —
этой смеси неправдоподобной
хриплого восточного — с расейским,
бесшабашно оглушившим звуки
в многозвучной тишине разлуки.
Прошлое местами поменялось
с будущим. И невозможно слиться
с тенью, что сквозит легко и тихо
по лилово-розовым аллеям.
Мне понятно, почему однажды
ты покинул этот мир нарядный
и ушел туда, где только камни —
высохшие слезы поколений,
изгнанных, растаявших, упавших

в гулкую, глухую прорву неба.
Здесь тоска лежала неподвижно,
дожидаясь твоего прихода.
И казалось в пустоте, что слышен
невесомый стон тысячелетий.
А теперь — зеленый и беспечный
город возвышается над бездной
шумного, неправдашнего мира,
как мираж — над путником усталым,
жаждущим общения в пустыне.
К миражу — надежно прислониться,
потому что Вечность доказала:
миражи прочней любых строений,
городов, правителей и храмов.
Миражи пустыни иудейской
и холмов библейского Шомрона,
миражи истории еврейской,
книжной разрушительной идеи,
спутницы любого созиданья!

* * *

...Так усложняется душа,
так уплотняется минута,
спрессованы страда и смута,
и этот бег, едва дыша,
и эти речи — без затей!
(Рядиться незачем, Господь!)
Нарядов требует лишь плоть,
а дух свободен от страстей!
Он видит в мельтешенье дней,
бегущих слепо к завершенью,
все несвиданья, несвершенья
зеленой юности моей.
И душит тяжкий сон ночей:
что сон о будущем — напрасен,
что только этот мир — прекрасен,
а тот — свободен от страстей...

* * *

Ничего нет печальнее утра —
просыпаешься в лодочке утлой,
именуемой комнатой. Смутно
на душе. Вспоминаешь сначала
свои дни — без руля и причала.
И заботы твердишь, как зубрила,
остальное — покорно забыла.
И зудят, как осенние мухи,
облепившие беды и боли.
И надежней, чем муть бормотухи,
отупляет привычка к неволе.
И толчешь неподвижную воду
в прохудившейся ступе природы.
За окном — ни светила, ни света,
зябкий воздух, спрессованный с ветром,
да какие-то всхлипы и стоны
в загазованных хлипких газонах.

И стоят городские пейзажи,
словно зоны, залитые грустью,
и вопят о бесстыжей продаже
среди бетонных болот захолустья.
Запустенье столичное давит,
заселяет свободные дали.
И живут в тесноте и обиде
те, которых Господь не увидел.

Только ночь изменяет рисунок —
серый мрак превращается в сумрак.
Все иное — и души, и зданья —
перед черной дырой Мирозданья.
Перед вечной загадкой свеченья
бред дневной потеряет значенье.
И воскреснут любимые тени.
И надежда. И явь сновидений...

* * *

Дует вселенский сквозняк.
Видимо, хочет согреться.
Стать человеческим сердцем —
Вот что задумал, чудака!

Вот что затеял, бедняк,
Осатанев от пространства,
Вечности вечного чванства,
Где ни восторгов, ни драк.

Будь осторожней, сквозняк!
Гость неприютный, минутный,
В этом пристанище смутном,
В сердце моем — кавардак!

Вязнет пустяк за пустяк,
День превращая в пустыню.
Лучше уйди. Ты простынешь,
Мой простодушный сквозняк!

От человеческих затей
Лучше тебе отказаться.
Очень легко затеряться
В космосе наших страстей.



Р а с с к а з ы

АМУРЫ НА ГРУДИ ПЕРЕКАТИ-ПОЛЯ

Сдуло с крыши облако снега, оно покружилось за окном и стало оседать. Он опешил. Это было единственное за весь день событие, вторгшееся в его жизнь.

Она не звонит, потому что наряжает елку. Как долго нарядить елку? Маленькую голубую датскую елку.

— Разреши мне, пожалуйста, нарядить елку, — попросила она. — И я позвоню.

Она не звонит, потому что наряжает елку. Маленькую голубую датскую елку, долгостоящую, дорогую. Она не звонит час, два...

Это очень трудно — нарядить маленькую голубую долгостоящую елку.

Муж, уходя, вставил елку в крестовину, остальное — она сама.

Она и украшала елку как самою себя, а это долго. Она украшала, как ребенка, которого у нее нет, а это неумело. Она творит елку, не понимая, что та уже сотворена не для нее и не ею. Она просто не любит меня.

— Ты что? — звоню. — Не любишь меня?

— Ой, прости, мой дорогой, я наряжаю елку и просто забыла, я перезвоню, ну, пожалуйста.

И кладет трубку.

Что поделаешь — не ревновать же к елке, к этой дорогостоящей палке с голубыми локонами хвои, к этой смертнице, приговоренной быть красавицей совсем недолго, ровно столько, чтобы пережить снег, зиму, Новый год, а потом быть низвергнутой по лестнице, как девке, за космы, без объяснений.

Разве это стоит моего ожидания?

И я стою, потрясенный, и тысячелетия моей жизни стоят рядом и смотрят растерянно.

— Не любит, — шепчут мне. Я оглядываюсь, шепчущий исчез, а слово осталось.

Не любит.

— Ты не ревнуй, — говорит он лежащей рядом. — Она меня не любит.

И смотрит в глубь тела на сердце ее, бьющееся в тоске.

Она лежит, развернувшись к нему, подперев кулаком щеку. Когда он видит очертания ее тела под простыней, ему хочется кричать: «Земля! Земля!»

Огромной и беспомощной собакой лежит она под градом его признаний.

— Ее растлил отчим, — говорит он. — Десятилетнюю. Она несчастна.

— Это она сама рассказала тебе — об отчине?

— Да.

— Зачем?

В тени ее лица я лежу и думаю — зачем? Я не прошу вчерашней верности. Вообще ничего не прошу. Не надо мучить меня прошлым. Но потом понимаю: они молодые, все с ними, у них пока еще нет прошлого.

Это я отдаляю события в глубь веков, делаю своих возлюбленных старше, а у них нет прошлого, только сгусток неразжеванной жизни за щекой: сладкое, горькое — все вместе, и теперь они проталкивают меня в эту недожеванную жизнь, а я не дамся, да, да, не дамся.

Он задремал рядом с ней и увидел поле в снегу, а по полю, загребая ботинками снег, бежит мужчина без шапки. Волосы его седо-желтые. Мужчина бежит к лесу. Лес стоит на горизонте ровно, как на параде, но стоит только мужчине приблизиться, как лес бросается от него врассыпную, по-солдатски.

Я становлюсь на колени, вскидываю пистолет, перемещается его сутулая широкая спина, что мешает мне выстрелить?

— Ложись ко мне на плечо, — говорит она. — Ты кричишь во сне. Тебе что-то снилось?

Они родились в один день, месяц, год. В это нельзя поверить, но они родились. И это были очень неблагоприятные день, месяц, год. По расположению планет. Они родились предрасположенные ко всякой хвори.

Вслед за одной извлекли ее мертвого брата-близнеца, другая — крупная, круглолицая — с пуповиной вокруг горла, успели перерезать.

Это он сообщил им, что они родились в один день. Обе очень расстроились — не хотелось делить праздник. Но жили с тех пор, прислушиваясь друг к другу, как соседи за тонкой перегородкой.

Его любовь чуть-чуть припахивала больницей. Так ему повезло. Он водил их по врачам. Благо врачей за жизнь поднабралось немало.

Врачам нравился его выбор, может быть, даже щегольство выбором. Они его избранный одобряли.

— Когда же вы наконец угомонитесь? — посмеивались врачи.

Не переставали удивляться, обнаруживая все новые и новые хитроумные болезни его подруг: всякие там гепатиты, полиартриты, грыжу позвоночника, всю эту плату за появление на свет, но лечить не отказывались, даже когда понимали, что попытки безнадежны, как не отказывается чинить старинные часы часовщик, понимая, что жить им осталось недолго. Пусть отзовутся боем!

— Меня всю жизнь имеют, понимаешь? Не спрашивают — хочу ли я, понимаешь? Всю жизнь, вот с такого возраста имеют, имеют, имеют, и ты такой же!

— Зачем она все это говорит тебе? — морщишься ты. — Неужели другим нечего было бы рассказать?

Я не знаю. Я присматриваю орудие убийства.

Я приду ночью в поселок, где он живет, и сяду прямо в снегу у забора и так просижу до утра, прислушиваясь, пока он не выйдет с авоськой, полной бутылок, и не сверкнет презрительно глазами, проходя мимо меня, а я оторву примерзшую задницу и двинусь вслед за ним к магазину, где он, жалко ухмыляясь, начнет выставлять бутылки на прилавок одну за другой, подчитывая вместе с продавщицей вслух, что ему причитается, но не успеет досчитать, как на числе семнадцать, обязательно на числе семнадцать рублей двадцать три копейки, я подойду и выстрелю ему при всех в голову, тут же, в сельпо, изгадив прилавок, продавщицу, себя грязными непохмелившимися мозгами вперемешку с кровью, а потом, пока еще не схваченный и гордый, выйду на крыльцо, чтобы впервые за жизнь вобрать в себя воздух утра с той силой, которую заслужил человек от рождения.

— Кто дал вам право убивать отца моего брата и сестры? — крикнет она на суде. — Кто вы такой, чтобы устраивать самосуд? Вы ничем не лучше него! Я что, возмездия у вас просила? Вам мало, что вы преследуете меня своей любовью? Я замужняя женщина, а вы прелюбодей и убийца.

Она права. Я виноват.

— Успокойся, миленький, успокойся. Зачем ты терзаешь себя? Тебе что, мало моей любви?

— Я не знаю, я ничего не знаю, я отомстил себе, понимаешь, мне кажется, я мщу самому себе.

Рыдания душат его, он разрыдался внезапно, не предполагая, что у него получится.

«На что это похоже, черт его знает, — думает он. — На что это похоже?»

— Маленький, маленький, до чего же ты маленький!

— Это хорошо, что у нее муж, — говорит он. — Так безопасней. Я никуда не уйду от тебя.

— Боже мой, — спрашивает она, — неужели я так мало для тебя значу?

День идет насмарку. День идет насмарку — навстречу чему?

В квартире грязно. Ей не хочется прибираться. Она знает — придет та, другая, сядет на вычищенный ею диван, станет пить из вымытой ею чашки на протертой ею клеенке.

Ей не хочется прибираться, а ему не хочется жить.

«Надо сказать, чтобы ушла. Как сделать, чтобы ушла? Не обидев».

— Я сейчас уйду, — говорит она. — Когда ты хочешь, чтобы я вернулась? Мне бы не хотелось ночевать у родителей.

— Конечно, конечно. Я встречу тебя в одиннадцать у сквера.

— Мне предварительно позвонить?

— Конечно, конечно.

И она уходит. И он не забывает поцеловать ее. И она уходит улыбаясь, только слишком сильно хлопает дверью.

Это раздражает его, но он сдерживается.

Надо успеть прибрать в квартире, не оставлять следов недавнего присутствия другой женщины, пусть думает, что он один.

Пограничными глазами шарит по полкам, чтобы ничего не пропустить.

Кольцо. Она нарочно оставила кольцо, предупредить — место занято. Ему становится стыдно собственных мыслей.

Он заталкивает кольцо между книгами. Прячет ее сумки глубоко в шкаф за одежду, оставляет только свое пальто; ее же сворачивает и кладет на самую верхнюю полку.

«Хорошо, что она хорошо воспитана, — думает он. — Никогда не позволит себе рыться в чужом шкафу».

Складывает в пакет косметику, прячет под грязное белье в ванной и тут же обнаруживает много пустых пивных банок под бельем.

«Снова пьет, — думает с ужасом. — Началось...»

И тут же торжествующе: «Пусть только вернется, я ей задам!»

Обнаруженное окрыляет его, теперь он с полным правом просматривает все закоулки квартиры, где могло зацепиться женское, родное, принадлежащее ей, запоминая, чтобы вернуть на место, когда та, другая, уйдет.

«Чего я хочу? — думает он. — Чего я хочу?»

Стерильно чисто, то есть, безусловно, очень неопрятно, но по-холостяцки убедительно, вызывает сострадание.

Он выставляет на лоджию цветы, подаренные ею вчера. Последний штрих.

«Обязательно спросит — откуда? Я давно не дарю ей цветов. Надо подарить».

И тут же: «Кому ей?»

Теперь можно сесть и начать ждать. Теперь можно ждать тысячу лет. Потому что она все равно не придет. Потому что у нее нет сердца.

А если придет, то начнет кричать, что ей плохо здесь, что все это ложь, ложь. И он будет умолять ее замолчать, а она сядет на циновку в передней и начнет стенать, как маленький изнасилованный ребенок, тоненько-тоненько, а он присядет рядом и начнет ее успокаивать, но так фальшиво, что она махнет на него рукой и уйдет. Уйдет, сильно хлопнув дверью.

Но пока он сидит и ждет. Ждет тысячу лет. Сменяется музыка — эры, направления, исполнители, поколения исполнителей. Он сидит и ждет.

Так надо — знает он. Так надо. Сидеть и ждать. И тогда она придет, потому что у нее есть сердце.

«Пожалуйста, — просит он. — Последний раз. Пожалуйста».

Телефон не звонит, только звон настенных часов и жужжание музыки.

Уж эта музыка! Он выключает ее.

Ровно в одиннадцать они встречаются у сквера. Она идет к нему, покачиваясь как пьяная. Он принимает ее к ее дыханию.

— Все хорошо? — спрашивает она, мертвецки бледнея.

— Ты что, снова?.. — начинает он.

— Не надо, — просит она. — Не начинай.

А потом, догадавшись, что никто не приходил, забегала по квартире, порозовела, развеселилась.

И тут зазвонил телефон.

— Я не могу! — кричит он, возвращаясь после разговора на кухню. — Не для того я оставил жену, детей, чтобы снова впасть в кабалу, в зависимость. Я свободен, совершенно свободен! Ты помнишь, сколько мне лет?

— Чего ты боишься? — спрашивает она. — Сам-то ты знаешь, чего боишься? Ведь ты чего-то боишься?

Мужчина в майке, спортивных штанах, босиком, волосы седо-желты, ходит по квартире и закрывает шторы. Перед тем как опустить следующую, замирает как бы в размышлении. Он в размышлении, хотя жена ушла и медлить нельзя.

Десятилетняя девочка сидит в углу на диване отвернувшись, чтобы не видеть, как наполняется квартира темнотой. Так она будет лежать со мной много лет спустя, отвернувшись. Что она вспоминает, когда лежит со мной?

А если она была счастлива тогда?

— Здоровой или больной — делаете ее вы, — сказал врач. — Мы бессильны. Слушайте, в ожидании вашего прихода она здорова. После — мы не можем ее разыскать. Забьется где-нибудь на подоконнике, здание у нас большое, и молчит. Слушайте, вы что, хотите свести ее с ума?

Он шел ее искать и находил, брал за руку и вел к свету, она ощупывала его лицо, как слепая, боясь, что он изменился, что исчезли складки и морщины с его лица, что он помолодел и вот-вот улетит.

— Куда ты? — спрашивает она. — Куда ты стремишься? Ведь я все равно полечу вместе с тобой.

— Тебе рано, — говорит он.

— В тот же день, — отвечает она.

Так они стоят друг против друга, а по коридору ходят больные в халатах. Есть выздоравливающие, есть и обреченные.

ТОЛЬКО ЖИВИ **РАССКАЗЫ ОБ ОТЦЕ**

Огурчик

— Скушай соленый огурчик! Ну, пожалуйста, скушай соленый огурчик!

И все это на фоне оперного театра с душераздирающими руладами из тысячи сверкающих окон.

Дался ему этот огурчик, откуда он его хочет достать — из кармана? Нет, из кармана он достает много бумажек, скомканных, надорванных бумажек, и среди них — целая, но тоже скомканная — билет, билет в театр.

— Скушай соленый огурчик, пожалуйста!

— Дался тебе этот огурчик! Где я его должен съесть — здесь или дома?

— Где хочешь! Он вкусный и не очень соленый, малосольный, ты любишь.

— Хорошо, я приду и съем.

— Почему не сейчас?

Честное слово, никакого огурчика я не вижу, хочу, пытаюсь увидеть, но не вижу. Кажется, он сам жует что-то — мороженое?

— Он прибавит тебе аппетит, ты плохо ешь.

Как объяснить ему, что я не хочу быть толстым, мне не поможет соленый огурчик.

— Зачем много есть, папа?

— Чтобы жить! Я хочу, чтобы ты жил!

Я тоже хочу, здесь наши желания совпадают. И тогда мы пойдем, хрустя огурчиками, на балет. И на базар — за огурчиком.

Театр дышит черной массой, а из окон — рулады, рулады.

— Как ты достал билет, папа?

— Да, я достал, ты же меня просил, на этот самый, как его... ну там еще ничего не говорят... ну же... забыл, как это называется!

— Балет, папа.

— А черт его знает, пусть называется как хочет. Директор нашего театра — мой хороший знакомый. Так ты категорически отказываешься съездить?

— Ты издеваешься надо мной, папа?

— Я? Пусть все так издеваются над тобой, я принес тебе билет, ты просил, его невозможно было достать, а ты говоришь — издеваешься!

«Все хорошо, — думаю я. — И море, и бульвар, и вот эти девушки, высекающие из булыжников искры, спускаясь к бульвару, все хорошо».

— Скушай соленый огурчик, пожалуйста, что тебе стоит?

И я ем. На самом деле, как отказать любимому человеку, он принес мне билет на этот... как его... на что и сам не знает, и если он просит о такой мелочи, почему не съездить?

Но, Боже мой, я не помню, я не вижу никакого соленого огурчика, дался ему этот соленый огурчик. Хорошо, я съем.

Голубое утро кувырдается перед театром, или это рябит у меня в глазах море, солнце, все сразу, вместе, или я слишком напряженно вслушиваюсь в заушное пение из окон?

— Не понимаю, что ты нашел в этом, как ты его называешь... балете? Могли спокойно посидеть, ты рассказал бы мне про свои дела.

— Я еще успею рассказать тебе, папа.

— Ты всегда говоришь — успею, успею, а я ничего не знаю про тебя.

Ему жарко, он вытирает лысую голову носовым платком.

— Тебе понравился огурчик?

Боже мой, ну, конечно же, огурчик, я никак не начну его есть, где же он? Такой хрустящий, совсем малосоленный.

— Спасибо, папа.

— Правда, вкусный? Меня самого только что угостили. Хочешь, я принесу тебе много, целую банку? Ты будешь есть по утрам. Не каждый же день ты прилетаешь домой.

— А то пойдем со мной на балет, папа?

— Боже упаси! Чего я там не видел? На этот... как его... где поют, я бы еще пошел, а здесь я ничего не понимаю.

— А ты просто смотри, папа.

— На что смотреть? На них жалко смотреть — одни кожа да кости. Что ты смеешься? Старый дурак, да?

— Оба дураки. Что старый, что молодой.

— А то пойдем домой, поговорим...

— Я скушаю соленый огурчик...

— А почему бы и нет? Тебе не понравилось?

Он так тревожно спрашивает, а я не помню, я не помню никакого соленого огурчика, не могу вспомнить, театр, рулады, море, девушки, а огурчика нет, могу поклясться.

— Очень вкусно, спасибо, папа.

— Красивый город, — говорит он и оглядывает свое хозяйство, он живет здесь давно, и весь город, море, порт, театр — его хозяйство. — Правда красивый? Тебе нравится?

— Я здесь родился, папа.

— Кому ты об этом рассказываешь? — всхлипывает он и тянется за платком, скомканным, не очень свежим носовым платком.

— Пойдем, я провожу тебя, до начала есть еще время, — говорю я, и мы идем, он проходит рядом со мной несколько шагов, а потом мы расстаемся, он никогда не оглядывается прощаясь, не машет рукой, это я смотрю ему вслед, а он идет быстро-быстро, так быстро, что я, как ни вглядываюсь, как ни вглядываюсь...

Тогда я возвращаюсь к театру, сажусь на скамью и начинаю есть огурчик, очень вкусный огурчик, совсем малосольный, совсем.

Сикирамотере-трам-та-рам-та

Мне приснился отец. И тут я понял, что все неправильно, что все живы и первыми догадываются о бессмертии псы, проснувшись раньше меня.

— Что ты там поешь, ну-ка, ну-ка!

— А-а-а, ерунда.

— Нет. Ты пой!

Он начал снова:

— Сикирамо...

— Как ?!

— Сикирамотере-трам-та-рам-та.

— Как? — хохочу я. — Сикира...

— Сикирамотере-трам-та-рам-та.

Он тоже смеется и одновременно готов обидеться.

— Да ну тебя! Сам заставил.

Он так застенчиво смеется!

— Как это мило! — говорю я. — Научи.

— Не буду.

— Ну, пожалуйста!

— Хорошо, хорошо, только не смей больше смеяться. Сикирамотере-трам-та-рам-та трам-та-рам-та трам-та-рам-та.

— И это все? А дальше?

— Это все.

— Какая длинная песня!

— Меня научила ей твоя бабушка. Она сидела в кресле после удара и все время молчала, а потом я подслушал про сикирамотере.

— И ты не спросил ее, что дальше?

— Нет, она спела только это.

— А ты не спросил, кто научил ее это петь?

— Не приставай, пожалуйста.

— Тогда спой еще раз.

— Не делай меня сумасшедшим.

— Не буду делать. Спой.

И он поет. Странно. Он поет. Я слышу его голос. Он поет, как учила его бабушка: «Сикирамотере-трам-та-рам-та трам-та-рам-та трам-та-рам-та... Сикирамотере-трам-та-рам-та трам-та-рам-та...»

И больше я не слышу ничего.

Кто первый?

Скрипит кровать. Это он так готовится. Затаился. Прислушивается к моему дыханию. Нет, улегся. Боится встать. Меня боится. И правильно. Я приехал на каникулы. Даст он мне выспаться хоть один раз? Угомонился, кажется.

Пять утра. И так каждое утро, каждое утро. Комната маленькая. Между раскладушкой и родительской кроватью только стол, квадратный полированный стол. Я могу видеть их кровать из-под стола. Но мне не надо смотреть, я знаю — лежит, думает, прижав костяшки пальцев к губам. Лысая голова на подушке. Мыслитель! Затылком к нему — мама.

Пять десять. Неужели даст доспать? В кои веки я дома. Я до-сы-паю... Скрип. Надо опередить, опередить. Трудно. Силы покинули меня.

Спускается на пол левая его нога, нащупывает тапочек, скоро очередь правой. С ней посложней — не задеть маму. Сейчас, сейчас.

Сейчас он опустит обе ноги — и тогда... Что — тогда? Тогда будет поздно. Он вскакивает проворно, будто проверяет прочность ног, прижимает к глазам будильник. Что он разглядывает? Двадцать пять шестого. Я определяю не глядя. Боже мой, каждое утро, с ума можно сойти.

Теперь он попытается выйти из комнаты, не задев по пути мебель.

Ему это удастся. Но дверь в кухоньку необходимо прикрыть. А она скрипит. Скрипит дверь. Под этот скрип мама и я, мы лежим по-разному. Я — затаясь, она — раздраженно жмурясь. Ей вставать в семь.

Половина шестого. Я должен, должен, не для того я приехал домой, чтобы мой старик... Сейчас, сейчас, еще минуточку, ну, пожалуйста.

Теперь дверь в коридор, она без скрипа, вылезает из петли туалетный крючок, можно еще полежать чуть-чуть, но быть на стреме, быть на стреме! В туалете он не задержится.

Так и есть — застучал по коридору. Теперь — лови. Каждая минута дорога. Тридцать пять шестого.

Я вскакиваю, задеваю виском угол стола. Больно, но некогда. Где брюки, куда он сложил мои брюки? Недовольно вертится мама. Но молчит. Ей вставать в семь.

Что он там делает в коридоре? Почему тишина? Не успею, неужели я не успею, он должен был вернуться за чайником. Да, но какой может быть чайник, если я с вечера не набрал воды? Который час? Еще тридцать минут, еще целых тридцать минут во дворе из крана будет течь вода. Потом ее выключат до вечера, лето, но еще целых тридцать минут мы полуодетые, полусонные выстраиваемся во дворе внизу у крана с пустыми ведрами в руках. Очередь, слава Богу, очередь, конечно же, я успею.

Нахожу брюки, застегиваю сандалии, натягиваю майку. Прохожу мимо спящей мамы, оттуда — в коридор.

Тишина. Какая-то паутинная тишина — с велосипедами на стенах, с паучками в тени коридора.

Сосед-астматик зашелся в кашле, скрипят половицы, шуршит чердак надо мной. Мы на третьем этаже, высоко, черный ход, крутая лестница, над нами только чердак, он всегда шуршит, будто оползает. Кто там — коты?

Надо торопиться — вода в это время идет быстро, бьет струя в ведро, очередь подходит. Я тороплюсь. Застегиваю ширинку, спускаю бачок. Выхожу на кухню взять ведра. Никого. Тишина. Один только чайник собирается начать кипеть.

И стоят два больших жестяных ведра, наполненные до края.

Индийская музыка

Как мы искали эту волну! Вместе. Вырывая приемничек друг у друга. У него не хватало терпения дождаться, пока я найду.

— Дай, я сам!

— Возьми себя в руки, папа.

— Дай сюда. Мама права — ты ничего не умеешь!

И не находил. Кидался по шкале из стороны в сторону и не находил.

— Где она есть?

— Папа, дай мне.

— Ну на, на.

А потом сидел рядом, сложив руки на коленях, и ждал.

— Конечно, ты же умней меня!

— Не торопи, папа. Возможно, у них перерыв.

— Перерыв?!

Этого он не мог перенести. Они должны были петь, они должны были петь для него, и петь тоненькими, почти девичьими умильными голосами: «Муль-мулькинадек мульмульки мульмулькинадек мульмульки а-а-а-а-а».

И тогда он расцветал, глаза его светились, он был доволен, представляете, доволен, спокоен, представляете, спокоен!

Вот что с ним делала индийская музыка!

Рукой он вертел в воздухе, как куколкой, в разные стороны, куколка танцевала, куколка подпевала той, что по радио...

Хвала тебе, индийская музыка, негромкая, нежная индийская музыка, несколько мгновений покоя, звучи, звучи.

Мы сидим и слушаем индийскую музыку, а потом приходит мама и говорит, что мы бездельники.

Ты мне не сын

Он улыбается ей, улыбается, а потом, когда мы отходим...

— Ты что, в самом деле вздумал это сделать?

— Что?

— Жениться!

— Конечно, папа.

— Ты негодяй! В кого ты такой негодяй? Мы с мамой порядочные люди.

Ты ее видел?

— Кого?

— Ну эту девочку, на которой собираешься жениться?

— Что ты говоришь, папа? Мы только что...

— А если видел, то как ты мог? Она ребенок, посмотри, какой она ребенок, ей можно дать десять лет. Сколько ей лет?

— Девятнадцать.

— Не может быть, ей не больше четырнадцати, тебя обманули. Ты посмотри на нее, она крохотулька, совсем крошечка, вот такая...

И он показал — размером с ноготок.

— Что ты будешь делать с ней? То же, что со всеми твоими бабами? Как ты будешь смотреть этому детенышу в глаза, ты видел ее глаза?

— Что ты хочешь, папа?

— Я хочу, чтобы ты взял свое предложение назад. Если ты, конечно, не законченный мерзавец. Если ты этого не сделаешь, знай, я тебя прокляну, ты мне больше не сын, слышишь, ты мне больше не сын!

Я сделал это. Мы поженились. Он привык, хотя и смотрел на нее с состраданием. Через несколько лет я полюбил другую.

— Что, ты хочешь опять жениться? Тебе мало одной трагедии, нужно еще?

— Я люблю ее, папа.

— Ты всех любишь, ты у нас уродился таким любвеобильным, никак не пойму, в кого ты уродился? Ты понимаешь, что изуродовал жизнь человеку, понимаешь?

— Понимаю.

— А теперь ты лезешь в петлю, ты ее видел? Ты ее хорошо рассмотрел?

— Кого?

— Твою новую. Ты видел, что она красавица?

— Тебе, правда, понравилась?

— Мне — не страшно. Она всем понравится — вот что страшно. И тогда тебе — конец, с ней не пройдут те номера, что с этой. Ты видел, какие у нее глаза?

— Конечно, папа.

— Это с ума можно сойти! И тебе этого мало? Если ты женишься на ней, знай, я тебя прокляну, если ты женишься, мама пришлет на свадьбу телеграмму о моей смерти. Если ты женишься, ты мне больше не сын.

С той, второй, мы прожили больше двадцати лет. И счастливо. Родили двух детей и разошлись. Отец умер. Я собираюсь жениться снова. Хорошо, я — не сын тебе, папа. Только живи.

После драки

Я всегда буду помнить, как мы бежали. Нет, сначала мы, конечно, победили, но потом бежали. О, как мы бежали по пустырям, мимо освещенных дач, вверх — вниз, вверх — вниз. Мы бежали, хотя за нами и не гнался никто. Но мы бежали, и я слышу разрывы его дыхания внутри.

Он молчит, только держит меня за руку и тянет за собой все быстрее, быстрее.

Мы бежали на дачу. Только что уехали оттуда и вот уже возвращаемся, да же бежим. Он — недовольный собой, я — торжествующий.

Я не помню, что хорошего он сделал, но что-то очень-очень хорошее. Если его спросить, он тоже не вспомнит, пусть знают враги, он — ураган, мой папа, его нельзя дразнить, иначе он сорвется, и тогда...

— Как ты его, папа? — говорю, заглядывая ему в лицо. — Пусть не задирается к старым людям, правда? Так ему и надо, правда?

Он молчит, не отвечает, мы бежим все быстрее, быстрее, пока не прибегаем на дачу, где нас, конечно же, не ждут, только отчаянно всплескивают руками и помогают ему снять порванную рубаху, под которой я вижу его кровь и еще чью-то.

В потемках

— Что?!

В темноте что-то рухнуло. Он стоит посреди комнаты и смотрит невидящими глазами. Такое с ним впервые, есть надежда, что это он со сна.

— Тебе что-то приснилось?

Он дрожит, озирается то на луну, то на лампу.

— Тебе что-то приснилось?

Он делает движение, должное что-то объяснить и вернуть в прежнее состояние, но почему-то не получается. Кто его напугал? Начинаю искать и не нахожу.

— Что тебя напугало?

— Сядь рядом, — просит он. И я сажусь.

— Я тебя разбудил? — спрашивает он.

— Ничего.

— Нет, я тебя разбудил, мне, наверное, что-то приснилось. Мне никогда ничего не снится. Когда ты улетаешь?

— Не скоро, папа.

— Это хорошо, — говорит он. — Спасибо тебе.

И целует мою руку.

Это так неожиданно неловко, что я отвечаю тем же. Мы сидим на даче посреди веранды и целуем друг другу руки.

— Ладно, спи. Тебе надо поспать, ты устал.

— Мне уже надоело отдыхать, папа.

— Ты должен хорошо отдохнуть у меня, — говорит он. — На всю жизнь. Чтобы я был спокоен. Ложись.

И мы ложимся. Я гашу свет, но еще долго не сплю, прислушиваясь к его дыханию. Он засыпает сразу, а я долго еще не сплю, до самого рассвета, а я еще долго лежу даже после его ухода, а я еще долго лежу с открытыми глазами и боюсь встать, чтобы не огорчить его.

Болезнь

— Да, он стал гораздо хуже.

— А? — растерянно. И вертит головой.

— Хуже? Он просто ничего не понимает. Один Бог знает, как я с ним измучилась за это время.

— А? — хочет что-то сказать, но не получается. И вертит головой.

— Ничего, ничего, пока он будет в больнице, вы отдохнете.

— Я за ним каждый вечер кал выносила.

Плачет, а потом кричит на него: «Что ты смотришь, что ты смотришь, старый дурень?»

— А? — совсем уже растерянно не то им, не то ей.

— Не надо на него кричать, не волнуйте его. Видите, он волнуется. Сейчас, мой дорогой, мы пойдем с вами вниз...

— А?

— Посидим на скамейке, приедет машина, и мы поедem в больницу, вас должны посмотреть врачи, хорошие врачи.

— А?

— Зачем вы ему объясняете? Видите, он совсем ничего не понимает.

— Ничего, ничего.

Перед тем как выйти из комнаты, попытался ухватиться за дверной косяк, но его слегка подтолкнули сзади.

— Ничего, ничего.

И только внизу на скамейке, когда один из провожающих сказал: «Потерпите, скоро сын ваш приедет», — он повернул голову и внятно спросил:

— Когда?

Призрак

Отец наш Шекспир с чемоданом, и все с тех пор у меня с чемоданами. И совсем не страшно. Да, да, совсем не страшно. Я опоздал из Геттингема.

«У-у-у», — завывает ветер, и где-то на крыше мы оба, высоко, срываemые ураганным ветром. Только он еще почему-то с чемоданом, а я нет.

Ветер свирепый, слов не слышно, да и не умеет он говорить стихами, вообще не умеет говорить. Так что перевод не нужен. Он только хочет сказать, но не умеет и улыбается застенчиво.

Что он таскает в этом проклятом чемодане, у него никогда ничего своего не было, откуда взялся этот чемодан?

Я протягиваю руку, ветер отбрасывает меня к самому краю. Но он не помогает мне подняться, он улыбается и думает: «Он так играет». Обо мне. Это он привык думать так обо мне.

И ни одной звезды на небе, как сказал бы старик наш Шекспир, если бы умел говорить. Но он сидит на чемодане, маленький, лысый, чем-то ужасно довольный, и вытирает лысину платком, совсем не страшный, такой же.

Ночь. Мрак. Молнии драконят небо. Аплодисменты.

Без названия

Я, как ныряльщик, набрал воздуха — и на дно, вынырнул уже, а дышать боюсь. Такая натура.

— Что ты там видел? — спрашивают меня. А как ответишь с закрытым ртом? А если бы даже и открыли, ничего не скажу. Под пыткой. Потому что я такое видел, такое...

Ах, мои славные, зачем вам оно? Вещественности никакой, подтвердить не сумею. И не стану. Это моя жизнь. Блеск помню и звучание. Не музыку, а звучание. Ласковое и дерзкое. А больше ничего. Ни одного лица. Если только отцовское. Да и то в профиль. Это я вам уже слишком много рассказал. А больше там ничего нет. Даже течения.

Одно беспокойство — не поджидает ли там меня кто? А если поджидает, почему я его не вижу? Почему не удерживает оно меня поговорить? Ведь там поговорить не с кем! И я к нему, одинокому, спускаюсь и спускаюсь. О Господи, Боже мой, живи долго! Господи, переживи нас всех.



С м о т р и т е л ь

РАССКАЗ

Последним рейсом навигации я плыл на теплоходе из Красноярска в Игарку.

К концу второго дня берега раздвинулись так широко, что не стало видно отдельных деревьев — только желто-зеленые разводы лиственниц и кедров покрывали скаты сопок.

Я часами стоял на палубе и повторял про себя одни и те же слова. «Судьбе было угодно...» «Вновь я посетил...» Продолжения этих фраз растворялись в дымке, ткущейся из холодного пара, которым исходила вода. Мы подплывали к местам, где я не был двадцать лет.

Закат получился ранним — солнце закрыли поднявшиеся от горизонта облака.

— К непогоде, — сказал проходивший мимо помощник капитана.

Я спросил его, скоро ли будет поселок Фомка.

— Фомка? Нет такого. Ярцево километрах в тридцати.

Значит, совсем рядом, подумал я и стал всматриваться в берег, освещенный небесным светом. Скоро впереди мелькнул огонек бакена, от которого по воде в мою сторону пробежала дорожка. Наверное, этот бакен я удерживал багром в штормовую енисейскую ночь, пока Николай менял в нем сгоревшую лампу.

В тот вечер нас забыли на правом берегу. Закончив работу, мы спустились к воде и стали ждать лодку. Прошел час, другой. Темнело быстро. Мы разожгли костер. Сначала он горел ровно, потом заметался, зашипел первыми крупными каплями дождя. Начиналась буря. Огромный валун, под который мы перенесли костер, не спасал. Под сильным ветром волны налетали на берег совсем по-морскому. О лодке мы уже не думали. И удивились, когда услышали рокот мотора. Это была не наша казанка, а лодка бакенщика. Деревянным днищем она тяжело ударилась о берег, и мы вчетвером еле развернули ее обратно. «Ложитесь на дно!» — крикнул бакенщик, и лодка стала врезаться в волны. Лежа, мы вычерпывали воду, боясь поднять головы от страха. Я был ближе всех к бакенщику, и он сунул мне в руку багор, когда зацепил бакен. Оказывается, он менял сгоревшую лампу.

— Да кому он нужен сейчас! — крикнул я и увидел, как в свете фонаря свирепо сверкнули глаза бакенщика.

Плыли мы долго. Наверное, от одинаковости происходящего страх сменился тупой мыслью: неужели доплывем? Когда привязали прыгающую лодку к мостку и кто-то из нас попытался хлопнуть бакенщика по плечу в знак благодарности, тот отдернулся и зашагал к своей избушке.

Назавтра он впервые пришел в наш палаточный лагерь знакомиться, хотя мы давно знали от местных староверов, как его зовут. «Испугались?» — спросил он, имея в виду наше ночное плавание. Николай отказался от еды и с удовольствием стал пить крепкий чай. Он пил его маленькими частыми глотками, не переставая, пока не допил всю огромную кружку. И ушел, с улыбкой оглянувшись по дороге.

Николай стал нашим перевозчиком — вместо немного Васьки, сына лесника. Васька был пьян всегда. Он и ходил, казалось, оттого, что должен был

упасть. Передвигал ноги — и шел. В поселке было три занятия: ловили на самоловы рыбу, охотились и варили медовуху. Медовуху мужики пили вместо воды.

— Утопит-та вас Николай, — ревниво шутил Васькин отец, старик Афанасий, в очередной раз принося нам то осетра, то стерлядь в обмен на водку или спирт.

Мы никогда не спрашивали Афанасия: как же так, старoverы — и такое нарушение самых главных обычаев? Пьют из любой предложенной посуды, избы в запустении... Мы с грустью и так все понимали. Тем более что сами были частью той внешней силы, которая нарушила здешнюю жизнь. Мы проводили изыскания для огромной плотины, которая через несколько лет должна была затопить эту землю.

— Енисей городить? Дурак-та придумал, а вы убиваетесь! — смеялся, озорно шурясь, Афанасий.

В Фомке было дворов десять. Жили все родственники — Фомины. И название поселка, и фамилия пошли от основателя, много лет назад спасавшего здесь старую веру. Об этом рассказал нам Афанасий. И махнул рукой:

— А т теперь все равно. Васька-от ничего не знат, как рыба. — И Афанасий опять улыбнулся, засветившись лицом, будто сказал что-то веселое.

Как-то глубоко прятал он горе своей памяти. По-природному, как зверь. Чувствуя, что ничего поделать не может. В домах ведь были старые книги — я видел, как переносили их старухи, держась за них по двое. И красивые старoverы были, и чисты лицами, бородами, одеждой, вековыми избами. Правда, ремонтировали они их уже по-новому — не таежными бревнами, а брали из опустевших домов, выворачивали из стен. Возле таких изб и тропки были полукругом — обходили пустыньность. Вся жизнь поделилась пополам: осталась старая часть, и настойчиво входила новая. Через мужиков — пьянством, совместной работой с геологами и в лесничестве, торговлей рыбой. Женщины оставались прежними. Они и с нами не заговаривали, а когда встречали, то сразу кивали в сторону мужиков — мол, если надо, обращайтесь.

Николай жил в своей избушке на отшибе. Постепенно, с каждым днем, мы начинали понимать природу враждебности между ним и старoverами.

— Изменники! — немногословно припечатывал он своих соседей, если при нем заходил разговор о местных.

И мы понимали, что он имеет в виду.

— А, этот-та? Шут-та? — отвечал весело Афанасий, когда мы спрашивали, давно ли живет здесь Николай. — Давно.

И говорил это с таким оттенком сожаления, что становилось понятно: вот награди Господь соседом. Смеялся Афанасий над всем, что было в Николае. Передразнивал походку, говорил, что тот ест только крупы, да и то почти сырыми, все читает да пишет, «ослепнет-та да и помрет слепой».

Николай долго к нам приглядывался, не меняя своего поведения — переправлял, когда надо, на другой берег, возил в Ярцево за двадцать километров за продуктами, пил с нами чай. И все — почти молча. Но мы уже знали, что Николай действительно много читает, пишет, — я застал его за этим занятием, когда однажды постучал в открытую из-за духоты дверь. Николай вышел поспешно, загородив собою свою каморку.

Жила в поселке старуха из бывших ссыльных. Работала в войну переводчицей у немцев, отсидела свое и осталась жить рядом с кержаками. Тихая, маленькая старуха, похожая на худенькую кошку, — странно в ней было то, что она ходила на охоту. Однажды я встретил ее в тайге недалеко от поселка, куда отошел в надежде подстрелить рябчиков. Она улыбнулась мне, разминувшись на тропке, и у меня мороз пошел по коже: страшновато было видеть старухку с маленькой винтовочкой и болтающимися у пояса тушками птиц.

К этой старухе приплывала из Ярцева дочь Мария, которую Афанасий называл немкой. Мария привозила матери продукты, заодно исполняя обязанности почтальона. Нам доставляла письма, старикам — пенсию. Оставливалась она не у матери, а у Николая.

В такие дни Афанасий обязательно приходил к нам. Показывая на избушку Николая, над которой вился дымок, старик довольно ухмылялся:

— Кашу с немкой варят-та. Опять свадьба.

Видя, что мы не разделяем его насмешливого тона, Афанасий серьезно добавлял:

— За всеми смотрит-та. А сам развратничат.

Выпив водки, старик уходил.

Постепенно Николай стал засиживаться у нас подольше. Растягивал чаепитие и потом еще долго вертел в руках кружку, играя чайнками. Его присутствие нам не мешало, мы привыкли к молчанию Николая. Занимались своими делами — кто перематывал катушки, кто готовил аппаратуру, кто мыл посуду. Все же появлялось со временем ощущение, что Николай наблюдает за нами. Это было вполне объяснимо: человек привык жить один, и посторонняя жизнь была ему интересна. Мы говорили — Николай прислушивался к словам, мы что-то делали — он следил за нашими движениями. Иногда мы вовлекали его в разговор. Его ответы нас забавляли.

— Николай, а почему ты так питаешься? Не ешь же ничего.

— Еда — тоже вещь, в ней своя структура. Я не могу ее нарушать. Жидкость можно — она переливается, не изменяясь.

— А крупы?

— Ну это по крайней необходимости.

— А вот сгниет продукт — структура все равно нарушится.

— Это само по себе. Без меня.

И Николай чуть заметно грустно усмехался.

Мы не расспрашивали его о жизни, но за многие дни по крупицам разговоров узнали, что Николаю за сорок, когда-то он учился в университете и был отчислен «за сосредоточенность», которую еще и обследовали в больнице, и с тех пор давно уже живет сам по себе.

Что ж, немного необычный человек. Как и живущие в Фомке староверы. Как и мы сами. Все немного необычны — друг для друга. Такие разговоры мы вели между собой вечерами, после работы.

Иногда Николай болел, слабел дня на два. И мы заметили, что это случается с ним примерно через одно и то же время. Между обострениями — так мы привычно называли приступы его непонятной болезни — дней пять он словно накапливал силу, и глаза его становились ясными и пронзительными. Свет в его избушке в такое время не гас до самого утра. Потом Николай с каждым днем выглядел все более усталым, вялым и в конце концов отлеживался два дня. Как ни странно, в это время ему помогал обслуживать бакены Васька — тайком от отца. Бакены загорались и гасли автоматически, но надо было следить за их исправностью. И вот Васька заходил к Николаю, брал бинокль и оглядывал Енисей. Если какой-нибудь бакен был темен, Васька заводил свою моторку и плыл к нему. Странной казалась эта дружба двух молчунов — на нее не повлияло даже то, что мы дали Ваське отставку в пользу Николая. Что-то было в их отношениях трогательное и настоящее, безо всяких условностей. Заметно было, что Николай безропотно и даже с готовностью принимал человеческую заботу о себе. После отъезда Марии приходил к нам в чистой рубашке, с удовольствием поглаживая свежие, еще не обмасленные рукава. Когда я подавал ему кружку с чаем, лицо Николая на мгновение вспыхивало детской благодарностью.

В те дни, когда Николай болел, погода портилась. Сопки на противоположном берегу закрывались рваными ползущими облаками, с небольшими перерывами шел дождь, а на показания нашей аппаратуры не следовало обращать внимания. Николай болел, мы отдыхали.

Однажды вечером, после грозы, прибежал к нам испуганный Васька. Решив, что он не находит себе места от желания выпить, мы налили ему немного спирта. Васька, конечно, выпил, но был так же испуган. Он звал нас к Николаю.

Мы поспешили, захватив аптечку. Дверь избушки была открыта нараспашку, внутри пахло гарью. Чайник валялся на полу, возле раскрытой дверцы плиты были рассыпаны потухшие уголья. Николай лежал на топчане. Он слабо улыбнулся нашему приходу, проговорил:

— Васька испугался.

— А что случилось? Тебе плохо? — Мы показали аптечку.

Николай слабо поднял руку.

— Не надо. Ничего особенного не случилось. — Он помолчал и добавил: — Они часто прилетают. А Васька дверь распахнул. Она в плиту выкапталась.

— Кто? — Нам тоже становилось страшно.

— Шаровая.

Мы переглянулись. Форточка в маленьком окне была открыта, содержимое плиты было выброшено изнутри — так кочергой не выгребешь. Может, и правда — шаровая молния?

Николай, казалось, засыпал. Лицо его было спокойно. На всякий случай я потрогал пульс. Тихий, но нормальный. Мы закрыли форточку, двери и уши.

По дороге Васька махал руками, пытаясь изобразить, как все было. По красноречивым жестам можно было восстановить всю картину. Васька открыл дверь и увидел святающийся шар, который сразу же улетел, всосался в печку. Раздался хлопок, и волна воздуха оттолкнула Ваську назад.

Мы вылили ему остатки спирта, положили спать в хозяйственную палатку: возвращаться домой один он боялся. Долго еще сидели под кухонным навесом, говорили. Люди мы ученые и всему происшедшему нашли кое-какое объяснение. Обострения болезни Николая, конечно, связаны с погодой. А место, где мы находимся, — необычное, это видно по нашим изысканиям. По руслу Енисея проходит материковый разлом. После грозы вполне могут быть подобные явления — если это и впрямь была шаровая молния. Все, оказывается, можно объяснить. К концу нашей беседы выглянули звезды — к хорошей погоде.

Назавтра, взяв с собой пачку чаю, мы пошли к Николаю. В избушке было прибрано, на плите закипал чайник. По лицу Николая было видно, что болезнь отступила.

— Испугались? — спросил он, как и тогда, после штормовой ночи.

— А ты? — спросил я, высыпая в чайник всю пачку.

— Я привык. Я их часто вижу. Как опишу предмет, так она и прилетает. Повисит в воздухе — и улетит. Вчера вот Васька спугнул.

Мы поняли, что надо просто послушать, без вопросов.

Николай взял со стола тетрадь.

— Вот недавно последнюю запись кончил. Соль описал. Каждую вещь надо описывать. Подробно, до самой структуры. Иначе ничего не получится. Ведь вокруг, — он обвел взглядом комнату, — бесконечность.

Мы стали пить чай. На полке над столом была целая стопка одинаковых общих тетрадей. «Бесконечность», — пронеслось у меня в голове.

— А код памяти я в прошлом году открыл. И даже заснял.

Мы разинули рты.

— Чем заснял?

— Вон, фотоаппаратом.

На гвозде висел обычный «ФЭД». В подтверждение своих слов Николай достал пакетик фотографий, пристегнутых к тетради, на которой было написано «Память».

Мы передавали друг другу фотографии. На черной, словно засвеченной бумаге, передержанной в проявителе, иногда угадывались пунктирные линии, похожие на бегущий по ночной воде огонек.

— Это иллюстрации. Само описание в тетради. Я возил в Новосибирск, в академию. Там целый институт над этим работает. Постоял на лестнице. Смотрю — бегают все мимо в белых халатах. Думаю, что у людей хлеб отбирать? И вернулся.

Мы поглядывали друг на друга: кто первым скажет какое-нибудь осторожное слово?

— Почитать бы.

— Почитаете. Время есть. Только у меня тут тоже не до конца все сделано. Отдельного человека не могу уловить. Про кержаков написал. А про

человека не смог. Вместе люди живут — как получается. Код памяти стирается. Наложение. Но почему он гаснет в отдельном человеке? Вот загадка.

— Ну, наверное, потому, что общее складывается из частных... — попытался я помочь Николаю и натолкнулся на осуждающие взгляды своих спутников.

Сиди и молчи, говорили их глаза. Не подливай масла в огонь.

— Заблуждение! Ничего не складывается — это не арифметика! Код памяти должен только крепнуть в отдельном человеке! Хорониться, но крепнуть.

Мы кивали. Осторожненько, с пониманием, чтоб не обидеть. Если Николай разыгрывает представление и втайне, хоть краем сознания, понимает свою роль, то мы участники представления. Если он говорит серьезно, то тут уж тем более надо быть тактичными. Главное — человек поправился, выглядит бодренько. У нас — свои дела. Впереди еще столько работы.

Когда мы шли обратно, кто-то сказал:

— Начитался Шукшина. Чудик.

Никто не поддержал. Но и спорить не стали.

Странно — после этой встречи мы с Николаем охладели друг к другу. К разговору о его занятиях не возвращались, почитать его труды не просили, он не предлагал. Николай еще раза два приболел, и в эти дни мы все-таки с напряжением поглядывали в сторону его избушки. Ничего, все обошлось.

Когда в последний день Николай отвозил нас в Ярцево к пристани, на полдороге заглох мотор. Мы плыли по течению, изо всех сил по очереди гребли веслами — нас обгонял теплоход. Если бы мы не успели, пришлось бы ждать еще несколько дней. К пристани подплыли, когда теплоход собирался отчаливать. В спешке мы не смогли даже попрощаться с Николаем, хотя собирались с ним выпить крепкого чаю из термоса. Я еле успел передать ему термос через бортик. Мы прокричали Николаю, что приедем в следующем году. В ответ он молча помахал рукой.

Больше мы сюда не вернулись. Проект плотины закрыли. Наверное, действительно его придумал какой-то дурак.

Фомку я не увидел. Если бы жив был поселок, то мелькнул бы хоть одним огоньком. До самого Ярцева берег был темен. Только в одном месте, как раз напротив бакенов, светила с берега красная сигнальная лампочка. Может быть, там и стояла когда-то избушка бакенщика?

Ярцево накрыл туман. Пошумев винтами при швартовке, теплоход затих на ночь. Внизу негромко плескалась вода. Казалось, теплоход зацепил за собой и дебаркадер и плывет вместе с ним в тумане по течению.

Я лежал в каюте, глядя через иллюминатор на размытый шар близкого фонаря. Попытался вспомнить лицо Николая и не мог. Его взгляд забрал всю мою память — я видел глаза, привыкшие всматриваться пристально, по одной тончайшей линии. Глаза смотрителя.

Утром я сошел на берег. После недолгих разговоров с местными узнал, что Фомка давно прекратила свое существование. О Николае и Марии никто не помнил.

Мы отплыли только вечером. Каждый огонек бакена с отраженной на воде дорожкой напоминал мне фотографии, которые когда-то показывал Николай. Его снимки кода памяти. И я думал, словно ухватившись за соломинку настоящего и глубокого чувства: всегда, где бы я ни видел в ночи мерцающие далекие огоньки — окна чужих домов, дальние фонари вдоль прямых дорог или высокие холодные звезды, — необъяснимое и чистое волнение охватывало меня при этом.



Н а в а ж д е н и е

Элегия-2000

Не снятся ночью тюрьмы, и война
Бьет выборочно, как мишени в тире,
Еще в раздумье голод, а обман —
Как бесконечный сон, его вы сами
Стараетесь продлить по мере сил.
И ныне погибаете в квартирах
У весело горящего экрана
От голода — но голода души.
Тихонько вы друг друга испугались,
Слегка возненавидели — и вот
Из морга вам несут цветы и письма.
Не злитесь, братцы, — вместе нам лежать,
Хоть я бы предпочел тонуть в реке,
А не в болоте. Знаете, когда-то
Я, как и вы, любил везде гулять,
Особенно где детские площадки.
Ни в ком так не задумчивы глаза,
Так не прекрасно продолженье смеха,
Как в детях той страны, где сам простор —
Понятье, исключжающее жалость.
Послушайте внимательно, как труп
Выслушивает на похоронах
Признания в любви, — ведь ей так просто
Отныне проявить себя над ним.
Но вы еще не умерли. И вот
Вы ищете, кого бы вам опять
Возненавидеть. Я готов помочь.
(Себя самих уже не предлагаю,
Поскольку это пройденный этап.)
Вот, видите — приоткрываю дверь,
И, если вы погонитесь за мной,
Вполне догнать способны. Свежий воздух,
Возможно, вас немного отвлечет.
Вы, может быть, забудете меня,
Посмотрите разбуженно кругом —
И с бега перейду на шаг спокойный.
С площадки дети спросят, где их папы.
«Они, — скажу, — бразильский сериал
Сейчас досмотрят. Знаете?» — «Ага!
Мы тоже смотрим». — «Вот и позовут
Вас ужинать. Но только не шуметь!
Я их оставил в сложном настроеньи».
И дети, несговорчивые дети,
Помедлив, понимающе кивнут.

Когда замолчит ложь

И тогда они бросятся на нас,
 И мы бросимся на них,
 Отказываясь от ненужных слов,
 Только от слов одних.
 И те, кто останутся живы, мир
 Молча поделят на «мой» и «твой»,
 И снова в ночи запоем Шекспир,
 И все зарастет травой.

Двойник

Думая, что я сплю, вышел из-за угла
 Длинного, словно прощанье, шкафа.
 Если бы в замке был бы я сыном графа,
 Ты — молодым скелетом, взявшимся за дела,
 В коих не очень смыслишь. Я, упавая ниц,
 Стал бы молить о спасении души и взора...
 Музыка Гольбейна. Светлые пятна лиц
 Над полутемным шествием разговора,
 Льющегося в квартиру, выглядящего мной.
 Так и стоим, отраженье и зеркало, вспоминая
 Правила этикета: все-таки свой, родной...
 Ты — полуостров ночи, я — суэта земная.

* * *

Пришел ко мне черт. Попросил: — Погляди на меня.
 — А где ты? — Да вот же, на кресле. Такой же ворсистый,
 Меня и не видно. Не видно на фоне огня,
 Не видно в глазу подступающего дантиста.
 Но ты захоти — и увидишь. За палец тогда
 Я тяпну тебя. Понимаешь? За палец! — Спасибо, не надо.
 Ты только за этим явился? Не стоит труда
 За пальцем моим подниматься из самого ада.
 — Какого там ада! Нет денег давно на дрова.
 Я сутки не жрамши. — Так начал бы с этого, глупый!
 Согреть тебе мяса? — Нет, только не мясо! Едва
 Увижу я мясо, мне сразу мерещатся трупы.
 Подставь только палец! Я тяпну — и сразу уйду.
 И сразу везде отчитаюсь. Не вредничай, милый!
 Ну что тебе, жалко? — Не жалко, но я ерунду,
 Похоже, терпеть обречен даже в бездне могилы...

* * *

Если бы люди были врагами,
 Я знал бы, что делать, по крайней мере,
 Мерно макая в кофе рогалик,
 Придвинув кольт и косясь на двери.
 Но коршун ненависти в зените —
 Чуть видная точка под облаками.
 Можно промазать, испортив нити
 Легкой и светлой небесной ткани.
 Как часто во сне я брожу по саду,
 Где ловят брызги ночных цветений!
 Я их дарю. Никому не надо.
 Но нет благодарней людей, чем тени.
 Никто не забудет вернуть улыбку
 Столь же воспитанному поэту.
 Впору позвать золотую рыбку —
 Лишь бы управиться до рассвета.

В его лучах выступает проседь
 На вечно скомканном одеяле...
 И птица слетит и вежливо спросит:
 «Простите, не вы ли в меня стреляли?»

* * *

Куда девался мой народ?
 Да никуда. Творит. Живет.
 Он удивится, услышав,
 Что я ищу его, — и прав:
 «Не бойся, братец, я сильнее
 Немых ночей, дождливых дней,
 Экранных и газетных рож,
 Всего, что в уши шепчет ложь.
 Еще, посмотришь, загляну
 В твою волшебную страну,
 Пройду в тени твоих аллей,
 Увижу мачты кораблей...
 Пусть отправляются в моря,
 Не смерть, а жизнь благодаря».
 «Ну что ж, — скажу, — тебе видней,
 Как складывать узоры дней.
 Ты великан, я слабый гном.
 Но только помни об одном:
 Забудешь сорок первый год —
 И ты мне больше не народ».

* * *

Ветер за горизонт уносит тебя, меня,
 наших детей. Нет, задержись у края
 Этого сна, злого его огня,
 Ночью старого дня новый не начиная!
 Можно простить весь мир, если бы ветер стих.
 Можно простить себя, если бы не глядели
 Дети на нас одних, словно на нас двоих.
 Сколько же нас двоих — двое ли, в самом деле?
 То существо, что ты, мой повторяя шаг,
 Кружится, словно я. Каждую половину
 Ветер уносит прочь, злобно шумя в ушах.
 Он, вероятно, вдов и не имеет сына.

Наваждение

Я часто сержусь на людей, но я их люблю.
 Они меня тоже — издали и во сне.
 Рядом слова горят в темноте. Опалю
 Волосы и ресницы на их огне.
 Стоит прищуриться — вспыхнет вон тот забор.
 Галки поднимаются тучами в небеса.
 Видишь — не хуже любви зажигает взор
 Травы, ручьи и лиственные леса.
 Кто отшатнется с упреком, а кто поймет,
 И ни один не захочет сгореть, как лист.
 Краткая память пчелы, собиравшей мед, —
 Капли тяжелой белеющий обелиск.
 Видишь — в глазах проясняется, но едва
 В них проясняется, видишь — глаза не те.
 Это слова, бессмысленные слова
 Красными искрами прыгают в темноте...



Дневник читателя

Если ты человек праздный, то есть тебе дела нет до биржевых котировок или оптовых цен на пиво, то разум твой незащищен перед влияниями извне. Вот пример того, как одно постороннее замечание может вогнать такого человека в изнурительные размышления и тоску...

Читаем у Цезаре Ломброзо: «Те, кому выпало редкое счастье жить рядом с великими людьми, знают, что все они сумасшедшие».

Вот так так! Это, стало быть, мыслители, ученые, художники, вообще выдающиеся деятели в сфере нематериального, на которых держится человеческая культура,— это всё обыкновенные «психические», как говорят у нас труженики города и села. Отсюда, между прочим, логически вытекает, что нормальные, здравомыслящие особи — это как раз труженики города и села.

Впрочем, может быть, так и есть. Ведь известно же нам, что многие великие люди страдали такими свойствами, которые несовместимы со здравым смыслом, например, страстью к положительному труду. Менделеев работал даже во сне, Петр Чайковский только во сне и не сочинял, Лев Толстой оставил после себя девяносто с лишним томов шедевров, Саврасов бесконечно воспроизводил в красках прилет грачей. Кроме того, великих людей обличают некоторые фантастические поступки: например, Диоген жил в бочке из-под вина. Причем если на Западе таким образом отличались через одного, то в России все: Сумароков ходил похмеляться до ближайшего кабака в ночной рубашке и с Анненской лентой через плечо; Чайковский, будучи в Нью-Йорке, увидел в окошко демонстрацию мусорщиков и до того напугался, что со страху залез под стол; Лев Толстой полжизни провел в мыслях о самоубийстве; Саврасов, кроме водки и клюквы, ничего иного в пищу не употреблял; Менделеев на досуге мастерил чемоданы; Циолковский считался в Калуге городским дурачком, и ему ангелы являлись; Маяковский у себя на лбу бабочек рисовал. Вот и выходит, что великие люди суть сравнительно сумасшедшие, если в иных случаях не вполне.

Но тогда почему именно эти ненормальные испокон веков создавали человеческую культуру, если бок о бок с ними всегда жили труженики города и села? Казалось бы, им-то и карты в руки, ибо труженик, как правило, трезв, расчетлив, целеустремлен и наперед знает свою судьбу. Но нет, ничего метафизического не родилось в этой здоровой среде, помимо хоровода, частушек и хохломы. Да и то хохломскую роспись не соборно же выдумывали всей Нижегородской губернией, а, поди, выдумал сей стиль какой-нибудь безвестный «психический» из народа, который видел ангелов и нарочно жил в собачьей будке вместо бочки из-под вина. То есть, скажем, народная песня — это такая песня, которую неизвестно кто именно сочинил.

Поэтому вопрос о роли личности в истории хорошо бы пересмотреть. В истории государств, движений, войн и прочих стихий общественного порядка пусть роль личности остается вторичной либо покуда гадательной, в рамках старинного силлогизма насчет того, кто ведет козла на бойню: веревка

или десница поводыря. Но что до культуры, то невольно приходишь к выводу, что ее строили сумасшедшие, пускай даже относительно, если в иных случаях не вполне. Разве трезвомыслящий человек, знающий толк в арифметике и закваске, построит храм Василия Блаженного, который даже культурные люди называли «бредом пьяного огородника»? Нарисует селедку с головой человека, которая через столетие будет стоить, как пароход? Сочинит гениальную «Героическую симфонию» в честь кровопийцы и дурака? Трезвомыслящий человек, как это ни странно, даже анкерный механизм придумать не в состоянии, а изобрел его, как это ни странно, драматург Бомарше, который страдал клептоманией, манией величия и смертельно боялся блох. Разумеется, не каждый сумасшедший напишет «Мертвые души» или откроет принцип реактивного движения, но и Гоголь, и Циолковский были положительно не в себе.

Таким образом, культура, самая наша суть, то, что с течением времени превратило говорящее млекопитающее в человека, есть следствие деятельности одиночек, которые были в той или иной степени не в себе. Но тогда что есть норма, что аномалия, если культура составляет самую нашу суть? Может быть, норма — государственность, движения, войны и прочие формы каннибализма, может быть, норма — обыватель, который интересуется исключительно биржевыми котировками или оптовыми ценами на пиво, а культура... это так, детский случай, что-то вроде «родничка» на тмени у младенцев, который, дай срок, затянется сам собой... Ведь странно все-таки: здравомыслящее большинство ест, чтобы работать, и работает, чтобы есть, а горстка «психических» невесть зачем и почему не жнет, не сеет, а созидает избыточное знание, которое напрочь не нужно труженикам города и села. Ну зачем они его созидают? Ответа нет. Разве что подумаешь: а зачем планеты вращаются в бесконечной Вселенной, которая к тому же еще и расширяется? Вращаются ли они, нет ли где-нибудь в созвездии Гончих Псов, это не скажется ни на деторождаемости, ни на урожайности зерновых... Видимо, не зачем, а затем, что их Бог сотворил и завел, как часы заводят, из субстанциональной способности к творчеству или, если угодно, из неспособности не творить. Следовательно, наши «психические» сочиняют затем же, зачем планеты вращаются: одни не могут не вращаться, другие не могут не сочинять. То-то Гегель называл их «доверенными лицами мирового духа», видимо, подозревая, что сам Создатель бытует за рамками здравого смысла и в некотором роде не ведает, что творит.

Или, может быть, напротив: норма — это горстка сумасшедших, которые созидают культуру, то есть самую нашу суть. В этом случае искусство никак не принадлежит народу, а принадлежит оно узкому кругу творцов и потребителей прекрасного, которые тоже по-своему не в себе. Как же они в себе, если, вместо того чтобы заняться делом, они нацепят очки на нос и ну читать.

Словом, одно из двух: либо прав Платон и в идеальном государстве всех поэтов следует перевешать, чтобы они не смущали простой народ, либо Христос нам явился зря. Ибо не только способность к творчеству, а сама человечность есть прямое сумасшествие, хотя бы потому, что она обращена не на себя любимого, а вовне. Недаром князь Святослав Игоревич смеялся над христианами, поскольку в глазах нормального человека «возлюби врага своего» — это, конечно, бред. Также недаром настоящих последователей Христа раз-два и обчелся, разве что наши «психические», которые вечно отдают человечеству всё до последнего кодранта, а взамен получают кто чашу с цикутой, как Сократ, кто общую могилу, как Моцарт, кто астму, как Пруст, кто пулю, как Пушкин, а кто по минимуму — жену-заразу и невылазные долги. Закономерность эта настолько стойкая, что иной раз заподозришь вмешательство в творческий процесс иной, противоположной, злобствующей силы, которая ежеминутно нашептывает тебе: а ты, бродяга, не сочиняй!

«Писать его портрет — трудно».
Из очерка М. Горького «В. И. Ленин»

И действительно, нет более загадочного, неосвоенного исторического персонажа, нежели Владимир Ульянов-Ленин. Даже Иисус Христос весь как на ладони, и феномен Емельки Пугачева легко поддается анализу, и Наполеон Бонапарт понятен, а Ленин нет. Слишком уж он широк, слишком многосторонен в диапазоне от гуманиста до палача. И то сказать, сколько кровей в нем было понамешано — лейкоциты русские, эритроциты шведские, тромбоциты еврейские, гемоглобин калмыцкий, антитела, вероятно, от чужа. Недаром он и внешнестью был чудной: лицо земского деятеля честного направления, а туловище волжского бурлака, приземистое, плотное и до того коротконогое, что, сидючи, он только мысками ботинок до пола и доставал.

Неудивительно, что на его счет путались даже те, кто превосходно знал вождя в борении и в быту. Вот в восемнадцатом году дружан Горький о нем писал: «Ленин “вождь” и — русский барин, не чуждый некоторых душевных свойств этого ушедшего в небытие сословия, а потому он считает себя вправе проделать с русским народом жестокий опыт, заранее обреченный на неудачу. Эта неизбежная трагедия не смущает Ленина, раба догмы...» А в тридцатом году «буревестник» совсем иначе о нем писал: «...великое дитя окаянного мира сего, прекрасный человек, которому нужно было принести себя в жертву вражды (!) и ненависти ради осуществления дела любви». Вот такая метаморфоза, и это при том, что Горький знал Ленина как никто.

С нас же, внучат Великого Октября, как говорится, и взятки гладки, и это очень понятно, почему нам Ленина не понять. Главным образом потому, что он нас с младенчества гипнотизировал, глядя ласково и одновременно подозрительно с фотографического портрета, который не висел разве что при входе в общественный туалет. Так мы тогда и знали: если бы не Ленин, жили бы мы теперь, как в какой-нибудь несчастной Аргентине, где летят за деньги и солнце светит наоборот. После, в сравнительно зрелые наши годы, когда страна жила частично как во сне, частично как бы по «Домострою» и Первые Лица государства все были в разном градусе дураки, сделалось очевидно, что Ленин был самый культурный владыка за всю историю нашего отечества, не жулик и реалист. Во всяком случае, когда не показал себя первый коммунистический эксперимент, он честно и трезво вернулся к рыночному хозяйству, которое изначально не одобрял. В общем, мы, как добрые христиане в Христа, изо всех сил верили в Ильича, вместо того чтобы попытаться его понять.

Между тем, видимо, так и есть: Ленин был самый культурный владыка за всю историю нашего отечества, не жулик и реалист. То есть в тактическом отношении реалист, в стратегическом отношении он был отпетый идеалист. А то даже романтик, слепо и безусловно веровавший в мировую революцию, электричество, государственную форму собственности и, главное, в человека как благодатный материал, который только в силу социально-экономических обстоятельств пьяница и обормот, а так из него что хочешь, то и лепи. Таким образом, социалистическая эпопея, с одной стороны, представляет собой акт веры, с другой — чисто мальчишеское предприятие, отчаянную затею от избытка молодой энергии, пробу сил: получится — расчудесно, не получится — хлопнем дверью так, что содрогнется подлунный мир*. И ведь получилось: такая фантастическая страна Россия, что получилось вопреки всем законам физики и даже семьдесят с лишним

* Слова Льва Троцкого, второго, после Ленина, фигуранта по делу Великого Октября.

лет крутилось это перпетуум-мобиле, пока природа вещей не взяла свое. Именно пока не оказалось, что форма собственности сама по себе, а пьянство само по себе, что единственный источник прогресса — частная инициатива, а происхождение зла темно.

В остальном Ленин был реалист: ставки он делал всегда точные, например, на беспринципного босяка, поедом ел своих идейных противников, пароходами высылал вредную интеллигенцию за границу и перво-наперво раздавил тысячелетнее православие, классически понимающее разницу между добром и злом, благо знал из Белинского, что русский человек, в сущности, атеист. Хотя по-настоящему трезвым политиком был его преемник Иосиф I, который точно угадал, что, опираясь на учение Карла Маркса и особенности русской жизни, можно построить единственно грозную империю по древнеперсидскому образцу. Правда, этот был жулик, поскольку ради единоличной власти лицедействовал и ловчил. А Ленин нимало жуликом не был, поскольку, как в женщину, был влюблен в коммунистическую идею, не то что его преемники, которые кадили марксизму так, по инерции, потому что Россия без вероучения не стоит.

А вот мудрецом Ленин не был, это что нет, то нет. Когда однажды его спросили, не опасается ли он, что со временем диктатура пролетариата выродится в диктатуру пролетарских вождей, он искренне не понял вопроса и отвечал собеседнику невпопад. Ну разве что под конец дней был ему просвет, и он чисто по-русски, задним умом понял, что дело куда-то движется не туда. А ведь, кажется, нетрудно было предугадать, что в нашей варварской стороне полостная операция на государственности закончится как-нибудь особенно безобразно, исходя хотя бы из опыта Великой французской революции, которая заразила идиотией самый культурный народ Земли. Кажется, нетрудно было предугадать, что во исполнение идеалов справедливости и добра Россия непременно пройдет через ад, какого не знает историческая наука, и в конце концов придет к тому, от чего ушла. Именно к либерализму, частной собственности и эксплуатации человеческого труда. О, как бы хотелось спросить Владимира Ильича: а миллионы погибших ни за понюх табаку, а неисчислимость исковерканных судеб, а черное море слез — это, товарищ, как?!

А никак. Горький пишет, что однажды Ленин, приласкав соседских детей, сказал:

«— Вот эти будут жить уже лучше нас; многое из того, чем жили мы, они не испытают. Их жизнь будет менее жестокой.

И, глядя в даль, на холмы, где крепко осела деревня, он добавил раздумчиво:

— А все-таки я не завидую им. Нашему поколению удалось выполнить работу, изумительную по своей исторической значительности. Вынужденная условиями, жестокость нашей жизни будет понята и оправдана. Всё будет понято, всё!»

И действительно, с течением времени понята было всё. Во-первых, мы вывели, в чем, собственно, заключается всемирно-историческое значение Октября: в том, что Россия дала сигнал прочим народам мира — в этом направлении хода нет. Во-вторых, стало понятно, что самая страшная историческая фигура — это беспочвенный идеалист с пистолетом, которому и ножниц в руки давать нельзя. В-третьих, выяснилось, что социальное счастье зарыто не там, где его искали большевики. В-четвертых — что переустройство общества лучше не доверять особам, которые не в состоянии наладить собственную жизнь, особенно если они по природе аскеты, перекаати-поле и непривычны к положительному труду. В-пятых — что общественное бытие намного сложнее личного, не терпит простых решений и чуть что медленно превращается как бы в небытие.

Между тем Ленин был человеком простых решений. Если партия — то орден фанатиков, которые беспрекословно слушаются вождя. Если торже-

ство социальной справедливости — то «грабь награбленное» вплоть до последнего пиджака. Если дисциплинированная армия — то каждого десятого в расход за нестойкость, как это было заведено у монголов времен Бату. Даром что русский народ говорит: «Виноват волк, что корову съел, виновата и корова, что в лес забрела», — вообще русачку по сердцу простые решения, то-то большевики одержали верх в баснословные сроки и сравнительно без потерь. Ленин, по воспоминаниям Горького, так и говорил: «Русской массе надо показать нечто очень простое, очень доступное ее разуму. Советы и коммунизм — просто». И точно, просто, если понимать Советы как барскую затею, а коммунизм — как дорогое нашему сознанию равенство по линии бедности и невзгод. Вот и у Горького сормовский рабочий Дмитрий Павлов, отвечая на вопрос, «какова, на его взгляд, самая резкая черта Ленина», говорит: «Прост. Прост, как правда».

Положим, правда как раз сложна, правда — это, когда «виноват волк, что корову съел, виновата и корова, что в лес забрела», но то, что Ленин был прост, — это, как говорится, научный факт. Он не знал комплексов, не чувствовал юмора, не понимал искусства, выходящего за рамки обыкновенного, и своеобразно скрашивал свой досуг. Горький пишет: «В Лондоне выдался свободный вечер, пошли небольшой компанией в “мюзик-холл” — демократический театрик, Владимир Ильич охотно и заразительно смеялся, глядя на клоунов, эксцентриков, равнодушно смотрел на всё остальное и особенно внимательно (!) на рубку леса рабочими Британской Колумбии...» Вдруг «он заговорил об анархии производства при капиталистическом строе, о громадном проценте сырья, которое расходуется бесплодно, и кончил сожалением, что до сей поры никто не догадался написать книгу на эту тему».

Вообще о человеке легче всего судить по тому, что он любит, а что не любит. Ленин любил пиво, уличные шествия, Мартова, пролетариат, шахматы, а не любил: интеллигенцию за расслабленность, русских за разгильдяйство, буржуазию за хищничество, политических противников за то, что они мыслят не по нему. Впрочем, он был большой аккуратист и сторонник приятного обхождения, но, кажется, внутренняя культура ему мешала, не ко времени она была и не по обстоятельствам, как котелок, который он немедленно сменил на пролетарскую кепку, едва в воздухе запахло смутой и мятежом.

В сущности, только такой, по-своему ограниченный человек и мог взять на себя ответственность за судьбу всего мира, причем еще и гадательную, несмотря на страдания миллионов как неизбежную эманацию мятежа. Для этого, обдумывая мироздание, достаточно нечаянно уклониться от простой истины: счастливого человека нельзя осчастливить, а несчастного человека можно разве что накормить. Но ежели он олух царя небесного от рождения и по природе, то он что на полный желудок олух, что натошак.

Судя по тому, что Ленин был мономан, то есть субъект, безнадежно помешанный на идее, что он сердечно сочувствовал человечеству, а личность ни в грош не ставил, что он выказал способность добиваться цели любой ценой, — это был в своем роде Родион Романович Раскольников, только немец. Таковой комнатный мечтатель заранее распорядился бы насчет топора, не позабыл бы сменить цилиндр на неприметную фуражку, не упустил бы время и уж, разумеется, две убиенные тетки во имя высшей справедливости — это был не его масштаб. Собственно говоря, Ленин только потому шире определения, что давным-давно вымер этот тип дворянчика из народа, исчез, как стеллерова корова, человеко-паровоз, он же пламенный революционер, драчливый, цельный, неглубокий, доброхот, который не ведаёт, что творит. В карты бы он играл, что ли, или по женской линии был ходок...

При всем этом история нашего тысячелетия, может быть, не знает фигуры более фантастической и многозначительной, чем Владимир Ульянов-Ленин, поскольку она, может быть, не знает события более фантастического и многозначительного, чем Октябрьский переворот. Не исключено, что через тысячу лет перестанут читать Льва Толстого, забудется Робеспьер, о Чингисхане будут знать только узкие специалисты, а Ленин заматерееет в истории в качестве восьмого чуда света и не забудется никогда. Все-таки Чингисхан был дикарь и разбойник, Робеспьер — маньяк, а по милости Ленина наша Россия приняла на себя коммунистический грех мира и, пройдя через крестные муки, тем самым его спасла.

Оттого мумия последнего мессии посреди Москвы — это, во-первых, очень по-нашему, по-русско-египетски, а во-вторых, совершенно по заслугам Владимира Ильича. Пусть так и лежит, аккуратно напротив ГУМа, и вечно напоминает: истинный доброхот человечества — это тот, кто больше заботится о себе.

Теперь почти не читают, ну разве что газеты, которые как раз и не следовало бы читать. Ведь что такое газета? А как бы чтение, точно так же относящееся с настоящей литературой, как маргарин и масло, фигурное катание и балет. И делают газету люди, как бы владеющие пером, получившие как бы образование, как бы умеющие мыслить литературно, вообще газетчик — это не профессия, а судьба.

То ли дело — истинное чтение, книжное, особенно если всегда под рукой Стивенсон, Дефо, Гоголь, Чехов... ну и так далее — тогда это занятие усладительно при любых обстоятельствах: и в пору индустриализации, и за обедом, и на фоне неблагоприятных котировок ценных бумаг, и на сон грядущий, и в годину смятений, и натошак. Ведь что такое подлинное чтение? А нечто тонко созвучное человеческому в человеке, нечто неизменно отвечающее тому неуловимому сдвигу, который отличает нас от бабочки и слона. То есть чтение — это, во-вторых, тихая радость, а во-первых, сопричастность божескому началу, ибо, когда мы предаемся чтению, мы творим. Наконец, чтение на нас благотворно действует потому, что нам до обидного ясно видно, каких сияющих высот может достичь человек, у которого то же самое, два уха и две ноги. Вроде бы и слова такие же, как в письме к теще, а всё выходит иначе, выходит так, точно ты поговорил по душам с апостолом Павлом, и он произвел тебя в контр-адмиралы за то, что ты родился в городе Усть-Орда.

Другое дело, что чтение — это еще изнурительная умственная работа, поскольку постоянно натыкаешься на разные огорчительные соображения, которые до того больно цепляют мысль, что в другой раз подумаешь: может быть, лучше и не читать... Вот, пожалуйста, встречаем у Виссариона Григорьевича Белинского такие настораживающие слова: «Погодите, и у нас будут чугунные дороги и, пожалуй, воздушные почты, и у нас фабрики и мануфактуры дойдут до совершенства, народное богатство усилится, но будет ли у нас религиозное чувство, будет ли нравственность — вот вопрос. Будем плотниками, будем слесарями, будем фабрикантами, но будем ли людьми — вот вопрос!»

Это действительно вопрос, причем обширный, не предвещающий положительного решения и вообще скорее всего обреченный на не-ответ. Ведь уже полтора века как у нас существуют железные дороги и воздушные сообщения, а мы до сих пор не знаем: прогресс внешних форм задевает ли нравственность человеческую или она развивается самостоятельно, и в каком направлении она развивается самостоятельно, и развивается ли вообще? Не исключено, что человеческое в человеке — это константа, ибо после того, как Паскаль положил начало кибернетике, еще около столетия жгли

на кострах ведьм по готическим городам, ибо человек уже способен за считанные минуты облететь земной шар и по-прежнему в считанные секунды может обчистить карманы вашего пиджака.

Впрочем, с избития младенцев при царе Ироде до международного трибунала в Гааге человечество все же пройден какой-то путь. Все же ведьм больше не жгут по готическим городам, и языки не урезают за поносные слова по городам некогда деревянным, и даже вроде бы считается предосудительным такое увлекательное занятие, как война. Иное, что эти достижения несоизмеримы с успехами научно-технического прогресса, что человечество достигло куда большего на пути от глиняного светильника до электростанции на мазуте и не так успело на дистанции от Софокла до театра миниатюр. То есть человечество, очевидно, не стало хуже с течением времени, но ведь и лучше оно не стало — вот что удивительно и темно.

Не так уж это покажется удивительно и темно, если согласиться на одно сугубо идеалистическое допущение, именно: а душа-то есть, головной мозг сам по себе, а она, голубка, сама по себе, если нравственное — одно, умствующее — другое, если внешние формы жизни суть само движение в направлении совершенства, а человеческое — сам покой. Тогда более или менее станет ясно, почему научно-технический прогресс и понятие о прекрасном находятся если не в обратно пропорциональной, то в какой-то превратной зависимости друг от друга, как смертность и автомобилестроение, инквизиция и Паскаль. И то сказать: каких только чудес не бывает на свете! Например, из всех европейских стран остро интересно жить только в России, где не каждый день работает водопровод, но зато испокон веков то понос, то золотуха, то патриарх Никон, то классовая борьба. И внешние формы у нас не такие подвижные, и не так крылата техническая мысль, но на каждой скамейке найдется, с кем поговорить про ущемленное расовое самочувствие и национально ориентированную тоску. А по готическим городам каждая бабушка обязательно в полицию позвонит, чуть кто неправильно припаркуется возле окон, тем самым исполнив гражданский долг, — и это в краях, где внешние формы сияют, как свежeweымытое стекло.

Между прочим, из этого наблюдения вытекает, что чем ближе к социально-экономическому идеалу, тем проще, заземленней, пошлее собственно человек. Дело не в одних только бабушках с гипертрофированным чувством долга, а в том, что по самым благоустроенным готическим городам, где улицы с мылом моют, особа с университетским образованием может свободно удавить и удавиться за пяточок. Это ль не парадокс: если на одном полюсе незыблемые гражданские права и вызывающее благосостояние, то на другом обязательно вырождение человека как духовного существа. Наоборот: если на одном полюсе варварская цензура, неурожай и повальное воровство, то на другом господствует утонченный жизненный интерес. И, главное, непонятно, почему наши родовые характеристики таковы, что нам не дано, чтобы одновременно и белка, и свисток, чтобы на одном полюсе — вызывающее благосостояние, на другом — утонченный жизненный интерес. Чем мы провинились перед Небом, какая зараза поразила человеческую породу, что между нами добру не наследует добро, а злу — зло, что всеразрешающая истина неизбежно вырождается в учреждение, шкурные мотивы одних обеспечивают другим хлеб насущный, дети свободы рождаются идиотами, а естественное стремление к равенству и братству выливается в концентрационные лагеря... Может быть, всему виной первородный грех, но тогда зачем Господь, создавая женщину, предусмотрел мельчайшие физиологические детали, обеспечивающие деторождение, включая плаценту и яйцевод? Это так же непонятно, как цель исторического пути.

А действительно: зачем понадобился этот путь? К чему научно-технический прогресс и всяческое благосостояние как его следствие, если человеческое в человеке обречено на медленное угасание, если взаимосвязаны здоровая экономика и умаление искусств, демократические свободы и журнальные тиражи? Спору нет: парижанки вокруг эшафотов уже не пляшут, но зато самая читаемая книга — телефонная, а самую прекрасную музыку производят шелестение и клаксон. И ведь что-то совсем уж темное виднеется впереди, и веет оттуда промозглым холодом, как из деревенского ледника. Вспоминается гоголевское: «Соотечественники: страшно». Поди, не страшно! Страшно, и еще как!

Разве что человечество покуда не вошло в настоящий возраст, и у него многое впереди. Если жизнь человеческая и история человечества соотносятся меж собой, как явление и модель, если младенчество равняется первобытности, детство — античности, отрочество — средневековью и так далее, то у нас кое-что имеется впереди. Именно — стадия зрелости; когда уходят пустые страсти, сердце умягчается, движение мысли останавливается на древних ценностях: высший интерес есть интерес семьи, абсолютная цель есть здоровье, последняя истина есть покой. Коли именно так соотносятся меж собой явление и модель, то становится очевидно, что род людской развивается независимо от движения научно-технической мысли и что мещанство как способ существования закономерно, естественно, даже желанно, даже без этого человечеству и нельзя.

Но тогда выходит еще страшнее, поскольку нам хорошо известно, что именно следует за стадией зрелости и каков вообще конец. И предпоследняя-то ступень угнетает ищущие умы, а про последнюю неохота и поминать. То есть, может быть, и на самом деле «все к лучшему в этом лучшем из миров», не читает народ, и бог с ним, потому что, может быть, лучше и не читать.

Оказывается, чтение питательно для ума даже в том случае, если под руку подвернется какая-нибудь казенная бумага, написанная деревянным языком, которую и читать-то можно только по обязанности, за деньги, и глупая-то она, как казарменный анекдот. Положим, читаешь в циркуляре Министерства внутренних дел, относящемся к эпохе императора Николая Павловича: «Государю не угодно, чтобы русские дворяне носили бороды: ибо с некоторого времени из всех губерний получают известия, что число бород очень умножилось. На Западе борода — знак, вывеска известного образа мыслей; у нас этого нет, но Государь считает, что борода будет мешать дворянину служить по выборам».

Читаешь, и перво-наперво такая чепуха приходит тебе на мысль: как это борода может помешать исполнять обязанности, скажем, предводителя уездного дворянства? Ну разве что она должна быть непомерно длинной, волочиться по полу и путаться под ногами, такая должна быть борода, какой отличался пушкинский Черномор... Но главное, фундаментальное соображение, которое извлекаешь из этого нелепого чтения, таково: чего стоила наша русская аристократия, если ей безнаказанно можно было спустить сей возмутительный циркуляр? Ведь даже сдержанного ропота не последовало в ответ со стороны блестящих потомков Рюрика, Гедимины и Чингисхана; дескать, вот до чего дожили, какие-то темные Романовы позволяют себе помыкать цветом нации, до такой степени забывается немецкое отродье, что решает за стотысячное дворянство, носить ему бороды или же не носить!.. И на Сенатскую площадь никто не вышел, и ни одного тайного общества не составилось в знак протеста, даже не слышно, чтобы хоть обиделся кто-нибудь...

С одной стороны, такую покладистость понять можно: если за бессмысленную демонстрацию до сорока душ дворян были приговорены у нас к чет-

вертованию и отсечению головы, если за декламацию частного письма в России легко было попасть под расстрел, если публицистов, мысливших слишком оригинально, производили в государственные сумасшедшие, то, конечно, лишний раз обидеться не дано. Тем более что власть-то у нас отходчивая — то государь распорядится «продолжать считать умалишенным и как за таковым иметь медико-полицейский надзор», то смилостивится судьба лет через десять, и вот уже царь издает указ: «Освободить от медицинского надзора под условием не сметь ничего писать».

Но, с другой стороны, русский дворянин был человек отчаянный: стрелялся на шести шагах из-за косога взгляда или разногласий по поводу второстепенных формулировок у Гегеля, проигрывался до креста и почем зря лез на неприятельские штыки. Также в вопросах чести отличались крайней щепетильностью блестящие потомки Рюрика, Гедимины и Чингисхана, но на царя обидеться — это было как летать, за пределами возможностей, не дано.

Если учесть, что во Франции циркуляр насчет бород непременно вызвал бы очередную французскую революцию, то волей-неволей приходишь к заключению, что в русской крови есть нечто, роднящее нас с древними египтянами и жителями государства У, которые немели перед властью как самой могущественной из стихий. Положим, убить царя — это можно, «тому в истории мы тьму примеров слышим», а вот обидеться на него нельзя, как на землетрясение и потом. Так сложилось, видимо, потому, что и в государстве У, и в Российской Империи власть была метафизическое всё, а личность подданного — физическое ничто. В свою очередь, этот психоисторический феномен можно объяснить стойкостью родового мироощущения, которое до сих пор побуждает нас обратиться ко всякой встречной старушке со словом «мать». Отсюда непререкаемый авторитет отца нации, будь то хоть Николай I, хоть Владимир II, а на другом полюсе — детское чувство зависимости, незащищенности, определяющее почти физиологическую потребность повинаться и трепетать. Недаром мы даже протестуем, точно преступление совершаем, лихорадочно, несуразно озлобленно или, напротив, жертвенно, и как бы исподтишка; даже когда у нас всемером выходят на Красную площадь протестовать против превратного применения бронетанковых сил, то все равно это получается как бы исподтишка. Впрочем, характер власти в России исторически сложился настолько наглым и несоразмерно жестоким, что на самом деле трудно сказать, как повел бы себя рядовой француз, если бы в свое время Декарта сослали на Гаити за непоказанные штаны.

Другое дело, что наши гражданские комплексы заходят слишком уж далеко. То есть мы народ до того малосамостоятельный и незрелый, что живем по преимуществу влияниями извне. Моды у нас были французские, музыка итальянская, мысли немецкие, династия Голштин-Готторпская, и даже блестящие потомки Рюрика, Гедимины и Чингисхана двести лет кряду говорили на чужеземном, хотя и обаятельном, языке. Кстати, о языке: какой текст сейчас ни возьми, топонимика вся финно-угорская, существительные наполовину тюркские, прилагательные больше романо-германского корня, непристойности от монголов — ну разве что из чисто русского затешется сюда какое-нибудь междометие вроде «ась». Неудивительно, что до самого последнего времени мы благоговели перед иностранцами как перед существами высшего порядка, которые помирают ли вообще, нет ли — это еще вопрос.

Но вот что удивительно: как это мы умудрились построить самую странную в мире империю, покорить множество народов несовместимо разнообразных культур и потом два столетия держать в страхе подлунный мир? Это при нашем-то обезьянстве, прекраснотушии, соседстве, потребности повинаться и трепетать... Правда, Российская Империя вышла империей

как бы наоборот, именно не метрополия села на шею туземным окраинам, а скорее наоборот. Иначе трудно будет понять, почему уровень жизни, допустим, в Туркмении много выше, чем в центральной России, почему царство Польское имело конституцию, а мы нет, почему дети Авраамовы организовали нам Великий Октябрь, самым крутым государственным был осетин и московские рынки контролируют выходцы из Баку.

Положим, то, что мы нация неторговая, — полбеда, и то, что ненахрапистая, — чести следует приписать, а несчастье наше состоит в том, что наша сила оборачивается слабостью при столкновении со слабостью, равной силе: например, мы выработали утонченную культуру человеческого общения, которая беззащитна перед натиском пошлости и рубля. Посему русак теряется и безмолвствует, если навалиться на него с циркуляром насчет бород, равно как психически нормальный человек немеет перед бандитом, который может его обобрать, изуродовать, уничтожить даже, но только не оскорбить.

В наше время неудобно быть писателем, то есть не то что неудобно, а остро чувствуешь себя чем-то вроде городского дурачка, который занимается черт-те чем. И действительно: честной народ пашет, судится, строит, ворует, баллотируется, добывает огромные деньги из атмосферы, а ты по-прежнему гнешь свое: «Солнце встало, птички запели, Иванов проснулся и посмурнел». Нет, взаправду совестно быть писателем, особенно как подумаешь, что примерно на миллион сограждан ты один такой забавник и идиот.

А ведь еще недавно писатель на Руси был вторым человеком после участкового уполномоченного, ему поклонялись, как отцам научного коммунизма, и внимали, как вещим снам. Но, главное, народ запоем читал всё, что ни выйдет из-под его отчаянного пера. Даром что в те благословенные времена мудро было баллотироваться и добывать деньги из атмосферы, хотя пахать и воровать — это свободно, это в порядке дня.

Впрочем, и в те благословенные времена находились отщепенцы, которые сомневались в сущности художественного слова и брали под сомнение наше священное ремесло. И даже еще прежде, когда писатель на Руси был вторым человеком после апостола Иоанна, некоторые ставили его ниже банального сапога. Вот Александр Иванович Герцен вспоминает о своем споре с одним итальянским революционером, начисто отрицавшим значение художественного в жизни человека и убежденного в том, что всё это сплошные «ненужности», баловство. Герцен ему, в частности, отвечал: «...вся поэзия жизни состоит из ненужностей. Рафаэль рисовал ненужные картинки, Микеланджело делал каменные куклы, а Данте писал вирши, вместо того чтобы делать дело. Только жизнь человеческая без этих “ненужностей” есть протяженность во времени, а не жизнь».

Золотые слова! То есть всеразрешающие, истинные слова. Ведь с чего, собственно говоря, начинается человек: может быть, отнюдь не с первого орудия труда и не с первого вымолвленного слова, а как раз с первой «ненужности», вроде серьги в ухе или дудочки из озерного камыша. Кому дудочка и серьга действительно не нужны, так это пчеле-труженице и труженику-бобру, которые наравне с человеком способны к созиданию, понимают родовые связи, имеют внятную общественную организацию и вообще, видимо, только тем отличаются от людей, что человеку нужна дудочка, а пчеле не нужна, человек носит серьгу в ухе, а бобер нет. Иных принципиальных отличий вроде бы не обнаруживается, поскольку орудиями труда пользуются даже птицы и абстрактное мышление свойственно некоторым разновидностям обезьян.

Итак, похоже на то, что от прочих дыханий мира человека отделяет именно ряд «ненужностей», которые почему-то ему нужны. Следовательно,

тайна человечности заключается в этом самом «почему-то», в решении вопроса: а, собственно, почему?

Может быть, потому, что человек сам есть «ненужность», с точки зрения труженицы-пчелы. Коль скоро его интересы простираются далеко за рамки принципа выживания и продолжения рода, коль скоро серьгу и дудочку нельзя съесть, то, стало быть, он чужд органической жизни, как телеге чуждо пятое колесо. В том-то все и дело, что человек — только формально прямоходящее млекопитающее, а по сути, он что-то вроде поэтической надстройки над мирозданием, восторг природы, которая, может быть, от избытка сил еще и тщится себя познать. А как она может себя познать? В частности, при помощи человеческого разума, который тщится познать природу, примериваясь к дудочке и серьге, складывая мифы как прагипотезы, рисуя никому не нужные картинки, делая каменных кукол и сочиняя нимало не питательные стихи. Причем человек до тех пор будет заниматься куклами и стихами, покуда он чувствует себя насущной «ненужностью», поэтической надстройкой над мирозданием, которая одновременно и нарушает вселенскую гармонию, и налаживает ее в качестве ключевого, умствующего звена. Ибо только через изделия разума он постигает свою внеприродную сущность и осознает происхождение от Творца. Таким образом, художественная культура есть еще и дополнительная мировая религия, едва ли дальше отстоящая от истины, нежели иудаизм, буддизм, христианство, язычество и ислам. А без веры, хоть в единую Троицу, хоть в распределение по потребностям, как известно, человечество не стоит.

Иное дело, что далеко не всем из нас дано ощущать себя поэтической «ненужностью», большинство все же существует по более или менее физиологическому образцу. Это нам говорит о том, что либо отнюдь не все люди — люди, то есть люди, конечно, но сравнительно, не вполне, либо человек только количественно отличается от бобра. Скорей всего штука в том, что не все люди — люди, ибо и в последнем побродяжке все-таки чувствуется коренное отличие от бобра. Правда, тогда человек вполне — это что-то вроде сбрендившего паровоза, который не может обойтись без рапсодий Листа, топлива и воды. Что же, пусть так: человек — не то, что ходит на двух ногах, владеет членораздельной речью, может наколоть дров и водить автомобиль, человек — это прекрасная аномалия, которая тщится себя познать.

А коли так, то не писатель занимается черт-те чем, а господа, баллотирующиеся и добывающие деньги из атмосферы, занимаются черт-те чем. Писатель как раз занят самым человеческим, предельно насущным делом — поддержанием того тонкого градуса в современниках и потомках, который обеспечивает познавательный строй души. Разумеется, низкий поклон хлеборобам от едоков, с той только оговоркой, что ведь и лошадь ест, не в обиду будь сказано хлеборобам, и даже она пашет, и даже, может быть, ей по сердцу теперешние песенки, которые сочиняются в плане юношеского прыща.

Таким образом, в наше время неудобно быть писателем, потому что миновала эпоха человека как преимущественно прекрасной аномалии и наступила эпоха человека как преимущественно едока.

Если эта ретирада на время, то ничего, если же навсегда, то одно из двух: либо человечество недостойно своей художественной культуры, либо оно исподволь исповедует тайну тайн. Вот в чем состоит эта самая тайна тайн: вся наша бесконечная Вселенная на самом деле представляет собой молекулу, которая вместе с мириадами прочих молекул образует какую-нибудь пуговицу от штанов. А среди этих мирозданий, в укромном уголке, сидит человек и пишет: «Солнце встало, птички запели, Иванов проснулся и посмурнел».

Петр Великий умер полковником. Зато бывший его денщик Александр Меншиков дослужился до генералиссимуса, даром что особым полководческим талантом не обладал. Вторым русским генералиссимусом был граф Остерман, за ним этой чести удостоился герцог Брауншвейг-Макленбургский, отец несчастного императора Иоанна... ну и так далее, вплоть до недоучившегося семинариста Иосифа Джугашвили, который постигал стратегию, как анатомию постигают, — на трупах да на крови.

В том-то всё и дело, что нигде не было столько генералиссимусов, как у нас. Из этого вроде бы должно следовать, что Россия вела бесконечные победоносные войны и полмира приспособила под себя. На самом деле ничуть не бывало. Хотя из трехсот с лишним войн, в которых так или иначе участвовала Россия, примерно триста носили чисто захватнический характер, ни особенными территориальными приобретениями мы не можем похвастать, ни сверхъестественными победами над врагом. Разве что на востоке мы дошли до *последнего моря*, но здесь нам противостоял один доисторический хан Кучум. Разве что мы одолели полумиллионную армию Наполеона, но скорее взяли ее измором, больше уповая на бескрайние родные просторы и стратегию беготни.

Избыток генералиссимусов в России тем более удивителен, что мы нация в принципе не воинственная, скорее добродушная, более склонная к внутренним склокам и худо-бедно положительному труду. Пьяные схватки у нас, правда, — нормальное явление, как сухая осень на Лазурном берегу, но это говорит не столько об агрессивности русского народа, сколько о том, что русаку, как правило, не на что закусить. Одним словом, мы воевать не любим да, пожалуй, и не умеем, а не умеем именно потому, что ну не любим мы воевать... Кабы любили, так и умели бы, а то испокон веков кладем три своих головы за одну чужую и сиднем сидим в медвежьем своем углу.

У Антона Ивановича Деникина иная точка зрения на сей счет. «Увы, — пишет он в своих воспоминаниях, — затуманенные громом и треском привычных патриотических фраз, расточаемых без конца по всему лицу земли русской, мы просмотрели внутренний, органический недостаток русского народа: недостаток патриотизма».

Тут генерал загнул. Русский человек из патриотов патриот, потому что он сердечно привязан к такой земле, где почти невозможно жить. Как ни крути, а климат на Руси — человеконенавистнический; виды, во всяком случае, не швейцарские; деревни убогие, все какие-то покосившиеся, серые лицом, точно на ладан дышат; города... это стыд и срам, какие у нас, в сущности, привокзальные города. Прибавим сюда вопрос вопросов, который вечно стоит в России, — чего б поесть, дороги, обозначенные Афанасием Фетом, как «довольно фантастические», ну и, разумеется, засилие дурака. Наконец, как-то так странно сложился наш способ существования, что нормальная русская жизнь равняется средневропейскому горю, у нас даже глаголы «помереть» и «отмучиться» суть синонимы, как глаголы «скончаться» и «помереть». Тем не менее русак до такой степени привязан к своему отечеству, что вот уже десять лет как открыты границы что на Запад, что на Восток — и ничего, еще там и сям шевелится народ, как-то радеет... Ну он ли не патриот?

Но, видимо, что-то другое имел в виду генерал Деникин, потому что на самом деле разный бывает патриотизм. Бывает такой, о котором говорит драматург Островский: «На словах ты, брат, патриот, а на деле фрукты ворует». А то бывает государственный патриотизм, романо-германского склада, — это когда административное деление стоит жизни, немецкая свинина — лучшая в мире, самая большая на планете страна — Техас.

Такого патриотизма мы действительно не знаем, чего-чего, а чтобы обходчик Иванов ассоциировал себя с Министерством железнодорожно-

го транспорта, этого у нас нет. Но, сдается, Антон Иванович имел в виду именно таковский патриотизм, потому что его филиппика относится к русскому солдату времен войны 1914—1918 годов, которую несправедливо называли второй Отечественной, империалистической и — по справедливости — мировой. И то правда: русский солдат не мастер воевать за химеры, вроде торжества славянской идеи над германским зверем, потому что ему непонятен какой бы то ни было отвлеченный государственный интерес. Немец и на трезвую голову готов сгинуть за третий рейх, а наш за черноморские проливы и спяну не пожертвует клочок волос. Впрочем, была эпоха — это когда на хозяйстве в России сидели бабы, — русские армии тоже слонялись по Европе туда-сюда. Невесть чего ради Берлин брали, Кёнигсберг преобразовали в губернский город, через Альпы перевалили — эва куда воронежских занесло, — но с тогдашнего служивого взятки гладки, ибо еще не существовало великого вопроса русского: ну и что?

Вот если «Отечество в опасности!» — это да. Только опасность должна быть непосредственной, ощутимой, как колотье в боку, — тогда на защиту родных пажитей у нас поднимается весь народ... То есть тут-то и собака зарыта, что в России, чуть что не армия отстаивает отчужденную территорию, а народ. В том-то все и дело, что на русскую армию исстари надежда плохая, в Смутное время она ничего не смогла поделывать с отрядом польских авантюристов, в Крымскую кампанию ей легко доказали, что ружья чистить кирпичом не годится, в Великую Отечественную войну она продержалась недели три. Немцы два с половиной года воевали, не прибегая ко всеобщей мобилизации, французская армия огрызалась четыре недели, в России же с первых дней под пули пошел народ.

А ведь это страшный грех — впутывать трудящийся люд в кровавую склоку меж сильными мира сего, как учить детей водку пить, на этот счет существуют военные, жертвенное сословие, у которых профессия такая — гибнуть и убивать. Их снаряжают на последнюю народную копейку, миллионы православных отмаливают солдатские души по воскресеньям, годами их муштруют и выбивают вон все человеческое, чтобы только они годились гибнуть и убивать. А втравить в войну народ — это рабочего-то и крестьянина, которые без содрогания котенка не утопят, — значит, его растлеть. То-то старики говорят, что по итогам последней войны люд у нас несколько озверел.

Между тем Лев Толстой в восторге от народного характера войны двенадцатого года — любопытно было бы выяснить: почему? Может быть, потому, что он остро осознавал эту возвышенно странную способность русского человека, которую он называл «скрытой теплотой патриотизма», — способность положить душу за то, чтобы все было по-старому, по-русски — и дороги, и дураки. Вместе с тем русаку, мыслящему конкретно, всегда есть что защищать помимо дорог и дураков: мать, сестренку, корову Зорьку, подавальщицу Зину из чайной, что напротив конторы «Заготзерно». Только мы так скажем: поскольку этот яд не выводится из общественного организма, еще одна народная война — и русские как этническая категория перестанут существовать.

А вот армии, пожалуй, защищать нечего, ибо объект ее бытования есть более или менее отвлеченный государственный интерес. Нет у нее за спиной ни вековых демократических установлений, ни системы нравственных ценностей, ни обеспеченного способа бытия. Что же до отвлеченных государственных интересов, будь то черноморские проливы или зараза сепаратизма, то обслуживать таковые способен только солдат-машина, солдат — сугубый профессионал.

В деловом отношении наш брат, русачок, — все что угодно, только не профессионал. У нас солдаты стихи пишут, химики музыку сочиняют, ком-

позиторы у себя дома на все руки мастера — он тебе и слесарь, и столяр, и сантехник, и медсестра. Следовательно, русская армия единственно в том случае надежна, если она ориентирована на непосредственный интерес. Следовательно, ежели отцам нации желательно иметь настоящую армию, им прежде всего нужно позаботиться о том, чтобы у армии было что защищать.

Зато, правда, генералиссимусов у нас тьма. Это, наверное, оттого же, отчего у нас писателей больше, чем во всей Европе, в то время как в зрелом возрасте положительно нечего почитать.

По той причине, что теперь серьезное чтение не в чести, писателю постоянно приходится повторяться, по несколько раз выставляя на показ дорогую мысль. Все-то ему кажется, что без нее человеческое сознание неполноценно, все-то он надеется достучаться до адресата — и тогда гармонический порядок наладится сам собой. Например, представляется настоящей такой мысль: поскольку ничего до конца не ясно, жить на всякий случай нужно так, как если бы точно существовали загробный мир и воздаяние по Суду.

Мысль эта тем более насущна, что посмертное бытие не так уж невероятно, и даже оно вероятно, и даже порою кажется, что иначе не может быть. Во всяком случае, недаром потустороннее предчувствовали многие художественные умы. Скажем, Юрий Карлович Олеша, уж на что был средний писатель и материалист, и тот записывает в дневнике:

«Все-таки абсолютно убежден, что я не умру. Несмотря на то что рядом умирают — многие, многие, и молодые, и мои сверстники, — несмотря на то что я стар, я ни на мгновение не допускаю того, что я умру. Может быть, и не умру? Может быть, все это — и с жизнью, и со смертями — существует в моем воображении? Может быть, я протяжен и бесконечен, может быть, я Вселенная».

Может быть. В сущности, человек есть чудо, вроде воскрешения Лазаря, и даже перед ним меркнут прочие чудеса. Как же человек не трансцендентальное, если он способен творить небесные тела, которые движутся по орбитам траекториям, вроде прочих небесных тел, что созданы не нами, а главным, не про нас... Как же человек не сверхъестественное, нечто существующее над природой, если он может измышлять прекрасное, как погожее утро или бабочка «махаон»... Следовательно, в человеке сокрыта такая сила, от которой чего угодно можно ожидать, вплоть до перехода ее из физической в метафизическую ипостась.

Но главное, у земной жизни есть одна особенность, которая приятностораживает умы. Именно наша жизнь организована и ориентирована таким образом, точно она так или иначе обречена на продолжение, точно это процесс вечный, который не остановится никогда. День наследует дню, а год году, замыслы наши не ограничены во времени, а физические перемещения в пространстве, и сердцем чувствуешь, что так будет всегда, несмотря на то «что рядом умирают», недаром русский человек иронизирует: «Смерть смертью, а крышу крой». Может быть, мы потому и мучаемся невыразимым ужасом, думая о кончине, что она как раз противоестественна, несообразна с нашим представлением о человеке и выпадает из логики бытия. Коли человек живет так, как если бы он собирался жить вечно, то, должно быть, смерть — это не совсем то, чем она предстает в сознании простака. Оттого-то, во всяком случае, с пониманием читаешь у Юрия Карловича Олеша: «Все-таки абсолютно убежден, что я не умру».

Как известно, Олеша умер в мае 1960 года, поздним вечером, как уснул. А может быть, он *не умер* в мае 1960 года — это для нас темно. В любом случае: а что он, собственно, потерял? Только и всего, что 14 235 рассветов и

14 235 закатов, больше, кажется, ничего. За тридцать девять лет, прошедших с его кончины, Россия чуть было не ввязалась в третью мировую войну, в Новочеркасске расстреляли демонстрацию горожан, лысого дурака сменил на всеоюзном троне дурак с шевелюрой, посадили в тюрьму четырнадцать душ писателей и диссидентуры не перечеть, началась и закончилась Афганская кампания, хлеб подорожал в пять с половиной раз, произошло несколько душераздирающих катастроф, спустили сверху демократические свободы, губительнее которых у нас только телевидение и чума, на улицах, как встарь, появились нищие... Ну разве что за это время евреям дали вольную и стало как-то просторнее, хотя культурный уровень и поник. Вот и выходит, что, кроме как о 14 235 рассветах и 14 235 закатах, больше не о чем пожалеть. То есть в другой раз подумаешь, что смерть есть в своем роде благо, потому что жить вечно скучно и тяжело.

Тем не менее жить на всякий случай нужно так, как если бы точно существовали загробный мир и воздаяние по Суду.

Когда Ленина не печатали, а его у нас долго не печатали, до самого семнадцатого года, русский человек мог свободно отправиться за границу, победать за шесть копеек и на каждом углу купить себе диагональные штаны. Когда же Ленина стали печатать благодаря завоеваниям великого Февраля, и года не прошло, как уже можно было свободно угодить под расстрел за благозвучную фамилию, в стране остались две газеты, из товарооборота исчезло все.

Понятное дело, не публицисты делают историю, но и публицисты тоже, из чего логически вытекает, что свобода печатного слова, во всяком случае, в России и по крайней мере при известных общественно-политических условиях,— это зло. На кой она действительно нужна, если Чехова издавали бы при любом режиме, хоть при Тутмосе III, и свободу слова легко употребить в обратном смысле, то есть чтобы ее же и задавить... Наконец, вольное тиснение в самом деле необходимо дельцам по литературному департаменту, графоманам и деятельным баламутам, которым нечем себя занять.

Одним словом, свобода печатного слова — штука опасная, и никогда не знаешь, чем она обернется для потребителя газетно-книжной продукции и труженика пера. Вот опять же по милости завоеваний великого Августа, когда у нас снова восторжествовала свобода слова, писатель из властителя дум превратился в экзотическую фигуру, вроде профессионального кактусиста или собирателя янтаря. И с читателем произошла скоропостижная перемена: куда-то он подевался, то ли вконец обеднял, то ли вымер, то ли резко сменил культурный ориентир. А ведь еще совсем недавно, в пору большевистского самовластья, когда свирепствовала цензура и больше одного негодяя невозможно было ввести в рассказ, у нас не читали только послеоперационные больные и сосунки. Теперь не то, поскольку музыку заказывает народ.

Александр Сергеевич Пушкин пишет на этот счет: «Зависеть от царя,— пишет он в своем стихотворении «Из Пиндемонти»,— зависеть от народа — / Не все ли нам равно?»

Думается, что не все. Хотя, может быть, действительно все равно, от кого зависеть, потому что и «царь» изгаляется над писателем сообразно сиюминутному государственному интересу, и «народу» желательно, чтобы писатель сочинял забористо, про понятное и черносотенным языком. То есть только и остается, что, точно, «Никому / Отчета не давать, себе лишь самому / Служить и угождать...» — иначе говоря, не зависеть ни от кого.

В том-то вся и штука, что писатель на самом деле не зависит ни от кого. Вернее, он действительно несвободен, но несвободен единственно от прекрасного недуга, который называется талантом, а поскольку природа

его таинственна, то можно сказать, что писатель зависит от Высших Сил. Причем зависимость эта настолько прочна и неукоснительна, что он, хоть тресни, не способен сочинить филиппику на случай или панегирик министру ужасных дел. Поэтому писателю именно «мало горя», «...свободно ли печать / Морочит олухов, иль чуткая цензура / В журнальных замыслах стесняет балагура...» / — ибо художественный талант и свобода печатного слова бытуют в непересекающихся плоскостях и так же разнородны, как Лейбниц и готтентот. Разве что сбыт литературной продукции точно зависит от внешних сил: то «народу» подавай «милорда глупого», то «царю» Белинский не по душе.

Думается, в этом случае зависеть лучше все-таки от «царя». Почему?.. Потому, во-первых, что государственный интерес, хотя бы и несправедный, хотя бы и сиюминутный, — это все же государственный интерес. Во-вторых, серьезная литература — это еще и то, что нимало не касается исторического процесса и не может заинтриговать человека с красным карандашом. То есть она может быть, по существу, и сокрушительной для устоев, но никакому цензору этого не понять. Ну что его может насторожить в «Учителе словесности»? — ничего. Между тем даже в аромате жасмина заключается нечто такое, что отрицает процентную ставку на капитал.

С другой стороны, человек не сделался ни утонченнее, ни умнее, когда ему стали доступны изобличения под видом прозы, сборники похабных частушек, эротические романы и прочая чепуха. Вот мы уже и таинственного «Доктора Жеваго» прочитали, и чреватый «Архипелаг ГУЛАГ», а счастья как не было, так и нет.

Кстати заметить, мы потому прежде и читали напропалую, что по телевизору было нечего посмотреть, все больше торжественные заседания да балет. Но мы еще и потому были такие неутомимые читатели, что все ждали от родной литературы разрешения каких-то великих тайн, а на поверку оказалось, что не только у нас никто новой «Монадологии» не написал, но и тайн-то особых нет. Тайны и разрешения этих тайн имели место во времена Достоевского и Толстого, в эпоху самодержавия, цензурных притеснений, всяческих гонений и несвобод. А человекоядные большевики даже ничего такого не скрыли от народа, без чего культурному человеку немочно жить. Все-таки загадочная это сила — наша русская словесность, даже большевики, которые внесли свои дурацкие коррективы в движение Земли вокруг Солнца, не смогли отменить художественную литературу, но почему-то при либералах она рассосалась сама собой.

Таким образом, какой-никакой присмотр за этим делом как будто необходим. Главное, недопустимо, чтобы жизнь и смерть великой культуры зависели от вкусов «народа», то есть мещанина и дурака. Кроме того, желательно взять в предмет, что русак грешит слишком живым отношением к печатному слову, например, он прочитает «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» — и самым серьезным образом начинает соединяться, отнюдь не вдаваясь в такие тонкости, с какой стати соединяться, каким образом и зачем. В Европе, поди, оттого-то и нет давно никакой цензуры, что там книг давно никто не читает, что чтение там не входит в суточный рацион.

А у нас достаточно опубликовать запись четырех снов какой-то Веры Павловны, и уже государство трещит по швам.

С тех пор как евангелист Матфей записал со слов Иисуса Христа: «Вы слышали, что сказано: око за око и зуб за зуб. А Я говорю вам: не противься злему. Но кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую...» — так вот с тех самых пор две тысячи лет прошло, а люди по-прежнему сопротивляются злу...

И зря. Дело не в том, что, по преданию, насилие порождает насилие, и не в том, что зло бывает не так напористо, если наталкивается на непротивление как метод и алгоритм. По-настоящему дело в том, что иной раз зло напрямую благотворно и противостоять ему — это будет себе во вред. В том-то и заключается величайшее прозрение Иисуса Христа, что не все зло — зло и, поскольку разобраться в хитросплетении причин и следствий нам за дуристостью не дано, нужно мириться со всяким лихом, какое оно ни будь.

Эта спасительная норма представляется тем более многообещающей, что первым-то непротивленцем был сам Господь. Когда Адам и Ева выбрали свободу, презрев вечное благоденствие, Отец Саваоф отпустил их на все четыре стороны и, видимо, с легким сердцем, ибо Он провидел, что, не случись первого грехопадения, ничего ведь и не будет: ни афинского Парфенона, ни 40-й симфонии Моцарта, ни французских энциклопедистов, ни обыкновенного букваря. Или другой пример: Создатель мог бы мановением мизинца предотвратить кровопролитную Крымскую кампанию, если бы Ему не было доподлинно известно, что она обернется падением крепостного права, железнодорожным бумом, либеральными реформами, «Севастопольскими рассказами» и снижением ставок на банковский капитал.

Мы же, разумеется, даже изжоги предсказать не можем, что-что, а дар провидения не про нас. Но тогда хотя бы возьмем в предмет, что Даниель Дефо сочинил своего великого «Робинзона Крузо» после того, как в результате инсульта у него произошло временное помутнение в голове. Следовательно, не мудро ли поступает тот, кто и левую щеку обидчику подставляет, имея в виду те благодатные последствия, какие бывают от временного помутнения в голове.

Итак, зло и добро настолько перепутались в этом мире, что самые благие начинания могут вылиться в национальную трагедию, а национальной трагедии наследует рост производительности труда. Во всяком случае, опыт третьей русской революции свидетельствует о том, что идея и следствие категорически разнятся между собой, как фракная пара и керосин. Идея — идея-то объективно великолепная: учредить такое общественное устройство, при котором сносно жилось бы нищему духом, плачущему, кроткому, алчущему и жаждущему правды, то есть, в сущности, неумехе и слабаку. Однако когда идеальное вступает в реакцию с материальным, вдруг дают себя знать разные посторонние обстоятельства, и уже по ходу дела становится ясно, что затея приобретает нежелательные черты. Например, оказывается, что всеконечно обречен хозяйственный механизм, если он ориентирован на неумеху и слабака. Например, оказывается, что благосостояние нужно выстрадать, что дается оно воспитанному работнику и прилежному гражданину, а спустить сверху его нельзя. Вот и Александр Иванович Эртель пишет: «Социализм? Но не думаешь ли ты, что он может быть только у того народа, где проселочные дороги обсажены вишнями и вишни бывают целы?» В свою очередь, Василий Алексеевич Слепцов тонкий дает совет: «Прежде чем строить храм, позаботься о том, чтобы неприятель не сделал из него конюшни». И ведь когда это было писано? Эпоху тому назад!

Таким образом, идеи идеями, а следствия следствиями, даже так: социализм — точно, светлое будущее человечества, но не в ближайший вторник и не у нас.

Если же насаждать общественный способ присвоения продукта во что бы то ни стало, вопреки закону всемирного тяготения, то жди повальных расстрелов и лагерей. До них-то Россия и достукалась в результате борьбы со злом, даром что Христос две тысячи лет нас увещевает не противиться злему, даром что последнему дураку понятно: нельзя заставить курицу нести крашенные яйца, без того чтобы не изуродовать ей нутро.

Любопытно, что наши борцы с социальным злом все были люди не сумасшедшие, даже не глупые и самоотверженные до святости, тем не менее объективно они выходят злодеи и дураки. Как же не злодеи, не дураки, если гуманистически настроенная диссидентура начала века спала и видела, как бы уничтожить общество абсолютной справедливости, а в итоге получила IV Рим... После оказала себя гуманистически настроенная диссидентура шестидесятых — семидесятых, которая спала и видела, как бы добиться свободы слова, и добилась-таки своего, но в результате грянула не столько свобода слова, сколько царство канкана и грабежа. Нынче опять поднимает голову гуманистически настроенная диссидентура большевистского толка, которая горой стоит за неумеху и слабака, и, видно, эта чехарда у нас не закончится никогда. Вот интересно: на Западе, где люди тоже на двух ногах ходят, давно не наблюдается этой разнузданной борьбы с социальным злом, и ничего, живут себе помаленьку, и даже города у них похожи на кондитерские изделия, а деревни — на города.

Главная беда России состоит в том, что у нас слишком много поэтов, которые не умеют писать стихи. То есть поэтов исключительно в том смысле, что они, как молодой Гоголь, смутно чувствуют свою особенность, подозревают какое-то высокое предназначение, алчут известности, а вот стихи сочинять — этого не дано. Из таких-то поэтов и выходят религиозные подвижники, разного рода протестанты, революционеры, просветители, путешественники и, между прочим, дельцы, которые горазды нажиться на неумехе и слабаке.

Этот подвид поэта — особь статья. Вроде бы сам по себе он воплощенное зло, так как руководит им один из семи смертных грехов — гордыня, мотив его деятельности — стяжательство, он бессовестно манипулирует национальным достоянием и крадет у труженика честно заработанные гроши. Вроде бы за такие художества мало четвертовать — ан нет, потому что в результате этой вакханалии зла психически уравновешенные народы давно завели у себя товарное изобилие, неподкупную власть, пособие по безработице, на которое у нас можно купить Кронштадт, и прочие блага, составляющие в нашем измученном сознании то самое заветное слово — социализм. И даже ничего нет сверхъестественного в этом трюке — одна начальная алгебра, из которой нам, в частности, известно, что два минуса дают плюс. Когда зло в виде стяжательства вступает в реакцию со злом в виде понятия «перекур», тогда мы получаем товарное изобилие и такое сумасшедшее пособие по безработице, что хоть покупай Кронштадт. Напротив: налицо бывают сумасшедшие очереди за тюлем, когда добро в виде гуманистически настроенной диссидентуры вступает в реакцию со злом в виде понятия «перекур». Однако и с этой вредной алгеброй следует примириться, ибо неполная занятость развивает мечтательность, а также из нее вытекает волшебное свойство русского человека — возвышенный строй души.

В начале двадцатых годов Андрей Белый отпросился у большевиков съездить проветриться за рубеж. Пожил он некоторое время в Германии, проветрился и вот пишет письмо домой:

«Культуру Европы придумали русские; на Западе есть цивилизация; западной культуры в нашем смысле слова нет; такая культура в зачаточном виде есть только в России...»

Примечательные слова. То есть в первую очередь примечаем: все-таки это странно — была великая культура Западной Европы, и вдруг ее не стало, и куда тогда она подевалась, и неужели больше никак не отзывается на европейце огромное духовное наследие, которое наработали поколения творцов, от Гартмана фон Ауэ до Камю... Поскольку Шартрский собор и па-

мятник Марку Аврелию по-прежнему стоят на своих местах, то, видимо, и по Андрею Белому, и объективно, дело обстоит так... Наследие наследием, а культура — это не только то, что сочиняется и воплощается в материале, культура — это еще и мера потребности в таких произведениях человеческого гения, которые нельзя съест.

Отсюда другое примечание: если бы готтентоты, не давшие миру ни единого стиха, имеющего общечеловеческое значение, только и делали бы, что читали Гоголя и Шекспира, то их следовало бы назвать самым культурным племенем на земле. С другой стороны, французы дали миру великого Паскаля, а между тем невозможно представить себе француза, который читал бы «Письма к провинциалу», едучи в метро от Пасси до площади Этуаль.

А вот в России такая аномалия встречается сплошь и рядом, и даже метро у нас не столько средство передвижения, сколько подземный читальный зал. Мало того, что мы произвели на свет самую утонченную литературу, у нас, по крайней мере до самого последнего времени, книга почиталась предметом культа, как у ламаистов молитвенный барабан. Для полноты впечатления прибавим сюда беспочвенный романтизм, распространенный среди русских наравне с пьянством и самоанализом, отвлеченные интересы и страсть к общению по душам. Отсюда третье примечание: сдается, центр европейской культуры как-то незаметно переместился в Россию, если понимать европейскую культуру как примат духовного знания, если принять в расчет, — мы непосредственно, до такой степени воспитаны литературой, что человек сделает ненароком гадость и скажет себе: Павка Корчагин так бы не поступил.

Правда, с цивилизацией дело худо, до того худо, что взятки у нас не берут только паралитики, и либеральные настроения распространены гораздо шире, нежели пипифакс. И вот по той простой причине, что у нас, бывает, сморкаются себе под ноги, Западная Европа исстари представлялась нам некой сказочной Атлантидой, средоточием идеалов, высокого знания, изящных навыков и манер. Как же иначе, если там крестьяне по воскресеньям балуются газетой, Сервантес с Мольером отличаются, а у нас шахматы под запретом и секут головы за мелкое колдовство... Как же иначе, если оттуда до нас исправно доходят свежие идеи, новые фасоны, модные увлечения и всякая милая чепуха... Оттого-то мы по своей славянской наивности полагаем, что коли в Западной Европе нет такого заведения сморкаться себе под ноги, то там должны запоем читать Спинозу и с утра до вечера спорить о значении черного Дега.

Именно что западноевропейскую культуру выдумали русские, ибо Западная Европа давно представляет собой уютный, ухоженный континент, населенный усердными производителями и расчетливыми потребителями, которых по-настоящему могут волновать только новеллы в области налогообложения и меню. Видимо, со временем как-то выродилось в цивилизацию огромное духовное наследие, наработанное поколениями творцов. Почему это произошло, вывести мудрено, может быть, потому, что культура — убежище для немногих, и посему она представляет собой не цель, а средство принудительного воспитания, причем воспитания такого человеческого типа, который вполне вписывался бы в природу, не знающую воли, добра и зла. Поскольку именно этот тип не опасен для мироздания, то, может быть, задача исторического процесса состоит в том, чтобы вернуть Адама и Еву в первобытное состояние, в котором они пребывали до грехопадения, покуда не пострадали от Сатаны. Коли так, пожалуй, одна культура, навязанная извне, способна превратить озлобленного пролетария в законопослушного человекопокупателя, которому дела нет до Гартмана фон Ауэ и Камю. В этом случае культура представляет собой загадочный инструмент для операции на душе, а цивилизация — кодекс, своеобразную присадку к генетическому коду, которая стирает в родовой памяти понятия о воле, добре и зле. Таким

образом, Гете мучился исключительно из того, чтобы немец грядущего неукоснительно соблюдал правила дорожного движения и выгуливал свою собачку в установленные часы.

Но скорее всего человек — на то он и человек, чтобы возвышаться над природой, и тогда культура есть самая его суть. Если он в течение тысячелетий настойчиво вырабатывал систему посторонних вещей, которые не годятся в пищу и не могут его согреть, то человек — это культура, и как скоро кончится культура, кончится и собственно человек.

Хочется надеяться, что она не кончится никогда. Особенно нам, русским, следует на это надеяться, и потому, что надеяться больше не на что, и потому, что Россия — это территория, где сейчас происходит всемирно-историческая схватка между наследниками Пушкина и потомками Пугача. За что нам такая честь, то есть отчего именно у нас разразился этот последний и решительный бой: просто-напросто мы позже других народов Европы приобщились к культуре расы, и если у них налицо результат, то у нас — процесс. Кроме того, мы целое столетие жили в искусственном обществе, где все было искусственное: экономика, интересы, парламентаризм, общественное мнение, этические понятия, сам закон. То-то мы читали запоем и предавались кухонным бдениям, в то время как в Европе культура мало-помалу вырождалась в цивилизацию и в конце концов человеко-покупатель вышел на первый план. Впрочем, тут опять же не все понятно, то есть одно из двух: может быть, такова объективная закономерность, что человек неизбежно должен опроститься до покупателя, а может быть, да здравствует искусственное общество как выход из тупика. До того действительно неприглядна пошлая рожа новой России, что в затылке начешешься, размышляя, что все-таки живительней для культуры: вольный рынок и демократические свободы или бытование в стороне от естественно-исторического пути? Видимо, и то, и другое худо: и когда экономика подчинена понятию о прекрасном, и когда понятие о прекрасном вытекает из экономики, хотя бы первая коллизия давала огорченную начитанность и всяческое гранде-гарпагонство следовало из второй.

Другое дело, что культура еще и нагрузка, бремя, ибо приобщенное меньшинство чрезмерно живо, можно сказать, литературно, отзывается на людское страдание и беду. Из-за «Пунктов» Лютера разразилась европейская Реформация, французские энциклопедисты накликали яacobинский ужас, Григорович с Тургеневым развязали у нас террор. Правда, позже Западная Европа остепенилась, сочинения Маркса заморозили равным счетом сто четырнадцать человек, но в России, где культура никак не хотела вырождаться в цивилизацию, увлечение «Капиталом» обернулось такими потрясениями, какие даже трудно было вообразить. Тут, конечно, подумается: а может быть, ну ее, эту самую меру потребности в таких произведениях человеческого гения, которые нельзя съесть, по той простой причине, что культура есть смятение, цивилизация есть покой.

Вот как бы нам так устроиться, чтобы и белка, и свисток, чтоб и правила дорожного движения соблюдались, и культура была жива. Не исключено, что тут-то и кроется наша национальная идея, высокая миссия русака: осилить очередное чудо, примирив духовность и гражданственность, эстетику расы с благами внешнего бытия. Эта задача представляется не такой уж и фантастической, если принять в расчет, что Россия, как известно, страна чудес. Ведь шутка сказать — мы, кажется, последнее государство в Европе, где писатель еще писатель, а не сумасшедший и где читатель еще читатель, а не бездельник, не знающий, чем бы себя занять.

Джон Рид хотя и американец, то есть существо не то чтобы совершеннее, пишет в своей книге «Десять дней, которые потрясли мир»: «Что

бы ни думали иные о большевизме, неоспоримо, что русская революция есть одно из величайших событий в истории человечества, а возвышение большевиков — явление мирового значения».

Между тем... Вот уже двести с лишним лет, как французы празднуют день 14 июля, да еще с такой помпой, словно это вместе взятые Пасха и Рождество. А что, собственно, произошло-то двести с лишним лет тому назад в этот погожий июльский день? А вот что: мануфактурный фабрикант Ревельон обругал компанию разгулявшихся босяков, те в отместку разграбили его дом, в дело вмешалась полиция, против полиции поднялся пролетариат Сент-Антуанского предместья и сгоряча взял приступом королевскую тюрьму, которая стояла на нынешней площади Бастилии; в результате пролетарии освободили семерых уголовников и отрезали голову коменданту крепости Делоне.

Вот уже десять лет, как у нас не празднуют день 7 ноября (он же 25 октября по старому стилю), когда в Петрограде свершилась социалистическая революция (она же большевистский переворот). Что, собственно, произошло в этот промозглый осенний день? А вот что: если не брать в расчет двух изнасилованных ударниц, к власти пришла горстка мрачных идеалистов, которые задумали построить Царство Божие на Земле. То есть произошло событие такого значения и масштаба, что с ним идет в сравнение только этическая революция, свершившаяся по манию божественного Христа.

И правда: какое еще происшествие в истории человечества может сравниться с русским экспериментом, который поставил под сомнение все ценности старого мира ради благоденствия огромного большинства? Ну Александр Македонский полсвета завоевал, хотя был человек просвещенный и не дурак. Ну Исаак Ньютон открыл закон всемирного тяготения, и человечеству стало доподлинно известно, отчего пьяные не парят над тротуарами, а валяются под забор. Что же до Великой французской революции, то ей следует отказать в величии потому, что настоящая побудительная причина этого события заключается в лозунге: «Laissez faire, laissez passer» — то есть, по нашему, в свободе сильного грабежа.

А вот третья русская революция точно была великой, ибо в первый и, видимо, последний раз в мировой истории человек предпринял попытку устроить общество по Христу. Действительно: как ни открещивались большевики от христианства, как ни изгалялись над греко-российской церковью, в сущности, они руководствовались положениями Нагорной проповеди — именно что ради нищих духом поставили они октябрьский эксперимент, ради плачущих, кротких, алчущих и жаждущих правды, то есть всячески страдающих и обиженных, которых Христос определяет как соль земли. Хоть ты что, а общество полной и окончательной справедливости — это уже что-то колдовское, сверхчеловеческое, это как взять и отменить круговорот воды в природе или учредить дополнительную звезду. Ибо господство сильного над слабым — это нормально, и anomalно, если наоборот.

И ладно кабы сразу стало ясно, что опыт переустройства мира не задался и обречен, а то ведь семьдесят четыре года страна строила Китеж-град. Между тем опыт был действительно обречен, поскольку общество, ориентированное на посредственность, неизбежно хиреет и вырождается, пока не приходит к жалкой карикатуре на идеал. Но тогда тем более изумителен русский эксперимент, так как он говорит в пользу человеческой породы, может быть, даже больше, чем способность очаровываться и творить. Ведь это значит, что наш отпетый идеалист, называйся он как угодно, манкировал объективными законами и уповал на совершенного человека, способного возвыситься до святости через распределение по труду. Ведь это значит, что миллионы нищих духом поверили в себя как в источник совершенства, не-

что способное возвыситься до святости через распределение по труду... Несомненно, что именно так и было, поскольку русский коммунизм — это не германская заумь насчет общественного способа присвоения избыточного продукта, русский коммунизм — это «Вчера наш Иван огороды копал, а сегодня наш Иван в воеводы попал» и через то сделался нравственен, как дитя. Во всяком случае, наше социалистическое воспроизводство семьдесят четыре года держалось на снах Веры Павловны и легендарном долготерпении русака.

Оттого-то годовщина Октябрьской революции и есть наш единственный по-настоящему национальный праздник, что 7 ноября мы чествуем отчаянного русского идеалиста, который попытался основать Царство Божие на Земле. И даже одного праздника для него мало, поскольку русский идеалист — уникальное явление природы, которое не может не вызывать восхищения и некоторой оторопи одновременно, какие еще вызывают необъяснимые фокусы, бессмысленное самопожертвование и говорящие снегири. Как же он не единственен и не трансцендентен, если задумал возвести в перл создания угрюмое и нетрезвое существо, которое развлекалось по праздникам массовым мордобоем и в исключительных случаях отличало благодетеля от врага.

Дело у русского идеалиста, правда, не задалось, но это говорит не столько о его несостоятельности как преобразователя, сколько о том, что человек по преимуществу млекопитающее, безобразник и неумен. Ему около двух миллионов лет, две тысячи лет он исповедует христианство, и как его только не вразумляли, он по-прежнему млекопитающее, безобразник и неумен. Поэтому поражение идей русского Октября есть, в сущности, поражение человечества, которое именно что хлебом единым живо, как бы оно ни кобенилось, ни лгало. Поэтому поражение идей русского Октября есть, в свою очередь, поражение Иисуса Христа, ибо никакими крестными муками, включая бескормицу и террор, мы не искупили своего происхожденческого греха. На самом деле эта такая драма, что, во всяком случае, глумиться над ней нельзя.

Равно и большевиков логично ненавидеть, но алогично не уважать. Хотя бы потому, что социалистическая революция — это наше, это нечто такое, что не могло случиться никогда, ни при каких обстоятельствах и нигде. Уж так устроен русский человек, что даже объективная несправедливость, вроде наличия климатических поясов, для него в такой же степени нестерпима, как вместе взятые похмелье, нытье под ложечкой и понос. Немудрено, что он готов кинуться в любую авантюру и пожертвовать чем угодно, только бы восторжествовала субъективная справедливость, хотя бы отвечающая апостольскому пожеланию: «Не трудящийся да не яст». Отсюда вытекает главный урок великого Октября: таковой доказал, что русские — самая романтическая нация на Земле.

Оттого-то мы и одиноки, что при нынешнем положении вещей это свойство сильно не ко двору. Как бы нам не претерпеть от сугубых материалистов западного полушария, которые почему-то считают себя идеалистами, то есть не *почему-то*, а на том основании, что они верят в загробный мир. Уж больно нас все не любят, а не любят потому, что боятся, дескать, от романтиков чего угодно можно ожидать, а боятся оттого, что не понимают, а не понимают по той простой причине, что мы на полпорядка сложнее самого сложного явления в западноевропейской жизни — парижского босняка.

Когда все читают, это ненормально, все читателями быть не могут, равно как гипнотезерами, канатоходцами, предсказателями будущего, живописцами, лицедеями, чрево вещателями, подвижниками, изобретателями, рапсодами, анахоретами, коллекционерами, дельцами, специали-

тами по белому муравью. Страсть к чтению есть в своем роде избранничество и талант, и оттого она встречается в природе чаще, чем клептомания, но значительно реже, чем расположенность выпить и закусить. К тому же читатель — существо привиредливое, выше всего ставящее счастье общения с лучшими умами человечества, в ущерб благам цивилизации, продолжительности жизни и мнению о себе. С другой стороны, читатель есть существо по-своему отчаянное, неустрашимое, потому что общение с лучшими умами человечества чревато такими мучительными открытиями, о которых Екклезиаст пишет: «Во многия знания многия печали». Так что в другой раз подумаешь: уж лучше быть специалистом по белому муравью.

Например, оторопь берет, как дочитаешься до воспоминаний Ивана Алексеевича Бунина, потому что у него, какого писателя ни коснись, все были сумасшедшие или по крайней мере в той или иной степени не в себе. Как-то: Левитов, переночевав у кого-нибудь из приятелей, обязательно метил место; Куприн свою жену обливал одеколоном и поджигал; Кузьмин раскрашивал себя под старую проститутку; Зинаида Гиппиус, дескать, не зря подписывалась мужским именем; Николай Успенский — просто патологический негодяй; якобы со слов Софьи Андреевны, Толстой был клинический сумасшедший, только что за талантом этого было не разглядеть. А ведь тут — лучшие представители нации, служители идеального, то есть самая ее суть. Каковы же тогда должны быть люди обыкновенные, которые живут преимущественно низменными интересами и редко когда поднимаются до осознания себя как частицы предвечного Существа?

Простые люди у нас только что лица не разрисовывают, а так они тоже отличаются по линии профессора Ганнушкина, и зело. На праздники они травят себя рафинированным ядом, по будням напрягаются, чтобы выжить, и выживают-таки, чтобы напрячься вновь, они ненавидят друг друга из-за мелких канонических разногласий и способны на смертоубийство, если втолковать им, что смертоубийство — священный долг. То есть по отношению к природе простаки выходят в такой же степени сумасшедший, в какой служитель идеального выходит по отношению к простаку.

Стало быть, дело обстоит так: человек есть аномалия в своем роде, и аномалия потому, что ему свойственны такие странные качества, какие не встретишь ни в живой природе, ни в неживой. Например, человек испытывает непонятную потребность в красоте и ни одного глиняного горшка не оставит без того, чтобы придать ему изящную форму и украсить орнаментом почудней. К чему бы это? По всей видимости, к тому, что в человеке заложена потребность в красоте, как способность к прямохождению и положительному труду.

Или такой пример: человек стесняется собственной наготы. Все дыхания мира, от бабочек до собак, не стесняются наготы, а человек, видите ли, стесняется, к тому же он не отправляет естественных потребностей на виду, в то время как это в порядке вещей у прочих дыханий мира, от бабочек до собак. К чему бы это? По всей видимости, к тому, что человек чувствует в себе нечто загадочно прекрасное, несовместимое со своей биологической атрибутикой, причем он даже может и не понимать, в чем причина такого противоречия, но ощущает его объективно, как резь в боку. Так вот что бы мы сказали о собаке, которая изъясняла бы потребность в красоте, отправляла бы свои естественные потребности в общественных туалетах и стеснялась собственной наготы? Мы бы сказали, что это сумасшедшая собака либо она произошла не то чтобы исключительно от суки и кобеля.

Материалист возразит на это: дескать, все сверхъестественные качества человека представляют собой следствие общественного развития, дескать, он два миллиона лет терся среди своих соплеменников и в результате

стесняется прилюдно пометить фонарный столб. Мы материалисту, в свою очередь, возразим: интересно, какие именно общественные обстоятельства могли таким образом вышколить человека, чтобы прежде соития он запирали за собою дверь? Чтобы, сооружая гробницу себе подобному, он не столько думал о целесообразности, сколько о красоте? Чтобы он конфузился при дамах произносить некоторые слова? Наконец, чтобы в исключительных случаях он оперировал художественным талантом, тем более что это такая ненормальная сила, которую даже пропить нельзя... По-видимому, человек оттого и стесняется млекопитающего в себе, оттого и ощущает себя по крайней мере сумасшедшим млекопитающим, что сознает двойственность своей сути, свое происхождение хотя бы и в рамках матери-природы, но при участии Высших Сил.

Таким образом, предположение, что Бога нет,— это будет гораздо более смелая гипотеза, нежели предположение, что Он есть. Более того: человек до такой степени поврежден сравнительно с явлениями природы, что предвечное бытие Создателя становится очевидным, что вера само собой переходит в знание, а знание — в гармоническое понятие о себе. По крайней мере быть безбожником — это довольно странно, это то же самое, что шоферить, не веря дорожным знакам, и даже быть безбожником некультурно, если неотъемлемая часть культуры есть то, что мы понимаем под «может быть».

Следовательно, это даже спасительно, что читают у нас не все. Так, человек и в ус не дует, полагая, что с него взятки гладки, ибо он всего-навсего мыслящее животное, а так почитает-почитает и призадумается: дескать, как бы действительно после не ответить за помыслы и дела...



Кирилл КОБРИН

Маленькая коллекция

Галстук

В. С.

У нее была широкая вогнутая морда резиновой куклы, которой надавили на нос, и тяжелое задастое имя Алла. Председатель совета дружины или что-то в этом роде, не помню. Помню только, что такие всегда были председателями советов, дружин, звеньев, звездочек и прочая.

Я настиг ее в полузабытом пустынном коридоре, настоящем аппендиксе нашей школы, где ютились ненужные и тоже полузабытые ботаника с биологией. Я настиг ее у давно сломанного медного крана, который устоял в отсутствие раковины, в обрубок ржавой трубы, поднимавшийся ему навстречу с грязно-малинового паркета. Я настиг ее почти у самого окна, где в бесцветном солнечном луче играла мельчайшая взвесь пыли и сухой мастики. Я настиг ее, тихонько поднял обеими руками свой плоский черный «дипломат» и обрушил на верхний правый угол ее аккуратного, жиренького (в хозяйку) портфеля.

Тогда это был лучший из видов спорта. Почти все, исключая качков с длинноремнем через плечо (фиолетовая надпись «Queen» на белой диагональной полосе) и фраеров с франтоватой папочкой, куда помещались дневник, ручка, тетрадь (одна), носили портфели и «дипломаты». При удачном ударе твой портфель некоторое время даже сопровождал в падении своего поверженного собрата. Так в теннисе ракетка по правилам должна мгновенно сопровождать спешащий назад мяч.

Удар был удачным. Портфель глухо шмякнулся на пол (так шмякнется дерьмо на лопухах поросшем солнечном пустыре) и замер. Алла повернулась. Я улыбнулся. В руке у нее была авоська со спортивной одеждой и кедами. Она размахнулась, сумка влетела мне прямо в физиономию. Коридор и четырехугольник окна быстро качнулись вправо, рухнули вниз и рассыпались там подлым звоном осколков. Колер остался тот же, но границы расплылись: окно перетекало в стены, стены — в коричневую форму Аллы, форма, да и вся Алла, набухали красным бутоном галстука. Я стоял почти ослепший без очков, в ореоле запаха ног и подмышек главной пионерши класса и понимал, что это все. Я кончился. Сквозь звон в ушах я услышал сосущий шепот: «Сорви, сорви его».

Странно, но мы были одни, совсем одни в том коридоре. Я буквально нырнул на этот красный бутон — и, когда наконец разнял руки, в каждой было (я чувствовал это на ощупь) по жалкой измятой тряпочке. Красный бутон лопнул; мои кулаки сжимали лепестки. И тогда я разжал их, и тряпки упали на пол.

Теперь вообразите следующую сцену: пустой пыльный закоулок школы, освещенный вермееровским окном. Толстая школьница со священным ужасом усталилась перед собой. Я остервенело топчу остатки галстука и остатки своих очков. Вперемежку.

.....

Автозаводская элегия

Вы проезжаете парк «Дубки», охватываете петлей виадук, проскальзываете меж грязно-бордовых и грязно-желтых домов «Пролетарской», перемахиваете по другому виадуку и на съезде с него натываетесь (взглядом, надеюсь) на большую бетонно-металлическую надпись «Автозавод». Вот он, город в городе, Великое Герцогство Автозаводское, индустриальный рог изобилия, осыпающий сограждан «Волгами» и «Газелями», апофеоз индустриального сепаратизма и цепкого патернализма. Не знаю, как раньше, но уже в семидесятые никакой советской власти здесь не было: властвовали не первые секретари с председателями исполкомов, а «генеральные», «замдиректора по сбыту», «по социальным вопросам», «зампокадрами». «Замок» Кафки здесь изучали не по книжке, а в жизни — несмотря на недостаток рабочей силы, «на завод» (не поясняя, на какой, других как бы и не было) «устраивали» знакомые, сами занимавшие мизернейшие должности, вроде уборщицы в управлении кадров. Школьники проходили «практику» «на заводе», выпускников спрашивали: «Куда пойдешь?» — а они отвечали: «Куда? На завод, конечно!»; «на заводе» калечились, влюблялись, погибали, воровали, пили; «завод» лечил, учил, хоронил. Великое Герцогство Автозаводское имело и своих илотов: это были среднеазиаты и вьетнамцы, которых сотнями посылали на неквалифицированную работу. Они жили в гетто — специальных общежитиях; на этих местных илотов нападали местные спартанцы — шпана из Северного поселка, ритуал именовался «мочить чурок».

Сердцем палатината был сам выкрашенный в желтую краску безграничный завод. Над ним, как шпили соборов, возвышались трубы и замковая башня — Управление. Дальше тянулись вассальные заводики, а за ними — кварталы жилого района. Как настоящий феодальный город, Автозавод был полностью погружен в обслуживание нужд Замка и его обитателей. Замок платил патернализмом. Улицы района закреплялись за отдельными цехами и производствами; в свободное от станков и конвейера время подпившие работяги, окуджавистые итээры и бронетанковые тетки в нитяных спортивных штанах с вытянутыми задницами елозили метлами и царапали землю граблями. Светило солнышко (осеннее или весеннее), в тряпичных сумочках ждало своего часа *кое-что*, орал «Маяк» из «Спидолы», легкий матерок перемешивался с папиросным дымком, и ощущение беспредельного счастья не покидало ни действующих лиц, ни случайных зрителей. Разгладив похмельные морщины, в подшефные школы приходили знатные передовики производства, и кто-то из малышей непременно узнавал в одном из них дядю Васю из соседнего подъезда. Ежегодно устраивались пробеги на призы газеты «Автозаводец». Собственный заводской хоккейный клуб «Торпедо» вился в первой пятёрке чемпионата СССР и поставлял четвертую тройку нападения для сборной, не говоря уже о легендарном вратаре Коноваленко. В Парке культуры и отдыха Автозавода было целых пять пивнушек. Такого счастья душа вынести просто не могла. И не вынесла. Как писал поэт: «Нет, не бывать тому, что было прежде! / Что в счастье мне? Мертва душа моя!»

Исторический комментарий

Автозавод — сокращенное название Горьковского автомобильного завода и одновременно района города Горького (сейчас — Нижний Новгород).

Палатинат — в средние века феодальное владение, пользовавшееся особой автономией.

Илоты — государственные рабы в Древней Спарте, прикрепленные к определенным наделам земли, полностью бесправные, подвергаемые крайне жестокому обращению.

Прогулки по островам

Сесть в метро, доехать до «Черной речки», затем — на трамвай, выйти, оставить слева от себя буддийский храм, пройти по деревянному мостику и... «Вновь оснеженные колонны, /Елагин остров и два огня...» Это Блок. «На островах». Поэт часто бывал «на островах» — Елагином, Крестовском, — глушил себя портером в бесконечных ресторанах и кабачках, посещал варьете, заводил знакомства с местными проститутками: «За толстыми пивными кружками, /За сном привычной суеты/ Сквозит вуаль, покрытый мушками, /Глаза и мелкие черты» (Как прекрасен этот «вуаль» мужского рода! Как странно, мистически он «сквозит» «за толстыми пивными кружками!»). Поутру, приняв ванну, поэт записывал в дневник: «Ночь глухая, около 12-ти я вышел. Ресторан и вино... Лихач. Варьетэ. Акробатка (такой трусливо-цирковой эфемизм сочинил Блок для обозначения своих ночных знакомых. — К. К.) выходит, я умоляю ее ехать. Летим, ночь зияет. Я совершенно вне себя... Я рву ее кружева и батист, в этих грубых руках и острых каблуках — какая-то сила и тайна».

Ни у кого из русских поэтов, кроме Блока, вульгарная проститутка не вызывала столь острого эстетического восхищения. Помню, в детстве было невозможно поверить, что и «шляпа с траурными перьями», и «в кольцах узкая рука», и «вздыхая древними поверьями» — это все про нее: «маньку», «шалаву», «шлюху», наконец — «Катьку» из того же Блока, только революционного. И действительно, чувствуете ли вы, как от восхищения, почти священного, захватывает дух: «Я чту обряд: легко заправить / Медвежью полость на лету, / И тонкий стан, обняв, лукавить, / И мчаться в снег и темноту...»?

В том же 1911 году, в котором Александр Блок выпытывал у островной незнакомки: «Средь этой пошлости таинственной, / Скажи, что делать мне с тобой...», юный нахальный эгофутурист Игорь Северянин сочинил свой вариант «На островах». В отличие от старшего поэта он использует иные, более современные средства передвижения (футурист все-таки!): «В ландо моторном, в ландо шикарном / Я проезжаю по Островам». Но персонажи все те же: «эти дамы», «феи» (в иронических кавычках); похожи на блоковские и вопрошания: «И что тут прелесть? И что тут мерзость? / Бесстыж и скорбен ночной пуант». Действительно, сравните: «скажи, что делать мне с тобой?» — «и что тут прелесть?» Ответ, в общем, несложен: «ночной пуант».

Но футурист (как и положено) пошел дальше. Вот гривуазно-мещанская концовка его стиха:

Кому бы бросить наглее дерзость?
Кому бы нежно поправить бант?

Трогательная пошлость Северянина нашла своего адресата. Через семнадцать лет после моторных променадов эгофутуриста по Островам двадцатипятилетний Николай Заболоцкий сочиняет своих знаменитых «Ивановых». Там юные коллеги блоковских «незнакомок» и северянинских «фей» обретают право на собственный голос, на свой вопрос. Блок не знал, что ему делать с «акробаткой», Северянин легкомысленно искал, «кому бы нежно поправить бант?», «девка» Заболоцкого просто вопиет:

...Куда идти,
кому нести кровавый ротик,
кому сказать сегодня «котик»,
у чьей постели бросить ботик
и дернуть кнопку на груди?
Неужто некуда идти?!

Действительно, куда идти? На блоковские Острова путь был закрыт. На дворе 1928 год. Старорежимные «незнакомки» и «феи» высланы или расстреляны. «Вуаль», «перстни», «острые каблуки» — все по ту сторону

семнадцатого года. Но дело не в истории. Разве не согласился бы Блок с леденящим душу восклицанием автора «Столбцов»: «О, мир, свинцовый идол мой...»?

Приглашение к путешествию

Сейчас, когда по европейским культурным столицам бродят миллионы примерно одинаково одетых людей, вооруженных фото- и видеокамерами, когда пляжи европейских курортов покрывают миллионы одинаково раздетых тел, трудно представить себе, что еще пять сотен лет назад, в это же время, в разгар июля, особого перемещения туристов по континенту не наблюдалось. Не наблюдалось и самих туристов. Впрочем, обо всем по порядку.

Два главных гимна путешественников, то есть людей, перемещающихся по пространству ради главным образом своего удовольствия, были сочинены в новое время, в «буржуазную эпоху», когда путешествия, туризм превратились в массовое времяпровождение. Я имею в виду знаменитое бодлеровское «Приглашение к путешествию» с его простоватым зачином: «Голубка моя, / Умчимся в края, / Где все, как и ты, совершенство...» и холостяцкий призыв Мандельштама, обращенный к Георгию Иванову: «Поедем в Царское Село! / Свободны, веселы и пьяны...» Вторая половина девятнадцатого — начало двадцатого века — время, когда на улицах Рима, Парижа, Венеции появилась странная категория людей, одетых, как им казалось, по-дорожному, окруженных местными оборванцами и проводниками, уткнувшихся в одинаковые книжки, именуемые «Бедкером» (так называли тогда самый популярный интернациональный путеводитель). Александр Блок, побывавший в Италии в 1909 году, пишет о племени «английских туристов и туристок, обреченных на унылое скитальчество по картинным галереям Европы, плодящих породу гидов, которые голодной стаей бросаются на посетителя».

Между тем страсть к путешествиям, к путешествиям с разной целью — познавательной, душеспасительной, общественной; пусть даже к путешествиям «просто так», «от нечего делать» существует столько же, сколько существует человек. Другое дело, что для реализации, воплощения этой страсти необходимы определенные общественные условия, такие, как: разделение труда, наличие свободного времени, наличие твердой власти, гарантирующей безопасность путешественников. Неудивительно поэтому, что первые известия о путешествиях, ставших обычным делом (хотя бы для социальной верхушки), относятся к зрелым цивилизациям. В античности, например, путешествия с образовательными и развлекательными целями участились в эллинистическую и римскую эпоху. Самым знаменитым туристом античности был, наверное, римский император Адриан: он объехал всю восточную и западную часть империи и за это получил прозвище «императора-путешественника». Хотя в Риме путешествовали не только императоры. Империя создала небывало густую и хорошо организованную транспортную сеть как на суше, так и на море. Появился даже такой литературный жанр, как «путеводитель»; путеводители существовали отдельно для сухопутных и морских путешествий. Самым известным из них было «Описание Эллады», сочиненное Павсанием во втором веке нашей эры. Излюбленным местом путешествий в Римской империи (как и в постсоветской России) был Египет.

Средние века почти не знали путешествий с познавательной и тем более развлекательной целью; к тому же политическая раздробленность, постоянные войны, отсутствие единой денежной системы делали любые значительные перемещения в пространстве почти подвигом. И такие подвиги были — появляется новый вид путешествий: паломничества, расцветшие в позднее средневековье и приносившие огромный доход католической церк-

ви. И только развитие просвещения, появление обеспеченного «среднего класса», техническая революция и возникновение хотя бы зачаточной туристической индустрии превратили «путешествие» из социального исключения в социальное правило большинства европейских стран. И пусть Блок возмущался «всемирной желтой пылью», окутавшей гордую Флоренцию, но оказался он в этой самой Флоренции именно как турист: в летней шляпе, с портпледом и «Бедкером» под мышкой. Послушаем лучше другого русского поэта-путешественника, Михаила Кузмина:

В Бедкере ясно советы прочтете:
 Всякий собравшийся в путь,
 С тяжелой поклажей оставь все заботы,
 Леность и грусть забудь.

Венецийский детектив

«Я БЫЛ РАЗБУЖЕН СПОЗРАНКУ / ЩЕЛЧКОМ ОКОННОГО СТЕКЛА».

У поэтов — все вперемешку. Поэты — итальянцы. Точнее, итальянские повара: пузатые, красноносые, с пугливой душой. Готовят местную «пасту» или того хлеце — «спагетти». На лингве советского общепита это значит «макаронны по-флотски». Уместна ли будет ирония? Скажем ли, что оные макаронны были вкусны в те времена, когда флот был могуч, пушки — точны, адмиралы — трезвы (по преимуществу)? Что съесть их надо было во времена Ушакова или Крузенштерна? Не знаю. Знаю одно: паста макаронников и наши «по-флотские» макаронны почти синонимы есть. Мак. изделия, фарш (вариации: мясо, бекон, требуха), томат. Щедрый апеннинец одобрит специей и сыром. Русак щедр только душой. Я забалтываюсь, будто присяжный комментатор «Евгения Онегина». В стихах все вперемешку. Как в итальянской пасте, как в родных военно-морских макаронах. В стихке редкие кусочки мясистой истины овкусивают лапшу выдумки. Кровь заменяют алым кетчупом, страсть — огненной паприкой, свежесть — сушеной зеленью. Стишок готов. Сейчас его съедят. Но постойте, здесь почти все ложь...

Во-первых, мой отель находится вовсе не в Венеции. Из скупости я остановился на материке, в городке Местре, что в семи минутах неторопливой железнодорожной езды от нее. Город Святого Марка хоть и утратил венец политический, зато увенчан другим — венцом дороговизны. За один день здесь русский путешественник платит месяцем жизни на родине. Только полные богачи, вроде князя Петра Вяземского или газетного магната Суворина, могли не заметить этого. Помню, читал я дневники Суворина, вернее, сивуху из них, выгнанную в двадцатых годах какими-то сентиментальными большевиками. Издание заканчивалось записью, сделанной в Венеции 11 ноября 1907 года: «Сегодня мне 73 года». Я тогда расстроился: «Ни в Венеции мне не побывать, ни до семидесяти трех не дотянуть».

Но то богачи. Пастернак в августе двенадцатого года выдержал здесь только несколько дней. Краткость визита маскирует он объяснениями матримониального толка (какая-то чушь о встрече в ресторане и наспех опрокинутом омаре), но я-то знаю — не испил поэт сполна венецианской жизни по бедности, по ней, родимой. К тому же, кажется, он был скуповат.

Что же до меня, то скупость есть важнейшая сторона моего характера, моей нравственной физиогномии (или безнравственной рожи, что точнее). В детстве я экономил на школьных завтраках и покупал рок-н-рольные пластинки. В юности я экономил на университетских обедах и тратился на девочек. Сейчас я экономлю на ужинах и покупаю книги, вино и деликатесы, а окружающим заливаю про вредность вечерних трапез. Поэтому я остановился в Местре, поэтому не мог спозаранку слышать щелчок венецианского оконного стекла. Зато насчет «разбужен спозаранку» — ох, как верно.

По местному времени было около пяти утра. Накануне я напробовался духовитой грапшы в пустых барах у Фондамента Нуове и с восторгом заблудился между Иоанном и Павлом. Редкий в этом районе (а потому пугливый) турист принимал меня за местного. Грация, синьор. Кое-как добрался до станции, сам себе лаццарони. Чуть не проклевал носом свой хутор, в отеле намакаронился — и у койку. Но не успел клейкий сон обмотать мою отяжелевшую голову, как что-то кольнуло недоусопший слух, и я стремительно вынырнул из дремотной одури, отфыркиваясь и отплевываясь. Потом, как ни паковал свое тело на расстаравшейся кровати, так и не уснул снова. Что же. Одной рукой откупорим «эвиан», другой — нащупаем пульт. Займемся TV-серфингом.

Вот тогда-то, почти в полшестого, запор окна соседнего номера щелкнул, стекло бряцнуло, и рама, вжикнув, поднялась. Я выключил звук и подкрался к окну. В серо грязной водичке рассвета умывались внутренний дворик отеля, грузовичок, мусорные баки. Покатый бордовый навес, начинающийся под окнами моего второго этажа, прикрывал стоянку легковушек. Он трещал и гнулся, хотя ветра не было. Я заглянул направо и увидел, как из соседнего окна на навес осторожно вылезает женщина.

Была ли она хороша? Трудно сказать. Во всяком случае, закрытое черное платье ниже колена, туфли на каблук и изящная мавританская сумочка-полумесяц — не самое подходящее обмундирование для джеймсбондовых походов. Хотя справлялась она довольно ловко, спускаясь вниз по навесу боком, как на лыжах с холма. Я смотрел в окно, будто во второй телевизор, будто это кадры из неизвестного пижонского фильма Бессона о суперэлегантной супершпионке. Она действительно была элегантна: тонкие лодыжки, узкие плечи, осторожные и ловкие движения рук. Когда незнакомка почти достигла земли, я натянул джинсы, схватил куртку — и вон из номера, по узким зеленым коридорчикам с карнавальными мордами на стенах, мимо спящей ночной портьерши, под дыньк дверного колокольчика, за угол, у черного входа, притаившись. А вот и она.



Михаил ЭПШТЕЙН

Хроноцид

ПРОЛОГ К ВОСКРЕШЕНИЮ ВРЕМЕНИ

Смотреть ни в даль, ни в прошлое не надо;
Лишь в настоящем счастье и отрада.

Иоганн Вольфганг Гёте

Интеллигенция не могла у нас жить в настоящем,
она жила в будущем, а иногда в прошедшем.

Николай Бердяев

1. Хроноцид — геноцид — экоцид

Освободить будущее от прошлого... Освободить прошлое от будущего... Для определения этих, казалось бы, противоположных понятий есть одно слово: революция. Она может быть левой и правой, совершаться во имя Великой Утопии или Великой Традиции, но при этом не может не быть кровавой. Первой жертвой революции оказывается время. Современная история превратила суффикс «цид» — «убийство» — в один из самых продуктивных способов словообразования. Цареубийство, отцеубийство, братоубийство, геноцид, экоцид... Особенно блистательную карьеру сделал этот суффикс с тех пор, как в 1944 году термин «геноцид» был введен в обиход американским юристом польского происхождения Рафаелем Лемкиным. На исходе столетия, обобщая его богатый криминальный опыт, хотелось бы предложить еще один неологизм: «хроноцид» — убийство времени...

Хроноцид, геноцид и экоцид, как правило, связаны прямой линией революционной преемственности. Революция начинается хроноцидом, идейным убийством прошлого во имя абстрактного будущего. Потом революция начинает поглощать жизнь реальных людей, переходя в геноцид — убийство целых народов, сословий и классов, которым суждено остаться в прошлом, ибо они недостойны будущего. Наконец, уставшая революция, отчаявшись дать обещанное и разрушив производительные силы общества, подводит себе итог в хищном потреблении и разорении беззащитной природы — в экоциде. Расправившись со временем, революция обрушивается на людей и наконец опустошает живую среду обитания. Обычно последствия геноцида и экоцида поддаются более объективной фиксации — демографические потери населения, истощение природных ресурсов. Но начало революции — хроноцид, незримый переворот в сознании людей, вырывающих себя из среды обитания во времени, освобождающих себя от прошлого.

Или от будущего. Если на заре века революция мыслилась как расправа с проклятым прошлым, прыжок в грядущее царство свободы, то на закате века косые лучи заходящего солнца ностальгически освещают глубины прошлого. И вот уже идея правой, обращенной вспять революции начинает властвовать над умами. Великая Традиция, забытая в ходе тысячелетий, должна быть освобождена от гнилых наслоений мнимого прогресса. Вслушаемся в голос новой революции, провозглашающей свободу прошедшего от будущего: «Основной нашей задачей... является Реставрация Интегральной Традиции во всем ее тотальном измерении. Традиция, по определению Рене Генона, — это совокупность богооткровенных, нечеловеческих Знаний, которые определяли строй всех сакральных цивилизаций — от райских империй Золо-

того Века, исчезнувших много тысячелетий назад, до Средневековой цивилизации...»¹. Значит, все, что случилось после средневековья: Микеланджело и Леонардо, Шекспир и Гёте, Моцарт и Кант — это отступление, предательство или ошибка. Все, что принесло Новое время да и само свойство новизны, должно сгореть в искупительном пожаре последней революции. «Грядет огонь глобальной Национальной Революции, Социалистической Революции, Последней Революции, которая завершит цикл упадка человеческой истории»².

Опять покушение на время, на этот раз — убийство проклятого будущего во имя священного прошлого. И, как всегда, хроноцид вызывает призрак революции — уже не левопрогрессистской, а фашистской, национал-социалистической. Вина революций не только в том, что они обращают время вспять, переворачивают жизнь целых народов, но и в том, что они создают своих собственных оборотней. Правая революция, которая пинком провожает в прошлое XX век да и все Новое время, — это оборотень той левой революции, которая отвергала наследие «эксплуататорских» обществ и рывком распахивала дверь навстречу бесклассовому будущему.

2. Будущее в прошедшем. Аномалии времени в России

Пожалуй, нигде проекты «поворота времен» не осуществлялись с такой безумной последовательностью, как в России, где жертвой взаимного «освобождения» будущего от прошлого делалось настоящее. По нему проходил кровавый рубец распавшейся связи времен. Настоящее здесь почти никогда не имело собственной цены, а воспринималось как отзвук прошлого или подступ к будущему. Дидро, состоявший в переписке с Екатериной Второй и отчаявшийся привить России плоды просвещения, отмечал, что эта страна — «плод, сгнивший ранее, чем он созрел»³. Иными словами, будущее этой страны оказалось в прошлом, не успев дозреть до настоящего. Впоследствии сходную мысль высказывали и русские мыслители: «России рок безнужных затей есть скоро родиться и скоро упасть» (князь М. Щербатов); «Мы растем, но не зреем...» (П. Чаадаев); «Мы хорошо родились, а выросли очень мало» (В. В. Розанов)⁴. Если прошлое соответствует молодости, настоящее — зрелости, а будущее — старости, то Россия — это одновременно и молодая, и старческая страна, незаметно минующая стадию зрелости.

Этим Россия отличается и от великих восточных цивилизаций, где настоящее скрепляется с прошлым неразрывностью этнической традиции, и от современных цивилизаций Запада, где настоящее скрепляется с будущим непрерывностью технического прогресса. В России прошлое скрепляется непосредственно с будущим, словно повисая над пропастью неощутимого настоящего. Русская цивилизация одновременно пассивна и футуристична, в этом ее трагическая разорванность. И в этом ее особая ценность для культурологического исследования, поскольку механизмы обновления в ней обнажены, модусы будущего и прошедшего прямо стыкуются, без плавного опосредования в настоящем.

В семиотических работах Юрия Лотмана и Бориса Успенского уже были обстоятельно вскрыты дуалистические модели русской культуры, которая обычно избегала третьего, нейтрального члена в смысловой оппозиции. Так, языческие божества древности либо осознавались в России как нечистая сила, либо сливались с образами христианских святых, однако никогда не помещались в нейтральную оценочную зону. Отношение России к Западу проходило через стадии возвышения «новой» России над «ветхим» Западом или принижения «ветхой» России перед «новым» Западом, но в одной, оценочно нейтральной плоскости они почти никогда не рассматривались. Точно так же для русского религиозного сознания существовали ад и рай, но не существовало чистилища. Эта общая закономерность объясняет, почему настоящее в русской культуре отмечено слабо: ведь это средний, нейтральный член в исторической оппозиции «прошлое — будущее». Согласно дуалистической модели Лотмана — Успенского, русская культура движется не сглаживанием и опосредованием оппозиций, а их переворачиванием⁵.

Это подтверждается самыми свежими примерами. То, что вчера воспринималось как будущее — коммунизм, «бесклассовое общество», — вдруг, не успев стать настоящим, сразу становится прошлым, от которого нужно поскорее избавиться, как от тяжелого наследия и пережитка. И, наоборот, то, что казалось далеким прошлым — свободный рынок, развитие капитализма, учредительное собрание, даже

монархия и сословное деление общества,— вдруг перемещается в зону желанного будущего.

Казалось бы, самое радикальное из всех возможных толкований конца XX века было предложено американским социологом Фрэнсисом Фукуямой: крах советского коммунизма — это всемирное торжество западной демократии, конец глобальных конфликтов, а значит, «конец всемирной истории». Но для самой России это было нечто еще более радикальное, чем конец,— скорее обращение вспять или выворачивание наизнанку. «Конец» все-таки остается концом, нормальной точкой временного процесса, которая неизбежна после определенных стадий развития. Однако в российский сознании крах коммунизма означал не конец, а перестановку начала и конца, невероятную аномалию временного процесса. То, что все советские десятилетия воспринималось как коммунистическое будущее, вдруг оказалось в прошлом, а феодальное и буржуазное прошлое стало надвигаться с той стороны, с какой ожидалось будущее. Будущее и прошлое поменялись местами. Вся перспектива истории, когда-то уверенно начертанная марксизмом, вывернулась наизнанку, и не только для России, но и для всего человечества, так или иначе втянутого в коммунистический проект хотя бы через противостояние ему. Пережив свое собственное будущее, очутиться вдруг в арьергарде мировой истории, на дальнем подступе к капитализму или даже на выходе из рабовладельческой системы — такого шока столкновения с собственным прошлым не испытала, пожалуй, ни одна из современных культур.

В каждый момент истории в ней должны сосуществовать разные эпохи, как и разные нации. Общество «будущего», в котором истребляются застойные, консервативные элементы прошлого, так же стерильно и опасно для своих обитателей, как и общество «прошлого», в котором истребляются элементы новизны, бросающие вызов традициям. То срединное, переходное, в чем будущее и прошлое находят свою живую связь, называется настоящим. В русском языке слово «настоящий» имеет двойной смысл: не только «теперешний», принадлежащий к определенному моменту времени, но и «подлинный», «истинный», «действительный»... Вот почему времяубийцам, тем, кто пытался освободить будущее от прошлого и прошлое от будущего ценой разрушения настоящего, можно противопоставить завет Гёте:

Смотреть ни в даль, ни в прошлое не надо;
Лишь в настоящем счастье и отрада.

3. Утопия настоящего. Время как отсрочка

Однако гетевская мысль, включенная в целостность «Фауста», приобретает иронический смысл, поскольку жить одним только настоящим означает еще одну, самую утонченную форму времяубийства. Остановить мгновение, как бы оно ни было прекрасно,— значит превратить его в труп вечности; и сам Фауст, пожелавший такого прекращения времени, падает замертво.

...Я высший миг сейчас переживаю.
Фауст падает навзничь. Лемуры подхватывают его и кладут на землю.

Известно, что фаустовская мечта осуществима только Мефистофелем — духом небытия. Остановка мгновения, полная и окончательная «прекрасность жизни» — это смерть одряхлевшего Фауста, которому в последний миг чудится свободный труд на земле свободной; на самом деле ему слышится звон лопат, которыми под усмешку Мефистофеля лемуры копают ему могилу.

Эта гетевская ирония представляется особенно уместной в эпоху, проходящую под знаком «поствременья». Постмодернизм — теоретически самая изощренная форма захоронения времени под предлогом его сохранения и увековечения в бесчисленных повторах и отсрочках. Если теоретики Традиции заморожены давно прошедшим, неким мифическим золотым веком, абсолютным началом всего, то теоретики постмодерна, отрицая вообще какое-либо начало, празднуют конец и завершение всего здесь и сейчас, в непреходящем настоящем. Поствременье — это остановленное мгновение, гигантски раздувшийся мыльный пузырь времени, на тонкой пленке которого стилистически играют и отражаются отблески всех прошедших и будущих

времен. Прообраз постмодернизма — это уставший Фауст на исходе своего земного странствия, когда, по словам Мефистофеля,

В борьбе со всем, ничем не насытим,
Преследуя изменчивые тени,
Последний миг, пустейшее мгновенье
Хотел он удержать, пленившись им⁷.

Такова притча о судьбе западного человечества, которое сначала, как Фауст, не может ничем утолить свою жажду бесконечного, не вмещаемого в пределы времени, а затем готово сдаться на милость последнего мгновения, лишённого субстанции, но зато представляющего игру «изменчивых теней». Все прежние идеалы, которые раньше преследовало человечество, теперь превращаются в «театр теней» — стилистические приемы «сверхповествований», знаки в игре знаков. Постмодерная теория, конечно, прекрасно осознает внутреннюю ироничность такого умонастроения, схожего с трагикомическим заключением фаустовского проекта: «Мгновенье! О, как прекрасно ты, повремени!» Остановленное мгновение, заторможенное настоящее — это всего лишь пародия вечности. Если Фауст — герой Нового времени, то не является ли его спутник Мефистофель вдохновителем постнового времени?

Мефистофель

Зачем же созидать? Один ответ:
Чтоб созданное все сводить на нет.
«Все кончено». А было ли начало?
Могло ли быть? Лишь видимость мелькала,
Зато в понятии вечной пустоты
Двусмысленности нет и темноты⁸.

Постмодернизм, по крайней мере в теории, не только подводит итог всем предыдущим исканиям («все кончено»), но и настойчиво спрашивает: «А было ли начало?» Радикально устраняется сама категория происхождения и оригинальности. Любой текст становится «двусмысленным и темным» в процессе его деконструкции, и единственное, что не вызывает сомнения, — это понятие пустоты («Ewig-Leere»), метафизика отсутствия, откладывания, вечной отсрочки.

Само время в деконструкции толкуется как бесконечно растяжимая отсрочка и тем самым освобождается от прошлого и будущего, повисает в безвременной пустоте, в беспредельно раздвинутом настоящем. Согласно Жаку Деррида, деятельностью различия (*différance*) создаются и пространственный, и временной промежуток, но тем самым между временем и пространством устраняется радикальное различие. По словам Деррида, «конституируя себя, разделяя себя динамически, этот интервал есть то, что можно назвать промежуток, становящимся пространством времени или становящимся временем пространства — оверменением. Это... я и предлагаю называть первописьмом, первоследом, или *différance*. Которое (есть) (одновременно) образование пространства (и) времени (*temporization*)»⁹. «*Différer* по-французски значит и “различать(ся)”, и “откладывать, отсрочивать, медлить с”, что в качестве определения времени превращает его в чистый промежуток. Время тянется и разворачивается, подобно пространству, поскольку между его моментами нет качественного различия, а есть только отдаление, промедление, когда ничего не происходит. *Différer* в этом смысле значит овременять, прибегать к сознательному или бессознательному опосредованию, временному и создающему время, тому обходу, который откладывает совершение или выполнение “желания” или “воли”...»¹⁰.

Время формируется переброжкой присутствия из одного момента в другой, последний момент задается как повторение, то есть восполнение несостоявшегося первого. Между этими моментами ничего не происходит, кроме механической растяжки, тиканья часов и вращения стрелки. Отсрочка означает пустое, бескачественное время, в котором последующий момент есть лишь отсрочка предыдущего. Такое время знакомо нам по пьесе Беккета «В ожидании Годо», где приход Годо откладывается на неопределенный срок. Отсрочка — это различие, действующее в рамках тождества: поскольку то же самое «нечто» переносится с одного момента времени на другой, время становится самотождественным и устраняется как время. На его месте остается чистый промежуток, который можно назвать и временем, и пространством в их неразличности. *Différance* (различение) оборачивается *indifference* (безразличием). Как ни парадоксально, та самая отсрочка,

которая, по Деррида, устанавливает время, позволяет течь времени, она же устраняет и само время, превращая различные моменты в тождественные, поскольку последний есть лишь отсрочка первого. В своей книге-манифесте о постмодерной теологии Марк Тейлор, последователь Деррида, так рисует царство вечного промежутка: «Универсальность середины предполагает, что промежуточное не проходит, оно “постоянно”. Всегда ни то ни се, “вечное” время середины не начинается и не кончается»¹¹.

Вот почему постмодернистская парадигма, во многом сформированная философией Деррида, исключает время: понятие как отсрочка, оно оказывается отсрочкой самого времени. На языке *différance* «после» звучит как «никогда». Девочка папе: «Пойдем гулять!» Он, устроившись на диване с книгой: «Потом!» Гражданин государству: «Когда же мы остановим насилие и обеспечим каждому право на жизнь?» Государство, расширяя свою бюрократическую мощь: «Потом!» Это «потом», войдя в плоть и кровь нашего времени, стало поствременем. Само понятие постмодернизма, этого жизнерадостного загробья, «всего» после всего, вытекает из философии отсроченных ожиданий. Ни история как продолжение времени, ни эсхатология как конец времени не заполняют этого промежутка, но сохраняют за ним значимость чистой отсрочки. Людям постмодерна остается ждать прихода времени с той же опаской и надеждой, как ждали когда-то прихода вечности. «Послевременье» не есть, однако, ни время, ни вечность, но метафизика чистого повтора, поскольку один и тот же момент времени, откладываясь на потом, воспроизводится в форме «вечного возвращения». Девочка повторяет свой вопрос папе, гражданин — государству, человек — Богу («Годо»), а в промежутке ничего не происходит.

У самого Деррида проскальзывает сходный мотив, когда *différance* в связи с философией Ницше излагается как миф о вечном возвращении. «На основе разочарования одного и того же как *différance* мы видим проявление самотождественности *différance* и повтора в форме вечного возвращения». «Вечное возвращение» — самая метафизическая из всех идей Ницше, та цена, которую он заплатил за попытку разрушения всей прежней метафизики. Бесконечность, из которой со «смертью Бога» был удален момент трансценденции, прорыва в иное, обрела черты самотождества, которое вечно уходит от себя и настигает себя, потому что ему куда-то уходить, потому что путь, открытый пророками иного царства, для него отрезан. *Différance*, поскольку оно работает против всякой метафизики, против радикально иного, против трансценденции, тоже оказывается формой самотождества. Различие в нем образует лишь промежуток между элементами повтора. Если отсрочка не является временной, если нет ничего за пределом отсрочки, значит, тот самый момент, который отсрочен, будет повторяться вновь и вновь, именно потому, что не может сбыться и уступить следующему моменту, подобно тому как игла граммофона, сбившаяся с борозды и попавшая в капкан «отсрочки», повторяет одну и ту же музыкальную фразу.

Постмодернизм, как явствует из самого этого термина, пытается остановить поток исторического времени и выстроить некое постисторическое пространство, «времяхранилище», где все дискурсивные практики, стили и стратегии прошлого найдут свой отклик, свой подражательный жест и включатся в бесконечную игру знаковых перекодировок. «...Если история стала пространственной, то столь же пространственны стали и ее репрессия, и все идеологические механизмы, посредством которых мы избегаем мыслить исторически...»¹³ — так описывает Фредрик Джеймисон установку новейшего постисторизма, превращающего время в слепок пространства.

4. Воскрешение будущего

Итак, есть три основных формы хроноцида: утопическая одержимость будущим («счастье грядущих поколений»), ностальгическая одержимость прошлым («Великая Традиция») и постмодерная завороченность настоящим («исчезновение времени в синхронической игре означающих»). Три основных модуса времени: будущее, прошедшее и настоящее — превращаются в три способа времяубийства, как только один из них абсолютизируется в противовес другим.

С чего же может начаться процесс воскрешения времени? То, что умерло первым, очевидно, первым и должно воскреснуть. Все катастрофические «вре-

матрятся» в картине мира начались с отрыва будущего, изъятого из хода времен и вознесенного на пьедестал, как кроважидный идол. Последующие ревнивые и мстительные реакции против футурократии привели к рождению новых идолов времени. Сейчас, после грандиозных календарных торжеств, открывающих начало нового века и нового тысячелетия, в первую очередь нужно восстановить доверие к будущему, вправить его, как вывихнутый сустав, в живую связь времен. Неужели мы будем праздновать начало нового века с проклятием будущему на устах, неужели наше календарное торжество будет двоедушным, как заздравный кубок, на дно которого брошен яд, отравивший наши надежды в минувшем веке?

Действительно, одержимость «будущим» — первое из оболщений и проклятий XX века, унаследованное от оптимизма и прогрессизма XIX; но это еще не дает оснований отравлять XXI век скепсисом, унаследованным от XX. Откуда опасность, оттуда и спасение. Долгие десятилетия коммунизм представлялся неотвратимым будущим всего человечества, и на его алтарь приносились неисчислимые жертвы. Все еще считается неприличным, чуть ли не постыдным говорить о будущем — оно якобы запятнало себя сотрудничеством с «оккупантами будущего», утопистами и тоталитаристами, которые во имя будущего учиняли насилие над настоящим. Но именно теперь пришла пора признать, что будущее все-таки невиновно. Оно обмануло всех, кто пытался им овладеть. Оно оказалось не тем кроважидным божеством, за которое его выдавали жрецы-революционеры. Напротив, будущее — ниспровергатель всех божеств и идолов, даже тех, что воздвигаются в его честь. То, что «коммунистическое будущее» осталось в прошлом, означает, что будущее очистилось от еще одного призрака, и такое очищение, или демифологизация времени, и есть особая функция будущего. Теперь будущее опять надвигается на человечество — уже не с восклицательным знаком, однако со знаком вопроса.

Эпоха, в которую мы живем, эпоха «после смерти будущего», не просто отменяет будущее, но заново открывает его чистоту. Теперь, после всех утопий и антиутопий, нам дано — быть может, впервые в истории — почувствовать всю глубину и обманчивость этой чистоты. Это не чистота доски, *tabula rasa*, на которой можно написать все что угодно, воплотить любой грандиозный проект. Скорее у будущего чистота ластика, который стирает с доски четкие линии любого проекта, превращает любые предначертания в размытое пятно — тускнеющий остаток испарившейся утопии. Нам открывается образ будущего как великой иронии, которая никогда не позволяет себя опредметить, предсказать, подвергнуть строгому анализу и прогнозу.

В сущности, единственный непревзойденный субъект иронии — это будущее. Сошлюсь на Бахтина, который писал о невозможности завершить историю изнутри самой истории и о будущем как смеховом разоблачении таких попыток остановить неостановимое. «...Ничего окончательного в мире еще не произошло, последнее слово мира и о мире еще не сказано, мир открыт и свободен, все еще впереди и всегда будет впереди. Но ведь таков и очищающий смысл амбивалентного смеха»¹⁴. Можно добавить, что таков и очищающий, идолоборческий смысл будущего как смеховой открытости бытия, в которой исчезают все его завершенные формы. Знаменательно, что «будущее» в русском языке того же корня, что «бытие», тогда как прошлое и настоящее образованы от совсем других языковых представлений: «проходить» и «стоять». Будущее — это и есть бытие в его невмещаемой полноте; самое таинственное в бытии — это его будущность, неостановимость и неустанность, его инаковость и венаходимость по отношению ко всему сущему.

Не звучит ли моя похвала будущему как новая ересь утопизма? Суть в том, что для преодоления утопизма постмодернистская критика утопии, позиция антиутопизма или даже постутопизма, необходима, однако недостаточна. Нужно возродить любовь к будущему уже не как к обетованной земле, но как к состоянию обещания. Это не та любовь, которую завещал нам Н. Чернышевский в романе «Что делать?»: «Любите будущее. Перенесите из него в настоящее столько, сколько можете перенести». Будущее здесь представлено как склад готовых атрибутов счастья, которые только ждут, чтобы их перенесли в настоящее. Но лишь то будущее и достойно любви, из которого ничего нельзя перенести в настоящее, поскольку оно само уносится вперед с той же скоростью, с какой настоящее уносится назад, в прошлое. Вопреки

тому, что обычно говорят о будущем, оно не только наступает, но и с каждым мигот отступает туда, где мы не можем его настичь.

Отчасти сам язык виноват в том, что будущее предстает наезжающим на нас, подминающим под свои колеса. Мы говорим: «Будущее наступает», — как если бы речь шла о пехоте. Кстати, в английском языке эта ассоциация не задействована, там будущее «приходит», «прибывает», как поезд на транзитную станцию, откуда отправится дальше, из настоящего в прошлое. В русском языке «будущее» ведет себя агрессививно.

Точнее всего было бы сказать, что у будущего есть два взаимоисключающих свойства, два раздвигающихся предела: будущее предстоящего события и предстояние самого будущего. Известно, что по мере продвижения вперед дальнейе становится близким, но сама даль отодвигается. Что же такое будущее: приближающийся предмет или вспять бегущая даль? В том-то и дело, что будущее всегда раздвоенно, как ироническое высказывание, где «да» означает «нет». Будущее одновременно приближается и удаляется, как готовая отдаться блудница и вечно недоступная девственница. Оттого мы и влечемся к будущему, что в нем для широкого человеческого сердца соединяются идеалы Содома и Мадонны. Бесстыдно распахнутое лоно, в которое каждый волен вторгаться, — и лучистый, невинный лик, тающий в дымке. Одно будущее стремительно наступает и плотно обступает нас, становится настоящим. К нему взывают утописты всех времен, требуя его скорейшего пришествия. Другое будущее отступает от нас с той же скоростью, с какой первое будущее наступает.

Именно о таком всегда отступающем будущем писал философ Семен Франк в своей книге «Непостижимое»: «Мы не знаем о будущем решительно ничего. Будущее есть всегда великое x нашей жизни — неведомая, непроницаемая тайна»¹⁵. Тем самым предполагается алгебраический, скорее чем арифметический, подход к будущему — не как к определенной величине, но как к неизвестному. Мы знаем, что вслед за осенью всегда приходит зима, а за весной — лето. Однако разве зима или лето относятся к категории будущего? Нет, это элементы повторяющегося цикла, которые выступают как будущее только по отношению к предыдущим фазам и вместе с тем выступают как прошедшее по отношению к следующим фазам того же цикла. Любое время года имеет такое же отношение к будущему, как и к прошедшему. Будущее как таковое не может быть встроено в цикл, в ритм повторений.

Любое событие сначала выступает как будущее, потом — как настоящее, наконец — как прошлое: разыгрывается во всех трех регистрах времени. Отсюда полнокрасочность, выпуклость события, которое мы созерцаем и спереди, и сбоку, и сзади. Но отсюда не следует, что можно путать сами цвета. И коммунизм, и традиционализм, и постмодернизм страдают дальтонизмом в отношении к цвету времени. Им кажется, что будущее может стать настоящим, или что прошедшее может стать будущим, или что настоящее — это и есть вечно отсроченное будущее. Действительно, событие приходит к нам из будущего и уносится в прошлое, но само будущее никогда не приходит, его нельзя взять, присвоить, исчерпать. Будущее — как пушка: оно в нас выстреливает событием, а само откатывается назад.

Период, в который мы сейчас вступаем, — это уже не период после чего-то: посткоммунизм, постмодернизм, постиндустриализм, постструктурализм. Это скорее период «прото», зарождения каких-то новых культурных формаций. Когда мы делаем наброски, то пользуемся ластиком едва ли не больше, чем грифелем. Вот почему сейчас такая огромная потребность в неизвестном будущем, которое скорее стирает определенность наших проектов, чем способствует их воплощению. «Прото» не предвещает и не предопределяет будущего, но размягчает настоящее, придает любому тексту свойства черновика, незавершенности, сырости. «Прото» — это новое, ненасильственное отношение к будущему в модусе «может быть» вместо прежнего «должно быть» и «да будет». «Прото» — эпоха сменяющихся проектов, которые не подчиняют себе нашу единственную реальность, но умножают ее альтернативные возможности. Будущее не пишется под диктовку утопии, напротив, стирает ее жесткие черты и превращает в «прото-утопию», набросок одной из многих будущностей. Будущее выступает как мягкая форма негации, как расплывчатость любого знака, диффузность любого смысла.

В отличие от авангардистского или утопического проекта, сознательно устремленного в будущее ради его переделки, «прото» указывает на неподотчетность и непредрешимость будущего, которое действует так же, как бессознательное у Фрейда или язык у Лакана. Будущее столь же непредсказуемо, как и неотменимо, оно — общий круг всех инаковостей, оно — самое «другое» из всего, что нам дано пережить, с чем дано соприкоснуться. Язык все-таки есть, бессознательное все-таки есть, и нам даны некоторые способы их дешифровки, некая, пусть несовершенная грамматика. Но будущее — это язык без грамматики, это бессознательное без сновидений, чистое ничто, которое неизбежно становится всем, чтобы снова и снова оставаться ничем.

5. *Не революция, а потенция*

Восстановить доверие к будущему — значит найти новую модель развития, соответствующую с ходом времени. Если мы возвратимся к той роковой подмене, которая совершилась в основах революционно-утопического мышления и впоследствии вызвала цепную реакцию традиционализма и постмодернизма, то обнаружим модальную и метафизическую подмену. Настоящее видится как область идей и идеалов, а будущее — как область их реализации. Настоящее — это царство потенций, а будущее — это процесс их актуализации.

Европейская метафизика, создавшая царство общих идей, имела свою обратную сторону — европейскую историю, в основе которой лежало стремление низвести эти отвлеченные идеи обратно на землю, воплотить их в политических, нравственных, правовых институтах. Ничто так не привлекало европейского гражданина, как отвлеченность. В этом смысле история и метафизика могут рассматриваться как два такта одного поступательно-возвратного движения идеи. Идея отвлечалась от реальной жизни (акт метафизический), чтобы с новой силой вовлекаться в преобразование этой реальности (акт исторический). Идеи свободы, равенства, национального и расового величия, религиозного избранничества активно воздействовали на ход истории. Сама отвлеченность этих идей и делала их привлекательными, требовала их вовлеченности в историю.

Даже самые оппозиционные движения, угрожавшие взорвать европейскую цивилизацию, мало что меняли в этой ментальности, скорее, наоборот, усиливали ее и доводили до крайности. Известно, какую роль культ отвлеченных идей под названием «идеология» и «пропаганда» играл в коммунистической России и нацистской Германии. Чем дальше идеи отстояли от жизни, тем настоятельнее они требовали воплощения. Лозунги, звучавшие в мае 1968 года на студенческих баррикадах в Париже: «Вся власть — воображению!» и «Рай — немедленно!» — были актом глубоко-го самовыражения европейской цивилизации. Воображение призывалось к власти, к действию. Все, что грезилось в снах и наяву, должно было воплотиться. «Все сущее увековечить... Несбывшееся — воплотить!»¹⁶.

Так соотносилась возможность с действительностью в европейском сознании: возможности уводили от действительности, чтобы вновь с ней сомкнуться. «Осуществи свои возможности, воплоти их здесь и сейчас» — этот императив господствовал и в общественном, и в индивидуальном сознании. И даже религиозное сознание чаяло воскрешения мертвых и тысячетлетнего царства здесь, на этой земле, чтобы сущее увековечилось, а несбывшееся влилось в бытие. Однако эта модель, верно служившая развитию западной цивилизации на протяжении многих веков, уже отказывается работать. Не только метафизическая отвлеченность перестает воодушевлять, но и историческая вовлеченность. К концу XX века стали популярны разговоры не только о конце метафизики, но и о конце истории. По сути, это один конец — точка пересечения двух прямых, упрямо стремившихся друг к другу. В своей наשמевшей работе «Конец истории?» Фрэнсис Фукуяма сделал вывод об исчерпании и упразднении всех монументальных идей (фашистских, коммунистических, религиозно-фундаменталистских), ранее соперничавших с либерально-демократической идеей. Но суть не в оттеснении одних идей другими, а в исчерпании самой идейности как активного исторического фактора. Наступает конец метафизическому производству истории, когда идеи, сначала отвлеченные от реальности, затем реализуются в ней.

Ж.-Ф. Лиотар в своей критике Ю. Хабермаса подчеркивает, что главный европейский проект Просвещения не был реализован вовсе не потому, что он был

отброшен,— он разрушился именно в ходе своей реализации, приведя к Освенциму и Колыме. «...Подлежащая реализации... Идея (свободы, “просвещения”, социализма и так далее) обладает и узаконивающей силой, поскольку она универсальна... Мой довод состоит в том, что современный проект (реализации универсальности) был не заброшен или забыт, но разрушен, “ликвидирован”»¹⁷. Именно в той исторической точке, где проект разрушается в силу своей реализации, где срабатывает ироническая диалектика идеи Просвещения, начинается новое движение к потенциации реальности. Либерально-демократическое общество уже не выдвигает отвлеченных идей, которые привлекались бы на служение обществу. Здесь действуют иная модель, иная модальность: непрестанное порождение все новых возможностей, которые не требуют реализации, которые самоценны и действительны, оставаясь возможностями.

Пока будущее мыслится в изъявительном или повелительном наклонении, как-то, что «будет» или «должно быть», неизбежно насилие настоящего над будущим. В русском языке, образующем «будущее» от «будет», глагола «быть» в будущем времени, заложена тенденция мыслить будущее в изъявительном наклонении. Но если мышление не будет следовать послушно языку, а станет бороться с его абберациями (не в этом ли сопротивлении языку и его «ловушкам-подсказкам» и состоит труд мышления?), то будущее скорее представимо как область возможного, как несвершенность и несвершимость, которая имеет ценность сама по себе. Будущее — не то, что будет (так мыслят о нем лишь план, манифест и утопия), а то, что может быть. При этом возможность никогда не приходит одна, а только в виде раздваивающихся, множащихся, несовпадающих и не исключающих друг друга возможностей. Одна возможность, которая исключает все другие,— это уже неминуемость, решенный факт, даже больше, чем факт,— необходимость. Пока мы говорим о будущем в единственном числе, оно предполагается обязательным и неотвратимым, а значит, вписывается в форму изъявительного или повелительного наклонения. Будущее в сослагательном наклонении — это раскрытый веер будущностей, расходящихся возможностей.

Напомню, что слово «культура» вплоть до XX века употреблялось только в единственном числе, в значении нормы и образца; понимание множественности культур возникало постепенно, но уже к концу нашего века множественное число стало преобладать в употреблении этого термина — в антропологии, истории, этнографии, в так называемых «культурных исследованиях». Не произойдет ли на рубеже XXI века сходная метаморфоза с понятием «будущее», которое из нормативно-обязательного единственного числа — то, что непременно «будет», — перейдет во множественное число: многообразие того, что «может быть»? Тем более что в русском языке это понятие уже имеет потенциально исчисляемую форму «будущность». Дискредитированное утопическими идеологиями и тоталитарными режимами, понятие «будущее» может быть оправдано для будущего как сосуществование и взаимодействие разных будущностей.

XX век продемонстрировал две основные модели развития. Первая, революционная, увенчала собой многовековой европейский опыт, хотя и была приведена в действие на востоке Европы и в Азии: это модель «реализации возможностей», то есть сужения их до одной, желательной и обязательной реальности. Революция — закономерное следствие развивавшегося на Западе типа ментальности, согласно которому история — это последовательность реализуемых возможностей, которые постигаются умом и воображением и затем воплощаются в жизнь. При этом возможное приносится в жертву реальному, одни возможности отсекаются и приносятся в жертву иным. Опробованная в советском и международном коммунизме революционная модель, как известно, дала отрицательный результат.

Но примерно с середины XX века в странах Запада как реакция против фашизма и коммунизма, ввергнувших человечество в мировую войну за дележ «предначертанного будущего», начинает работать новая модель, которая и позволила Западу избежать ужасов революционного насилия. В основе этой исторической модели — развитие не от возможного к реальному, а от реального к возможному. Этим кладется предел вражде времен, когда из множества возможностей выбирался один проект, одно будущее, обязательное для всего человечества,— и в жертву ему приносились и прошлое, и настоящее.

Процесс открывания настоящего навстречу множественному будущему можно назвать «потенциацией», или «овозможением». Потенциация есть возрастание степеней возможности в самой реальности, процесс превращения фактов в вероятности, теорий — в гипотезы, утверждений — в предположения, необходимостей — в альтернативные возможности. Вся современная действительность пронизана такими «возможностными» образованиями. Она становится все более условной, из «есть» переходит в модус «если». Из «быть» — в «бы».

В следующих трех главах пунктирно очерчены некоторые признаки новой модели, как они проявляются в общественной, культурной и этической областях.

6. Общество

Вспомним известное выражение, которое часто применяется к странам «первого мира»: «общество возможностей». Это не абстрактные возможности, а экономическая основа современного общества. Здесь можно указать на всеобъемлющие системы кредита и страхования, которые переводят повседневную жизнь в сослагательное наклонение. Я живу на средства, которые мог бы заработать: это кредит. Я плачу за услуги, в которых мог бы нуждаться: это страховка. Современный Запад — цивилизация возможностей в том смысле, что они введены здесь в ткань повседневного существования. Я имею не то, что имею, а то, что мог бы иметь, если бы... (в эти скобки можно поместить все привходящие обстоятельства жизни: устройство на работу или увольнение с работы, женитьбу или развод и т. д.). Кредитные и страховые компании как раз и заняты тем, что в точности рассчитывают все возможности моей жизни, исходя из достигнутого мной состояния возраста, образования, и уже имеют дело не со мной, а с проекциями моих будущих возможностей. Страхование и кредит — две соотносительные формы условности. В страховке я плачу заранее за свои возможные несчастья: болезнь, аварию, безработицу, скоропостижную смерть или увечье. В кредите мне оплачивают возможные формы благополучия: дом, машину, телевизор и пр. Но и положительные, и отрицательные стороны жизни оказываются сплошь условными с точки зрения экономики, которая основана на статистике, подсчете вероятностей, а не на однократности случившихся фактов.

Людам, привыкшим к западному укладу жизни с его тяжкими реальностями и еще более обязывающими идеальностями, нелегко включиться в эту игру возможностей, где на каждое «если» есть свое «то» и на каждое «то» — свое «если». Ничто не существует просто так, в изъясительном наклонении, но все скользит по грани «если бы», одна возможность приоткрывает другую, как при смене линий кредита, и вся реальность состоит из чередования возможностей, которые сами по себе редко реализуются.

То же самое происходит и в общественно-политической жизни. Если традиционалистские, авторитарные и тоталитарные общества подчиняют жизнь своих граждан строжайшей регламентации, то западная демократия по праву называет себя свободным обществом, граждане которого вольны в выборе правителей, занятий, путей передвижения и т. д. Но «свободное общество» и «общество возможностей», притом что оба эти определения относятся к западной демократии, характеризуют разные ее стороны. Социально-политическая свобода противостоит деспотизму и насилию и, следовательно, пребывает в одной модально-смысловой плоскости с подавлением свободы, с политическими репрессиями и т. д. Вот почему определение западного общества как свободного начинает несколько устаревать, особенно в связи с крушением коммунистических режимов в Европе. К тому же на структурном уровне западное общество совсем не свободно, оно гораздо более жестко связано внутренними экономическими и технологическими взаимодействиями, чем тоталитарные общества, что и объясняет факт его удивительной исторической стабильности. Зато другое измерение западного общества, не «свободность», а «возможность», приобретает все более важное значение.

Возможность в отличие от свободы не есть вызов реальным силам господства, она есть переход в иной, условно-предположительный модус существования. Избиратель свободен, когда он имеет право выдвигать и голосовать за своих кандидатов, — это коренная традиция, скажем, американского общества. Но куда отнести роль так называемых пробных выборов (праймериз), а также опросы общественного мнения, которые регулярно проводятся по всей стране в преддверии выборов и

представляют собой их гипотетическую модель, не влияющую всерьез на окончательные результаты? Американские наблюдатели отмечают, что введение опросов колоссальным образом повлияло на систему выборов в США, превратив их в некий многоступенчатый спектакль, где последующие условные допущения зависят от предыдущих, где одна сцена вдвинута в глубь другой. Не случайно в Америке так популярно изречение Бисмарка «Политика есть наука возможного», которое здесь трансформировалось в «Политика есть искусство возможного» (R. A. Butler) и приобрело дополнительный смысл. Политика не только искусство соразмеряться с возможным и реализовать возможное, но и искусство «овозможнить» реальность, придавать ей условный характер.

Я отнюдь не склонен считать «идеальной» данную модель развития, но в том-то и суть, что сама «категория» идеала надолго скомпрометирована старой, прогрессистско-революционной моделью. Речь идет не об идеале, а о деактуализации западного образа жизни, который все более переходит во власть «как бы» и «может быть». «Диктатура возможного» — потенциократия — имеет свои негативные аспекты, такие, как всемогущество кредитных, страховых, рекламных компаний, торгующих «воздухом возможностей». В рекламе, например, вещи отделяются от своей непосредственной «вещности» и преподносятся как знаки человеческих возможностей. Какой-нибудь напиток — это не просто утоление жажды, это возможность вдохнуть аромат джунглей, обменяться влажными поцелуем с возлюбленной, видеть море через призму пенистого бокала... Реклама не лжет, не расходится с фактами (что было бы противозаконно и убыточно), но вставляет факты в сослагательные конструкции. Можно сетовать на примитивность такой рекламы, но она не примитивнее того предмета, который рекламирует, наоборот, она умножает его проекции, создает из него иллюзию другой жизни. Реклама — низший род искусства, однако она высший род предметно-товарной реальности, способ ее магического перенесения в мир «если бы».

«Общество возможностей» есть также информационное общество. В нем производятся и потребляются не столько предметы, единицы физической реальности, сколько тексты — единицы информации. Стало своего рода трюизмом утверждение, что в постиндустриальную эру капитал уступает место информации как базовому общественному ресурсу. Но отсюда следуют далеко не тривиальные выводы. В любом сообщении мера информации определяется его непредсказуемостью, это есть вероятностная величина, которая увеличивается по мере уменьшения вероятности сообщения. Естественное, что информационное общество стремится наращивать объем информации, которой оно владеет, поскольку это и есть его главное богатство, — тенденция столь же неоспоримая, как закон роста капитала или увеличения прибыли. Но что такое рост информации, как не увеличение вероятностного характера общественной жизни? Информация растет по мере того, как мир становится все менее предсказуем, состоит из все менее вероятных событий. Отсюда культ новизны, стремление каждого человека хоть в чем-то быть первым и «непредсказуемым», — таково главное условие информационного развития общества. В этом смысле выражения «общество возможностей» и «информационное общество» — синонимы, поскольку именно обилие возможностей делает реализацию одной из них информационным событием.

В развитых обществах смысловой акцент переносится с реальности на возможность, потому что жизнь, насыщенная возможностями, ощутимо богаче и полноценнее, чем жизнь, сведенная в плоскость актуального существования. В конце концов реальность человеческой жизни ограничена параметрами, присущими человеку как родовому существу и более или менее одинаковыми для всех цивилизаций (устройство органов восприятия, уровень потребностей, продолжительность жизни и т. д.). Нельзя съесть больше того, что можно съесть, нельзя увидеть больше того, что можно увидеть, и этот потолок актуального благосостояния в развитых странах Запада близок к достижению, по крайней мере для значительной части населения. Но богатство жизни зависит от разнообразия ее возможностей больше, чем от степени их реализации. Реальность есть постоянный в своем значении знаменатель, а возможность — непрерывно возрастающий числитель цивилизации. По мере развития цивилизации на одну единицу реальности приходится все больше возможностей. В этом и состоит поэтическая сторона прогресса, которая обычно заслоняется его практической стороной.

7. Культура

Известно, что принцип вероятностной вселенной проложил себе путь в самую строгую и фантастическую науку XX века — физику. В основе физической реальности лежит не «есть», а «может быть» — своя особая кривая возможного движения и массы-энергии для каждой частицы, которые все вместе образуют волнообразный график вероятностей. Переходя от естественных наук к гуманитарным, мы наблюдаем не просто действие вероятностных законов, но рост самих возможностей составляющих в культуре, что можно проследить на судьбе отдельных жанров.

Так, М. Бахтин, исследуя роман в его отличии от эпоса, приходит к выводу, что если в эпосе преобладает необходимое, то в романе — возможное. «Эпический мир... готов, завершен и неизменен, и как реальный факт, и как смысл, и как ценность»¹⁸. Не только герой эпоса действует в сфере должного, но и сам автор изображает эпическую действительность как нечто единственно правильное, непререкаемое, абсолютное в своей ценности и фактичности. «Человек высоких дистанцированных жанров — человек абсолютного прошлого и далекого образа. ..Все его потенции, все его возможности до конца реализованы в его внешнем социальном положении, во всей его судьбе... Он стал всем, чем он мог быть, и он мог быть только тем, чем он стал»¹⁹. Напротив, в романе герой являет себя как чистая потенция, которая не может реализоваться ни в каком внешнем статусе, тем более застыть в «далевом образе» предания и поучения. «Человек до конца невоплотит в существующую социально-историческую плоть... Сама романная действительность — одна из возможных действительностей, она не необходима, случайна, несет в себе иные возможности»²⁰. Герой романа захвачен разнообразными ситуациями, которые пытаются его «воплотить», навязать ту или иную социальную или психологическую роль, но в том и состоит романное действие, что герой постоянно выводится из равенства этим ситуациям и самому себе, он есть чистая возможность, которая не поддается никакой реализации, всегда сохраняет свое «может быть» по отношению ко всем уловкам и притязаниям сущего (вспомним Печорина или Пьера Безухова).

Еще более возможным жанром является эссе, зародившееся в эпоху Возрождения, у Монтеня, который впервые попытался говорить сразу обо всем и ни о чем, не имея предварительной темы, жанра, идеи, но словно пробуя себя и в том, и в другом, и в третьем. Если роман или рассказ еще строятся всецело в сфере художественной иллюзии, научная статья или философский трактат притязают на логическую строгость понятий и неопровержимость выводов, а дневник или хроника предполагают правдивость изложения, точность и достоверность фактов, то эссе играет с возможностями всех этих жанров, не укладываясь ни в один из них. Монтень писал: «Я люблю слова, смягчающие смелость наших утверждений и вносящие в них некую умеренность: “может быть”, “по всей вероятности”, “отчасти”, “говорят”, “я думаю” и тому подобные»²¹. «Может быть» — формула эссеистики, относящаяся в отличие от романа уже не только к изображаемой действительности, но и к самим способам изображения — некая «метагипотеза», объемлющая повествовательное искусство, философию, науку, дневник, исповедь, исторический документ как пробные формы сознания. Согласно Роберту Музилю, автору «Человека без свойств», эссеизм как творческое кредо XX века есть искусство «жить гипотетически», превращая каждую позицию, зафиксированную в культуре, в одну из возможностей собственного существования. Человек не имеет никаких свойств, данных ему от природы, но есть «квинтэссенция человеческих возможностей», «пористый подтекст для многих иных значений».

Не только разные виды и жанры культуры, но и культура в целом воспринимаются в XX веке как одна из возможностей многокультурного или межкультурного существования. Современный человек уже не замкнут единственной культурной реальностью своего происхождения и воспитания. Он стоит на перекрестке разных этнических, исторических, профессиональных культур, каждая из которых выступает как возможность преодоления навязчивых комплексов, маний и фобий «врожденной» культуры, — но вместе с тем как только возможность, которую он может проиграть в себе, но в которую ему не дано полностью воплотиться.

Эта конденсация возможного, на мой взгляд, и определяет особенности новейшей культурной формации. В произведениях архитектуры проявляется воз-

возможность многих исторических стилей, при том, что ни один из них не реализуется полностью. Пишутся книги, которые заключают в себе возможность многих книг: в них заложена многовариантность чтения, модель для сборки многих текстов («Сто тысяч миллиардов стихотворений» французского поэта Раймона Кено, романы «Игра в классики» и «62. Модель для сборки» аргентинца Хулио Кортасара, «Хазарский словарь» югослава Милорада Павича и др.). Гипертекст, создаваемый на компьютере, предполагает много возможностей своего прочтения, поскольку позволяет свободно передвигаться от одного фрагмента к другому в любой последовательности. Особая тема, которую здесь можно только указать, — это компьютерная как-бы-реальность 1990-х годов, «виртуальные» пространства — города, музеи, клубы, университеты, расположенные на электронной сети и переводящие весь наш коммуникативный опыт в иное модальное измерение.

Как уже говорилось в связи с экономикой, кредит и страховка представляют собой такие сослагательные формы, которые ничуть не теряют в своей эффективности от того, что они покупают и продают «пустоту», чистую возможность, а не реальный продукт. Тем более круговращение возможностей форм определяет перспективу развития художественной культуры.

8. Этика

Этика традиционно считается областью нормативных суждений. Ее положения формулировались как долженствования, обращенные ко всем представителям человеческого рода. Наиболее удобной и общепринятой формой этических суждений был императив: «не убий», «не прелюбодействуй», «не делай другому того, чего не хочешь, чтобы делали тебе», и т. д. «Практическая философия» Канта, самое влиятельное учение в западной этической мысли, выражает свой итог в «категорическом императиве»: «...поступай только согласно такой максиме, руководствуясь которой ты в то же время можешь пожелать, чтобы она стала всеобщим законом»²².

Очевидно, что повелительная форма этических предписаний связана с их всеобщностью. Всеобщее по отношению к индивиду выступает как долженствование. Вот почему первое и последнее слово в кантовском императиве неразрывно связаны: «поступай» стоит в повелительном наклонении, потому что поступать надо так, чтобы максима твоего поведения стала «всеобщим законом».

Но общее или всеобщее нельзя путать с универсальным. Универсальное не есть нечто, отвлеченное от индивида, а в нем самом заключенное, и поэтому оно проявляется не как обязанность, а как возможность. Можно представить универсальную этику, построенную именно в сослагательном, а не в повелительном наклонении, этику возможностей, а не долженствований.

Критическое введение к такой этике уже дано у Ницше: «Вникнем же наконец в то, какая наивность вообще говорить: “Человек должен бы быть таким-то и таким-то!” Действительность показывает нам восхитительное богатство типов, роскошь расточительной игры и смены форм; а какой-нибудь несчастный поденщик-моралист говорит на это: “Нет! человек должен бы быть иным”»²³. Но если согласиться с Ницше, что человек есть то и остается тем, каков он в действительности, в этом «восхитительном богатстве типов», то исчезает и всякая возможность этического суждения. Устранить момент долженствования из этики недостаточно, поскольку сама по себе «действительность» вообще лишена этики, она подлежит описанию, а не оценке. Вот почему бунт Ницше против долженствования, в защиту «жизни, как она есть», часто выливался в бунт и против морали как таковой с ее врожденной «противоестественностью». «Мы, имморалисты!» Этика по смыслу своему не может быть лишь констатацией сущего, описанием человека, какой он есть. Бердяев видел положительную сущность морального кризиса, охватившего мир в XX веке, именно в «...переходе от сознания, для которого мораль есть послушание срединно-общему закону, к сознанию, для которого мораль есть творческая задача индивидуальности»²⁴. Если мораль не призывает человека к долженствованию, значит, ей остается воззвать к его возможностям.

Этика вступает в мир возможного на самом элементарном своем уровне, в азбуку этикета. В частности, речевой этикет состоит в том, чтобы всеми способами избегать повелительного наклонения и заменять его сослагательным. Вместо «принеси-

те воды!» — «не могли бы вы принести воды?» или «не были бы вы так любезны принести воды?» Это может показаться чистой формальностью, однако форма в данном случае глубоко содержательна. Вежливые люди не обременяют друг друга нуждами, а деликатно предоставляют друг другу возможность их исполнить. Мне нужно, чтобы вы сделали то-то и то-то, но я не понуждаю вас к этому, я предполагаю за вами способность сделать это по собственной воле. Необходимость, которую мы сами испытываем, высказывается другому человеку как одна из его возможностей, которую он волен осуществить или не осуществить. Потребности одних людей претворяются в возможности других — такова алхимия вежливости. Этикет — это раскрепощающий приоритет возможности над необходимостью в отношениях между людьми.

Можно было бы возразить, что высшие этические соображения не должны иметь ничего общего с правилами вежливости, и если неловко требовать у ближнего стакан воды, то ничуть не зазорно требовать от человечества морей крови, пролитых во имя всеобщих нравственных принципов равенства, справедливости и т. д. Сомнительно, однако, чтобы высшая этика утверждалась опровержением начального этикета, а не его всесторонним развитием. Если первичная нравственная интуиция состоит в том, чтобы облечь свою необходимость в форму возможности для другого, то смысл этики уже этим определяется как дальнейшее расширение сферы возможного для другого. Вежливость еще только формальна, поскольку она прикрывает свой собственный интерес приглашающим жестом в сторону ближнего — «не могли бы вы?» Переход к высшей этике не уничтожает правил вежливости, а устраняет их формальность: возможность, которую мы предоставляем другим, перестает быть средством для утонченного осуществления наших собственных потребностей и становится самоцелью — раскрытием возможностей другого. Другой предстает мне в модусе своих духовных, творческих, профессиональных и эмоциональных возможностей, и если я способствую их раскрытию, значит, формальная вежливость между нами переросла в подлинно содержательные этические отношения. И хотя правила вежливости существовали испокон веков, их преобразующее значение для новой этики становится ясным только сейчас, в эпоху кризиса императивной морали. В отношении между людьми этически оправданы возможности, которые они создают друг для друга.

Итак, в нашем общественном и духовном бытии постоянно происходит процесс, обратный тому, который обычно называется реализацией. Даже прошлое, которое, несомненно, было тем, чем оно было, и то невольно выпускает эту модальность возможного в свой завершенный мир, поскольку каждый факт по мере его удаления от нас превращается в гипотезу, открывает простор для интерпретаций, для многочисленных «что было бы, если бы». Мы начинаем гадать о том, что раньше знали. Вчерашний факт превращается в сегодняшнюю гипотезу.

По мысли Макса Вебера, «вопрос, что могло бы случиться, если бы Бисмарк, например, не принял решения начать войну, отнюдь не “праздный”. Суждение, что отсутствие или изменение одного исторического факта в комплексе исторических условий привело бы к изменению хода исторического процесса в определенном исторически важном отношении, оказывается все-таки весьма существенным для установления “исторического значения” факта...»²⁵. История, с точки зрения историка, — это не только то, что было, но и то, что могло бы быть, иначе любой факт лишается своего смысла. Отсюда взгляд на саму историю как на процесс накопления возможностей: каждая последующая эпоха вбирает в свой смысловой состав возможности предыдущих. На каждую последующую эпоху приходится больше возможностей, чем на предыдущую, хотя объем и мера реальности остаются прежними: день, год, век...

Отсюда странное ощущение, что историческая реальность все больше опзрачивается, пронизывается пузырьками воздуха. Арнолд Тойнби удачно назвал этот поступательный процесс «этерификацией», имея в виду утончение материального субстрата истории и ее переход в более духовное, эфирное состояние. Если творческое Слово, каким создан мир, есть глагол, Слово-Действие, то история есть парадигма спряжения этого Глагола, его переход из изъявительного наклонения в сослагательное.

В настоящее время актуальный мир все еще выступает точкой отсчета для большинства видов человеческой деятельности, направленных на постижение и изменение реальности. Но постепенно текстуальная, знаковая, информационная, компьютерная вселенная все более поглощает и потенцирует вселенную фактов, делает возможным то, что раньше было невозможно сделать. Этот процесс можно определить как смену мировых модальностей. На входе в новую эпоху истории начинается избытие бытия, его переход в форму «бы». Сослагательное наклонение — огромная сфера нового душевного опыта, новая деликатность, терпимость и интеллектуальная щедрость, которая открывает путь к мирному «врастанию» будущего в настоящее. Будущее привходит даже в наше понимание прошлого — как многообразие альтернатив, позволяющих понять смысл исторических событий, которые значимы лишь постольку, поскольку «могли и не быть» или «быть другими».

Таким образом, в новой модели будущего не «освобождается» от настоящего и от прошлого, а дарит им богатство своей собственной смыслообразующей свободой.

Примечания

¹ «О нашем журнале. Как мы понимаем традицию». «Милый Ангел». Эзотерическое ревю. Москва, «Артогея», 1991. Т. 1, с. 1. Этот журнал, редактируемый А. Дугиным, — теоретический орган русской и международной «консервативной революции».

² Александр Дугин. Загадка социализма. «Элементы», 1993, № 4, с. 17.

³ Материалы для физиологии русского общества. Маленькая хрестоматия для взрослых. Мнения русских о самих себе. Собрал К. Скальковский. СПб., Типография А. С. Суворина, 1904, с. 6.

⁴ Ibid., сс. 39, 10, 21.

⁵ Yury M. Lotman and Boris A. Uspensky. The Semiotics of Russian Cultural History. Ed. by A. D. Nakhimovsky and A. S. Nakhimovsky. Ithaca & London: Cornell University Press, 1985, pp. 31, 33, 63.

⁶ «Фауст» цитируется в переводе Б. Пастернака по изданию: Иоганн Вольфганг Гёте. Собрание сочинений в 10-ти тт. М., «Художественная литература», 1976. Т. 2, с. 423.

⁷ Ibid., с. 423.

⁸ Ibid., с. 423.

⁹ Différance, in: Jacques Derrida. Margins of Philosophy. Transl. by Alan Bass. Chicago: The University of Chicago Press, 1982, p. 13.

¹⁰ Ibid., с. 8.

¹¹ Mark S. Taylor. Erring: A Postmodern A/theology, in: From Modernism to Postmodernism. An Anthology. Ed. by Lawrence Cahoone. Oxford: Blackwell Publishers, 1996, pp. 526—527.

¹² Jacques Derrida, op. cit., p. 17.

¹³ Fredric Jameson. Postmodernism, or The Cultural Logic of Late Capitalism. Durham: Duke University Press, 1993, p. 374.

¹⁴ М. М. Бахтин. Проблемы поэтики Достоевского, изд. 4. М., «Советская Россия», 1979, с. 193.

¹⁵ С. Л. Франк. Непостижимое. В кн.: Сочинения. М., «Правда», 1990, с. 216.

¹⁶ Александр Блок. «О, я хочу безумно жить!..»

¹⁷ Жан-Франсуа Лиотар. Заметки на полях повествований. «Комментарии», 1997, № 11, с. 215—216.

¹⁸ М. М. Бахтин. Эпос и роман. В кн.: Литературно-критические статьи. М., «Художественная литература», 1986, с. 405.

¹⁹ Ibid., с. 421.

²⁰ Ibid., с. 424.

²¹ Мишель Монтень. Опыты. В 3-х кн. М., «Наука», 1979. Кн. 3, гл. 11, с. 233—234.

²² Кант И. Сочинения. М., 1965. Т. 4, ч. 1, с. 260.

²³ Фридрих Ницше. Сумерки идолов, или Как философствуют молотом. Сочинения в 2-х тт. М., «Мысль», 1990. Т. 2, с. 576.

²⁴ Николай Бердяев. Смысл творчества. Опыт оправдания человека. Собрание сочинений. Париж, «УМСА-ПРЕСС», 1985. Т. 2, с. 299.

²⁵ Макс Вебер. Критические исследования в области логики наук о культуре. В кн.: Избранные произведения. Пер. с немецкого. М., «Прогресс», 1990, сс. 465, 466—467.



Александр МЕЛИХОВ,
Андрей СТОЛЯРОВ

Пока не требует поэта...

«Пока не требует поэта к священной жертве Аполлон» (и даже когда требует), писатель вынужден, а часто и сам стремится каким-то образом общаться с реальным миром. Иногда эти контакты бывают достойными, иногда недостойными, иногда плодотворными, иногда просто убийственными, но обсуждать какой-нибудь специальный кодекс поведения для писателей или, если угодно, литературную «технику безопасности» еще вчера было невозможно, ибо самые почтенные социальные институты пришлось бы публично объявить наиболее опасными. Темы «писатель и власть», «писатель и деньги», «писатель и слава» затрагивались крайне осторожно: писатель мог приблизиться к власти ровно настолько, насколько она сама этого желала, обличать ее он мог ровно в той мере, в какой она это терпела, денег он мог иметь не больше, чем она ему выписывала, и слава... — нет, подпольная слава тоже существовала, но всегда болезненно деформированная не в ту, так в другую сторону. Правда, темы «писатель и алкоголь», «писатель и женщины» могли разрабатываться довольно свободно, однако новое время и сюда внесло кое-какую специфику. Какую — прозаики из Санкт-Петербурга Александр Мелихов и Андрей Столяров попытаются обсудить. А пока — диалог первый «Писатель и власть».

Ласковое прикосновение смерти

Андрей Столяров. Наш брат писатель стремится во власть. В этом нет никаких сомнений. Писатели хотят хотя бы таким образом занять место, предназначенное им как небожителям. Люди, в чьих руках оказывается власть, — всегда на виду, их имена у всех на устах, такой удел кажется писателю завидным. Любимый автор, что бы он ни говорил сам о себе, страстно жаждет признания. Причем признания читателей, сколь бы ни было оно велико, ему недостаточно. Точно так же, как недостаточно признания критиков, то есть профессиональной литературной среды. А совпадение, рождающее резонанс, который лишь один и создает в литературе подлинные репутации, возникает настолько редко и по такому причудливому капризу судьбы, что достается только счастливым, да и то не каждое десятилетие. Всерьез рассчитывать на это нельзя. Зато попадание в фокус политического внимания дает известность, пусть даже мгновенную, но всероссийских масштабов. Примеров много, они общеизвестны.

Александр Мелихов. А «цель творчества — самоотдача, а не шумиха, не успех» — неужели это всего лишь притворство? И неужели так уж страстно жаждал успеха Кафка, который завещал уничтожить свои рукописи? Если во мне есть хоть что-то от настоящего писателя, позволю себе засвидетельствовать: писатель желает не славы, не «широкого признания», а отклика, понимания. Слава — лишь

косвенный и очень сомнительный признак того, что это понимание *имеется*. И если писатель видит, что слава есть, а понимания нет... Вы читали дневники позднего Толстого?

Что кривить душой — даже поддельное, искусственно раздутое восхищение доставляет некоторую приятную щекотку, но очень кратковременную и всегда смешанную с неловкостью. А то и с горечью. Когда тебе с восторгом признаются: «Я тебя так люблю, ты такой оптимист, такой весельчак!» — только тоска берет. Я хочу, чтобы во мне ценили то, что ценю в себе я сам, и притом те, кого люблю я сам. А в делах литературных я люблю тех, кого восхищает — не во мне, в литературе — то же, что восхищает меня. Если попутчик в поезде влопад и с пониманием процитирует Герцена, я сразу проникнусь к нему симпатией и буду огорчен, если ему не понравится моя проза. Если же он сначала похвалит Анатолия Иванова, а потом меня... Благодарение Богу, это невозможно, но у меня были случаи, когда мою прозу — в виде комплимента! — сопоставляли с айтматовской «Плахой», а мою публицистику — с публицистикой Эренбурга, и было неловко, хотелось поскорее замять разговор.

Известность для настоящего писателя — только средство, инструмент, без которого невозможно добраться до тех, быть может, одиночек, с которыми у него установятся заочные понимание и любовь.

Другое дело — писатель идет во власть в качестве не писателя, а бизнесмена, для устройства каких-то своих земных дел (а у кого их нет?), тогда это ход вполне разумный. Только делает его уже не писатель, а делец в маске писателя. Настоящего же писателя с властью связывают отношения неизбежно драматические. Инженер, врач, ученый могут подолгу даже не вспоминать о власти, но писатель обречен хотя бы внутренне вести с ней постоянный диалог. Ибо у писателя и у власти во многом единое поприще, а наиболее жестоко, если вспомнить, чему учил Дарвин, конкурируют между собой те виды, которые пасутся на одном поле. Властитель обязан быть представителем общественного целого, и писатель обязан быть представителем общественного целого; властителю необходима власть над умами, и писателю необходима власть над умами. И если прозаик, поэт уходят в частную жизнь или служение «чистой красоте» — это требует постоянного внутреннего напряжения. Потому что к писателю, как и к властителю, со всех сторон взывает все живое: «Откликнись! Откликнись!» И беспрерывно отвечать: «Подите прочь! Подите прочь!» — требует немалых волевых усилий. Математик или лавочник, оторвавшийся от целого, могут этого не замечать, но поэт, прозаик будут настаивать, порой даже агрессивно, что пора литературу сделать просто литературой, а не тем и не другим... И властителя, переставшего думать о целом, тоже начинает понемножку угрызать совесть, сколько ее осталось; он, глядишь, и сделает что-то для вечности, ну точно так, как писатель нет-нет да и попытается что-то сделать на злобу дня, продвинуть модель социального бытия, которая ему пригрезилась.

Вольтер или Пушкин стремились сделаться советниками монархов отнюдь не из жажды власти и славы. Подобные стремления чаще всего наивны, поскольку даже самые разумные из нас, создателей воображаемых миров, недооценивают сопротивления реальности. Она всей тяжестью падает на властителей тел и дел, а не на властителей дум, для которых и разочарования плодотворны. Поэтому политики обязаны четко разграничивать возможное и невозможное и избегать опасного, если даже оно прекрасно. А такая умеренность и аккуратность, в свою очередь, губительна для искусства.

Словом, писатель может отправиться во власть не только за известностью, но задержаться там надолго он вряд ли сумеет, если останется писателем.

А. С. У любого автора время от времени наступает период «творческой немоты», период, когда сказать ему больше нечего (а говорить хочется), но продолжать писать означает совершить творческое самоубийство: начинается перемалывание, подражание, как правило, неосознанное, самому себе, повторение, пусть несколько иными словами, ранее уже написанного. Это чрезвычайно опасный период. Как его преодолевать — вопрос отдельный. Писатель оказывается перед трудным выбором: продолжать все так же брести по зыбучим литературным пескам, надеясь, что в конце концов выйдешь на твердую почву (правда, такой уверенности никто не имеет), либо довольно быстро взлететь, используя такое мощное средство «подъема», каким является власть. Она мгновенно вырывает писателя из литературного небытия, дает ему то, что литература (в такое время, как наше) дать не может. Стремление к власти — признак творческого бессилия.

А. М. Вот этого я не понимаю. Державин, будучи государственным мужем, не оставлял «поэтического деланья». Можно привести примеры, когда писатели, вкусившие власти, потом всю жизнь от нее отплевывались. Власть не только возносит писателя в сияющую заоблачную высь, но и делает его предметом насмешек.

А. С. Власть многое дает, но взимает за это и определенную плату. Как любая страсть, она полностью поглощает личность. Зачем биться над каждым словом, если можно три раза в неделю «светиться» по телевидению? Она дает автору ощущение собственной значимости. Только значимости виртуальной, не обеспеченной подлинным творчеством. Это нимб без святого. Память о том, чего на самом деле не было, требующая постоянного возобновления. И потому прикосновение к власти опасно. Писатель приобретает известность, но перестает быть живым, творящим. Это ласковое прикосновение смерти, обращающее человека в фантом. Удачных примеров сотрудничества писателя с властью нет. Не имеет значения, какая это власть — тоталитарная или демократическая. Результат всегда один — полное и необратимое исчезновение писателя.

А. М. Что правда, то правда: власть, если подразумевать под этим словом ответственность за других, неизбежно истребляет прекрасноту. Социальное целое противоречиво, делать добро для одной его части всегда приходится за счет другой. А социальные силы, участвующие в этом вечном противостоянии, настолько огромны, что управлять ими, следуя книжным представлениям о справедливости, просто-напросто невозможно. Будь ты хоть Антон Павлович Чехов, все равно вынужден будешь прижимать слабых и уступать сильным, чтобы не погубить всех. Человек, «отвечающий за других», не может быть идеалистом. Но, полностью подчинившись реальности, невозможно уже оставаться творцом воображаемых миров. Хотя — в свободные минуты почему бы и не заделаться вдвойне страстным мечтателем?

Впрочем, примеров не припомню. Разве что Марк Аврелий какой-нибудь, но это давно было.

А. С. Творчество, по моему глубокому убеждению, содержит в себе изначальное противоречие между миром и автором. Если его нет, какой смысл тогда водить пером по бумаге? И потому, вступая вольно или невольно в игры с властью (имея возвышенные и благие намерения), принимая ее условия, писатель, на мой взгляд, рискует утратить границу между собой и миром и, как следствие, потерять способность творить. Он может стать, например, Пикулем или Боборыкиным, но точно уже никогда не быть ему ни Достоевским, ни Чеховым, ни Львом Толстым. А писать, зная, что никогда не поднимешься до этих вершин, — это все равно что любить, не имея для того природных возможностей. «Непонятна любовь евнуха», — сказал Юрий Тынянов. Зато понятна тщета писателей, лишившихся творческой страсти, обращающихся, например, к дикому национализму и подсчитывающих процент «чистой крови» у тех, кто творит. Такова их добровольная плата за танцы в политическом хороводе.

Один на один

А. С. Итак, стремиться к власти нельзя. Мне это представляется вполне очевидным. Однако существует еще один давний способ строить свои отношения с миром. Это позиция непримиримого критика, обличителя этических и социальных уродств, которыми отмечена любая власть. Такая позиция сейчас главенствует. На одну публикацию, внятно объясняющую экономические реформы в России, приходится десять статей о «преступном антинародном режиме», приведшем страну к катастрофе, о «губительных экспериментах», производимых над Россией некими темными силами, о «тотальной коррупции» и «некомпетентности» всех органов власти.

Эта позиция у меня тоже вызывает сомнения. Что здесь от искреннего негодования, а что все от той же неутоляемой жажды общественного признания? Быть критиком сегодня легко и почетно. Нынешняя оппозиция власти плоха уже тем, что стала выгодной. А у писателя должен быть талант поступать невыгодно. Нет полной веры оппонентам нынешней власти. Взять для примера хотя бы яростных (в прошлом) антисоветчиков Александра Зиновьева и Эдуарда Лимонова, превратившихся всего за несколько лет в защитников коммунистического режима. Следование ли это политическим убеждениям или способ обратить на себя внимание общества?

А. М. Можно сотрудничать, нельзя сотрудничать — к чему столь «неукоснительные предписания»? В судьбе писателя мотивы его поступков мне представляются важнее самих поступков. Если писатель вначале вырабатывает некие общие принципы, а потом они ведут его хоть к бунту, хоть к конформизму — это вполне допустимо. Если же он руководствуется выгодой, то и бунт, и конформизм его одинаково противны. Словом, если он требует, чтобы власть жила по законам благородства, а сам живет по законам целесообразности — это отвратительно, как всякое ханжество.

Есть люди, которым не за что себя чтить, пока они не восстанут против чего-то могущественного. Без самопреклонения им жизнь не в жизнь, а на какую бы то ни было позитивную миссию они не способны.

А. С. Писатель при любом столкновении с властью неизбежно проигрывает. В каждый момент власть могущественнее своего оппонента. И однако здесь, обрати внимание, наличествует любопытный феномен. Потому что, проигрывая на первый взгляд каждую конкретную схватку, писатель, как ни странно, в итоге выигрывает битву. Он побеждает тогда, когда ситуация кажется уже безнадежной. Он возрождается, будто феникс, перед которым бессилена любой огонь. Так победили Зощенко и Ахматова, став из гонимых писателей классиками литературы. Так победил Александр Солженицын, вступивший когда-то в сражение с монстром тоталитаризма. Так победил Сергей Довлатов, внезапно вынырнув из небытия, где теперь уже навсегда остались его противники. Вот на что может рассчитывать писатель, вступая в поединок с драконом. Огнедышащее чудовище не может перейти из сиюминутности в вечность. Оно принадлежит прошлому, в то время как автор — будущему. Не зря один из петербургских критиков говорит, что литература — это посмертная справедливость.

А. М. Если читать только список победителей, может показаться, что справедливость и впрямь торжествует хотя бы посмертно. Но если взяться за список побежденных...

А. С. Писатель, как мне кажется, не обязан заниматься правозащитой. Другое дело, что общество в экстремальных ситуациях обращает свой взор на писателя, ожидая его слова. Тогда он просто вынужден возвышать голос. История знает немало достойных примеров. Дело Дрейфуса и знаменитое «Я обвиняю» Эмиля Золя, «Наполеон Малый» Виктора Гюго, «Письмо к вождям» Александра Солженицына, гражданская акция Синявского и Даниеля в защиту свободы слова...

А. М. *Вынужден возвысить голос...* «Вынужден» — очень точное слово. Я не могу вечно возмущаться тем, что осенью идет дождь, что воры крадут, а антисемиты лгут. Для таких благородных, но очень простых эмоций вовсе не требуется писатель. Но его голос звучит несколько громче, поэтому говорить приходится ему.

А. С. Противостояние власти — такая же трясина, как сотрудничество с нею или сервиллизм. Политизированность помешала, например, Лескову. Его «отомщевательные романы», кроме специалистов, уже вряд ли кто-нибудь будет читать. Политизированность в известной степени мешает и Солженицыну: беллетристика «Красного колеса» стиснута мировоззренческими конструкциями. «Разоблачительные романы» Гора Видала об американской истории также написаны всего лишь одной краской — черной. Но возникают ситуации, где писатель должен высказаться, потому что иначе он потеряет внутри себя то, без чего невозможно писать. Надо сказать, писатель — профессия рискованная. Всякого берущегося за перо пронизывает смертельный сквозняк бытия. Отсюда — трагедийность в судьбах писателей. Принимая некоторые почетные привилегии, связанные с литературной деятельностью, писатель добровольно берет на себя и некоторые весьма рискованные обязательства. В частности, если потребуется, выйти один на один против любого монстра. Исключений здесь быть не может, творчества без смертельного сквозняка просто не существует.

А. М. Я думаю, исключения возможны. Если писатель много лет изображает бескомпромиссного громовержца, а в опасную минуту пасует, выглядит он, конечно, жалко. Но представим себе, что Кафка дожил до немецкой оккупации и продолжал отсиживаться в своем уголке, как он это делал всю жизнь, — разве мы стали бы меньше перед ним преклоняться? Все-таки главное поприще писателя — сфера духа, а это царство свободы: в нем не должно быть принудительных мобилизаций.

Бегство от демонов

А. С. Что делать, если писатель, с одной стороны, не хочет сотрудничать с властью, а с другой стороны, не собирается ей открыто противостоять? Художник, вероятно, раздражает власть одним фактом своего независимого существования.

А. М. Тоталитарная власть стремится пристроиться третьей к каждой двуспальной кровати. А более-менее демократическая власть обычно ведет себя по отношению к писателю с вежливым безразличием. Если уж он очень знаменит, время от времени выдает ему ордена. Откажется, раскритичится — понимающе улыбнется: творческий, мол, человек, надо потерпеть. Ну, словом, власть обращается с ним как с одаренным ребенком или, наоборот, как с почтенным, но несколько маразмизирующим старцем. Прочих, не знаменитых, она просто не замечает: и крик твой, и молчание выйдут немногим громче, чем у твоего соседа по лестничной клетке.

А. С. Да, но сам писатель не может быть безразличен к власти. Власть — это часть того мира, который он художественно воспринимает. Она пропитывает собой все человеческие отношения. Власть — как воздух, который не замечаешь, пока не начнешь задыхаться. Дело здесь, по-моему, вовсе не в том, как власть воспринимает писателя; дело в том, как сам писатель относится к этому вечно голодному демону. Скрыться от него в «чистом искусстве», по-видимому, невозможно.

Звезды и чертополох

А. С. Подведем некоторые итоги. Мне кажется, что писатель не может сотрудничать с властью, это приводит к его перерождению, к неизбежной литературной смерти. Мне также кажется, что открытое противостояние власти допустимо лишь в редких, экстремальных случаях. И вместе с тем совершенно скрыться от власти нельзя. Слишком уж политика пронизывает современное государство.

А. М. Есть еще один путь — использовать власть. Впрочем, мы это и делаем, сами того не замечая. Культура во все времена использовала власть в своих целях: если бы она этого не делала, она так и осталась бы по-своему восхитительной, но все же в чем-то примитивной «народной» культурой. Ни Толстого, ни Достоевского, ни Пушкина — и, конечно же, нас с тобой просто не было бы. Если бы государственная власть не закрепляла определенные имена, определенные произведения в качестве эталонных, если бы в искусстве царил плюралистический принцип «о вкусах не спорят», если бы Шекспир и Толстой каждые четыре года, как президенты и думские депутаты, подвергались демократическому голосованию, в котором голос знатока весил бы столько же, сколько голос невежды, через два-три поколения от великих имен осталось бы слабое эхо. А если бы она пожелала запретить не только Платонова, но и Толстого, Чехова (как это было в третьем рейхе), мы жили бы сегодня в другой стране.

Творческая элита имеет возможность канонизировать свои вкусы, используя влияние на государственную власть. Все-таки не Газпром и не ФСБ составляют учебные программы. Сочинители текстовок для попсовых песен пока еще в хрестоматии не попадают.

Это и означает, что культура все-таки защищает себя, используя государственную власть.

А. С. Нет, по-моему, следует держаться подальше от власти. Власть и писатель, по крайней мере сейчас, должны быть отдалены. Писатель, как мы знаем, сам является властью. Именно поэтому писатель не только не должен ничего у власти просить, но и по мере сил должен отстраняться от ее смертельных объятий. Единственная позиция, которую, как мне кажется, может занимать ныне писатель, — это сдержанное и критическое отношение к власти как таковой. Политическая практика не для писателя: здесь слишком много сиюминутных соблазнов. Он не кесарь, он атлант, поддерживающий на плечах небесный свод. Может быть, это горбатый атлант, но и тяжесть достаточно велика. Оппозиция писателя — это оппозиция будущего. Это взгляд на власть из того пространства времени, которому еще только предстоит осуществиться. Взгляд из вечности на конкретную историческую эпоху. Звезды светят всем, правда, далеко не все обращают на них

внимание. Зато светят не одно тысячелетие, и ориентироваться по ним в океане жизни можно всегда: и в древнейшие времена, и сейчас, и в новом, еще только наступающем веке.

А. М. Я не думаю, что *взгляд писателя*, даже гения из гениев, — это взгляд из будущего. Это скорее взгляд из «всегдашнего». «Прикованный Прометей», «Ромео и Джульетта», «Дон Кихот», «Герой нашего времени», «Война и мир», «Казачьи», «Преступление и наказание», «Идиот», «Процесс», «Тихий Дон», «Посторонний» вряд ли говорят нам о чем-то, что еще только-только осуществляется, — они наполняют наше воображение мирами чрезвычайно сложными и глубокими и все-таки неизмеримо более цельными, постижимыми и яркими, чем те, которыми нас заваливает сумбурная реальность. В этом смысле литература не столько отражает действительность или пророчествует о будущем, сколько — как выражались в старину — творит идеалы. На власть она влияет лишь в том смысле, что формирует людей власти еще до того, как они «войдут в должность». Жуковский был воспитателем будущего государя — разве это принесло вред? Если из «общения с культурой» будущий государственный муж выносит понимание, что культуру надо уважать или хотя бы имитировать уважение, это уже колоссальный успех. Без помощи государственной власти ни Дон Кихот, ни Гамлет, ни Печорин, ни князь Мышкин, ни их творцы не дошли бы до нас, не стали путеводными звездами. Если бы власть не институционализировала лучшее в культуре при помощи памятников, юбилейных торжеств, хрестоматий, энциклопедий, учебных программ, улиц, названных именами великих, их скоро затащили бы клубы пыли, они затерялись бы среди фальшивых звезд, которыми нас стремятся одарить телевидение, амбициозные тусовки, желтая пресса (если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно). Раздумывая над отношениями литературы и власти, приходится повторять формулу, относящуюся ко всем устоявшимся, исторически сложившимся институтам: с властью опасно — без власти невозможно.



Литературная критика

Терпение бумаги

Ольга СЛАВНИКОВА

Призрак Лермонтова

Молодость — это недостаток, который проходит не так быстро, как принято думать. Во всяком случае, это верно по отношению к литературе. Звание «молодого писателя» прилипчиво; просто износить эту клейкую, пошитую еще в советское время литературную униформу не удастся почти никому. Она не стирается благодаря трудам, и даже весьма престижные лауреатства не способствуют переводу автора во взрослый разряд. Может быть, отмеченность премиями как раз и играет роль консерванта, фиксируя автора в определенной точке его карьеры. Так, лауреат Большого Букера Михаил Бутов рискует теперь навсегда остаться «молодым писателем, получившим Букеровскую премию», не говоря уже об антибукеровском дебютанте, уже вполне состоявшемся поэте Борисе Рыжем, чей «юный возраст» и бандитские повадки склоняют все, кому не лень: теперь, даже если Рыжий просто поскользнется и упадет, все равно будет считаться, что это он подрался с кем-то из собратьев по перу. Униформа «молодого писателя» — она с пропиткой: несмотря на то, что критик ее запросто прокусывает, в ней не очень-то провертишь дырку для награды, да и движения стеснены. Возможно, одна из причин аномалии в том, что в литературе существует ряд законсервированных фигур, относительно которых почти все писатели — молодые. Печально, что самым успешным «молодым» предстоит в один прекрасный (он же печальный) момент резко перейти в номенклатуру и сразу стать патриархами, миновав, таким образом, самый важный возраст ответственности за свои творческие результаты.

Собственно говоря, речь здесь не о дедовщине: она — явление неинтересное, где-то даже рутинное. Речь о возрасте писателя как о качественной характеристике производимого им художественного текста. Мои наблюдения, разумеется, небесспорны, поскольку субъективны; однако же литература общими усилиями уже настолько выведена за рамки каких-либо критериев, что субъективность — едва ли не единственный путь к тому, чтобы назвать вещи своими именами.

Начну с того, что, проработав некоторое время редактором отдела прозы журнала «Урал», я обнаружила, что рукопись — вещь медиумическая. Общаясь с нею, можно как бы вызвать призрак автора. Не важно, была ли рукопись принесена в редакцию или прислана по почте, относилась она к перспективным или представляла собой графоманию: у каждого текста имелась своего рода подкорка, где в утопленном виде хранились те сведения об авторе, которых он не сообщал в сопроводительном письме. Проще было, разумеется, с рукописями, принадлежавшими постоянно действующим уральским писателям, которых, работая в редакции, я постепенно узнавала лично. Эти папки буквально начинали говорить: через небольшое время копирования «в прозе» я уже могла по одному абзацу, не заглядывая в титульный лист, называть фамилию писавшего текст — так узнаешь человека по голосу, слышному из коридора.

Но голос автора, суфлирующий редактору где-то в глубине его измученного мозга, — только первый и необязательный этап установления медиумического кон-

такта: большинство привидений мерцает молча либо пользуется спиритическим блюдцем, и если Тень отца Гамлета излагает стихами свои разоблачения, то делает это исключительно для драматургических нужд. Как правило, призрак автора из рукописной толщи в виде белой голограммы, коктейля качеств, залитых в условный гуманоидный сосуд. Надо заметить, что необходимым для контакта подсознанием обладает только вымысел: личное письмо или строго документальная повесть в этом смысле так же плоски, как бумага, на которой они напечатаны. Создавая героя и его обстоятельства, автор пребывает в сложном колебательном движении между стремлением выплеснуть на бумагу нечто глубоко личное и стремлением замаскироваться: вот здесь-то и возникает феномен, во многих графоманских случаях более объемный, нежели сама изложенная в рассказе или повести житейская история.

Какие же личностные качества в первую очередь раскрывает нам нематериальное образование, условно называемое здесь призраком автора? В первую очередь это гендер. Его невозможно скрыть. У Владимира Набокова есть рассказ «Случай из жизни», единственный, насколько мне известно, написанный им от лица женщины, и единственный из всех рассказов классика по-настоящему неудачный. То же самое происходит, если дама пытается писать от лица мужчины: обычно в женском тексте «глаголы в длинной очереди к “л”» (феномен, увиденный Иосифом Бродским) ведут себя излишне беспокойно, будто боятся, что как раз перед ними кончится товар. Помню потрепанную, немало поездившую по редакциям рукопись, довольно бойко сработанную от мужского «я». Это «я» напоминало скафандр, в котором персонаж, кто бы он ни был, дышал не воздухом текста, но из своего баллона. Стоило главного героя превратить в главную героиню (кем он и являлся изначально), как мужская дружба бывших одноклассников, где необъяснимо благородный герой все спасал подлеца от него самого, превращалась в ординарнейший любовный треугольник, причем спасающее «я» так доставало в конце концов и «его», и «ее», что дело у них, похоже, действительно кончилось дракой.

Другое качество, которое мне всегда почему-то казалось самым острым шилом в мешке, относилось к возрасту автора: его я научилась определять по тексту с точностью плюс-минус три года. Что служило подсказкой? Возраст главных героев: в случае если действие происходило в условном «сейчас», к их годам для получения авторской цифры следовало приплюсовать примерное время работы над рукописью, если же сюжет разворачивался в прошлом, то в формулу добавлялось еще одно слагаемое — время, прошедшее с момента окончания действия в тексте до «наших дней». Также представлял интерес характер обиды на жизнь: у автора в возрасте «за сорок» обвиняемые, как правило, были более конкретны, чем у гения «за двадцать», — по той простой причине, что прототипы обидчиков успели реально наследить в реальной судьбе.

Спрашивается: если произведение талантливо, то какая разница, сколько лет автору? Да будь он хоть негром преклонных годов, чей призрак состоит из вещества, подобного густой сметане, — главное, чтобы русским владел и что-то хорошее на этом русском написал. Однако в действительности некая энергия, организующая текст, набирается, видоизменяется и утрачивается — и это связано, хотим мы того или не хотим, с возрастом автора. При этом писательский возраст может не вполне совпадать с возрастом физическим: тут есть своя интрига, связанная, скажем так, с более или менее выраженным стремлением писателя получать литературный дивиденд на ранее заработанный капитал. Психология рантье сильно отличается от психологии завоевателя — причем отличается в пределах одной персоны, что создает любопытную двойственность иных писательских стратегий. Если же говорить вообще, то имеют место явления поистине удивительные. Добровольная затяжная молодость в писательском деле выражается: а) в стремлении жить на дивиденд со всей вообще литературы, что воплощается уже в самом «позиционировании» себя как писателя; б) в непременном желании спихнуть кого-нибудь с корабля современности, равнодушие в этом смысле к так называемым традиционалистам; в) в решительном отмежевании от тех родов литературы, где по старинке признается гамбургский счет; г) в понимании Сети как механизма отмыwania текстов; д) в стирании граней между литературой и тусовкой. Витальность данной популяции во многом обеспечивается присутствием общего врага: крупных обломков советской литературной атлантиды. Для последних характерно: а) стремление еще раз написать то, что уже бы-

ло ими когда-то написано; б) понимание корабля современности как пришедшего за ними под флагом сказочной страны спасательного судна; в) тайное неравнодушие к порождаемой неприятелем литературной моде, попытки самолечения отдельными ее приемами; г) вера в своего читателя, сопряженная вера в духов, черт и домовых; д) требование продолжения банкета. Между этими двумя популяциями — черта. Как верно (хотя и по другому поводу) писал в «ЛГ» Лев Пирогов, «“между”... отличается тем, что никогда не бывает предметом». То есть черта демонстрирует нам отсутствие не «молодого», не «классика», а просто писателя, просто занятого своей работой, в результате которой его впоследствии причислят к олимпийцам — а может, и не причислят.

То есть на самом деле такие писатели в процессе присутствуют: Михаил Бутов, Алексей Варламов, Светлана Василенко, Марина Вишневецкая, Андрей Дмитриев, Олег Павлов, Ирина Полянская, Андрей Слаповский, Антон Уткин, — к этой устойчивой обойме можно добавить еще десятка полтора «условно молодых», как раз создающих и, собственно, уже написавших существенную часть своих будущих собраний сочинений. Но ощущение такое, будто сделанное ими «не считается». То есть «сорокалетних» исправно издают, они не обижены — по сравнению со многими другими — и вниманием критики. И все-таки взгляд на их творения — поверхностный, скользком. Мол, это начало пути, основное напишется потом, вот выйдут на пенсию... И такое отношение влияет, еще как влияет на саму работу молодых и перспективных: Антон Уткин, например, никак не демобилизуется из своих ВДВ, у ряда девушек, не буду называть фамилии, проскальзывают в прозе девчачьи интонации, маскирующие провалы структуры, которые можно было бы, не лукавя, нормально прописать. Да что кивать на других, будто сама не виляю на дорожку наименьшего сопротивления, думая: ладно, сойдет, *это я еще не главный свой роман пишу*, а так, примериваюсь. Воображаю, что за фантом является редактору из моей увесистой распечатки: белый и в белых пятнах, наподобие моли, увеличенной до размеров пальто.

А все-таки есть в литературе примеры, когда молодой писатель, не уповая (и правильно делая) на большие продвижения в зрелые годы, ничего, короче, не откладывая в долгий ящик, сразу создавал такое, что уже исключало всякие сомнения в принадлежности его к высоким классикам. Я имею в виду двадцатипятилетнего ровесника Бориса Рыжего, тоже очень неслабого русского поэта Михаила Лермонтова, написавшего «Героя нашего времени». Задумавшись о проблеме возраста писателя, я перечитала эту вещь внеисторично и крайне непочтительно, то есть как рукопись. Так, будто не было никаких школьных уроков лит-ры и лекций в университете. Очень захотелось увидеть текст *своими глазами*. И, может быть, понять, почему нынешние «молодые писатели» так долго зреют, набираются житейского и литературного опыта и только-только к тридцати начинают на что-то вполсилы замахиваться, а вот у этого автора все получилось скачком. Ну пусть талант, каких, положим, сейчас не наблюдается (хотя в измельчении писательской породы лично я глубоко сомневаюсь). Пусть литература в те времена только начинала заполнять российское пространство и была даже географически меньше почти не описанной, не тронутой пером империи. Это было бы слишком просто: одним избытием сырья и незанятостью писательских вакансий Лермонтова не объяснишь.

Собственно, логического объяснения и не получилось. Просто оказалось, что «Герой нашего времени» — совсем не та проза, которую я читала в школе. Ну абсолютно не та: герои другие, язык другой. В отличие от стихов Лермонтова М. Ю., которые стояли в памяти наизусть и сами себя заслоняли, проза помнилась в виде какой-то промокашки с неполными отпечатками цитат, пошедшими когда-то на сочинения, и теперь действительно возникла заново. Между прочим, она осветила довольно неожиданным светом современные вещи, которые я читала параллельно, а именно: «Long Distance, или Славянский акцент» Марины Палей, «Кровь» Анатолия Азольского и первую книгу стихов Бориса Рыжего «И все такое...», только что вышедшую в питерском Пушкинском фонде. Видимо, всякий литературный человек читает параллельно несколько произведений, и эти вроде бы случайные букеты порождают иногда неслучайные мысли, словно были заранее кем-то подобраны;

что же касается критика, то он постоянно крутит перед глазами калейдоскоп и наблюдает, как пересыпаются литературные стеклышки в граненом зеркале его ума, являя цветочки и звездочки будущих статей. Занятие это гипнотическое; в то же время выпадают иногда комбинации отрезвляющие, резкие. В этом смысле присутствие прозы Лермонтова по характеру воздействия оказалось сходно с нашатырем.

Честно говоря, я была заранее готова к тому, что фактура меня разочарует. Лучше, чем сам текст, я помнила «Предисловие к “Герою нашего времени”» Владимира Набокова, где было сказано: «Надо дать понять английскому читателю, что проза Лермонтова далека от изящества; она суха и однообразна, будучи инструментом в руках пылкого, невероятно даровитого, беспощадно откровенного, но явно неопытного молодого литератора». Поскольку Набоков Лермонтова перевел на английский язык, то, стало быть, знал весь текст «на ощупь»; однако суждение его оказалось мне даже излишне снисходительным. Уловив энергичный ритм работы текста (на то он и стихотворец), автор предался ему целиком и уже не особо заботился о наполнителе, забывая фразу чем ни попадя: чего стоят одни бархатные глаза княжны Мери, которые если и отличаются от черных, как у горной серны, глаз красавицы Бэлы, то разве меньшим количеством белил, употребленных на бельма слепого мальчика из «Тамани». В своем эссе Набоков говорил о том, что Лермонтов, хоть и был неплохим живописцем, в прозе не чувствовал оттенков цвета. И точно: весь Кавказ кажется у него выкрашенным, как забор, бесхитростной масляной краской, однако же до сих пор почему-то непросохшей, не утратившей резкого *свежего* запаха, от которого ломит в висках. Как у всякого молодого автора, у Лермонтова видно, где он пишет то, что вычитал в литературе, а где в его прозу прорывается собственный опыт. Последнее так бросается в глаза, что кажется выделенным особым шрифтом: например, то место, где говорится о ежедневно меняющемся дне опасных горных речек и о том, что нельзя, переезжая их в седле, глядеть на воду — кружится голова. Но литература, хоть и небольшая по сравнению с тем объемом, что мы имеем сегодня, однако же окружавшая автора со всех сторон, по большей части переводила его реальность на свой обтекаемый *дамский* язык. Сам Лермонтов, как видно, ощущал эту свою скованность — во всяком случае, он иронизировал в письме к М. А. Лопухиной: «Право, я до такой степени сам себе надоел, что, когда я ловлю себя на том, что люблюсь собственными мыслями, я стараюсь припомнить, где я вычитал их, и от этого нарочно ничего не читаю, чтобы не мыслить».

Что меня действительно поразило, так это контраст между юностью героев и их, хотя и во многом наигранной, но не по летам солидной повадкой. Печорину — 25, Грушницкому — всего 21 год, но ведут они себя как люди серьезного возраста, решительно ни под чьей опекой не состоящие. Это напомнило мне впечатления десятилетней давности, когда мои приятели, которым было еще далеко до выхода из комсомола, вдруг сделались бизнесменами: у них имелся склад, *частный*, с побитой мордой грузовик, пяток киосков на курьих ножках, а один из компании, которому максимум светило сделаться когда-нибудь начальником цеха, стал вдруг именоваться *генеральным директором* и ставить на бумаги собственную круглую печать, вдавливая ее в точности с тем же выражением покрасневшего лица, с каким бывало проталкивал в бутылку упорную пробку. Казалось, что, несмотря на всамделишность игрушек, включая товар, ребята просто играют в бизнес (после генеральной *поднялся* и даже немощно залез в политику, но это уже никого не удивило); точно так же создается ощущение, будто герои «Героя нашего времени» играют в те сюжеты, что представляет нам автор.

На самом деле и Грушницкий, и Печорин *скрывают возраст*, то есть не признают того, что их человеческий опыт далек от полноты. Грушницкий в этом смысле прост, как три рубля: взвивается на балу, когда Печорин замечает, что «...в мундире он еще моложавее». Не то главный герой: он есть то, что теперь называется «cool». Страдания ближнего, равно как и собственные, не производят на Печорина особого впечатления; эта поза слишком элегантна, чтобы в ней не чувствовалось шлифовки, но, видимо, она и отражает действительность. Хотя действительность может отражаться и напрямую, бесхитростно и без затей. «Недавно я узнал, что Печорин, возвращаясь из Персии, умер. Это известие меня очень обрадовало...», — сообщает безо всякой задней мысли герой-рассказчик, своего рода посредник между главным ге-

роем и автором. Тоже ничего любовь к ближнему; однако просто признать, что требования чувствительности, предъявляемые литературой, неисполнимы и неестественны, автор не может. Литературе он противопоставляет тоже литературу: рефлексии Печорина, которые, по словам Набокова, «...остаются неизменно привлекательными для читателей самых разных стран и эпох, особенно для молодежи».

Рефлексии эти, сколь бы ни были они эффектны и точны в смысле наблюдений над человеческой природой, основаны, однако, на иллюзии. Эта иллюзия — небывшее прошлое Печорина и даже не те «молодые годы», о которых вздыхает и над которыми язвит наш юный герой, а некая туманная пропасть между «молодостью» и настоящим временем, некая *ночь*, отделившая «сегодня» от «вчера» и пропустившая реальность через коридоры сновидений. Печорин и Грушницкий представляют собой два в разной степени неполных отпечатка личности автора. Грушницкий — это Печорин минус поэзия; не случайно эти двое сталкиваются на узкой дорожке, потому что если у поэта отнять его дарование, это будет не просто ущербная личность, а противоположность и враг самому себе.

У Грушницкого искусственная даль фальшива, тогда как у Печорина она условна; задача поэзии — так организовать небывшее, чтобы отодвинуть реальность туда, где она уже представляет собой изображение, и потом пропустить через призму. «Вот здесь я жил давным-давно — смотрел кино, пинал говно и пьяный выходил в окно», — пишет Борис Рыжий, и далее: «Молодость мне много обещала, было мне когда-то двадцать лет...» Неопределенность, не-количественность этих «давным-давно» и «когда-то» — едва ли не единственный для молодого автора способ раздвинуть свой континуум; за счет такого искусственного расширения парадоксальным образом расширяется и собственный авторский опыт. Удача или неудача произведения зависит здесь уже не столько от профессиональных умений писателя, сколько от «температуры плавления» взятого в работу вещества. Конечно, в колбе, где идет реакция, бывает много дыма, вспышек и прочей пиротехники (избыточность моих сравнений искусственного «нечто» — с колбой, призмой, со сновидением — напоминает притчу о слоне и трех слепых, что свидетельствует, быть может, о реальном присутствии там четвертого измерения); однако энергия либо есть, либо ее нет. Проблема молодого писателя в том, что, имея талант и больше ничего, он плохо эту энергию контролирует: так, почти каждое стихотворение Бориса Рыжего есть несчастный случай на производстве. В этом смысле гораздо безопаснее и как-то даже цивилизованнее работать от сети; собственно говоря, тусовка представляет собой систему трансформаторов, повышающих либо понижающих напряжение в подключенных приборах. Однако настоящий результат требует все-таки индивидуального риска: Лермонтов, наверно, потому и классик, что, будучи плохо оснащен технически, замахнулся не на что-нибудь, а на «наше время». Его Печорин имеет дело не с Казбичем, не с «водяным обществом» и не с шайкой драгунского капитана, но с некой целокупностью вещей. Печорин — это человек, весь мир загнавший в собственное прошлое; если внимательно перечесть «Героя нашего времени», можно обнаружить, что даже в реальном времени текста вчерашний день для главного героя значительнее дня сегодняшнего. Бешеная скачка за экипажем, который навсегда увозит бывшую возлюбленную, есть попытка прыгнуть на лошади в утраченное «вчера»; оттого, что Вера даже «дважды бывшая», она на недолгий миг преисполняется для Печорина такой пронзительной поэзии, что страстное желание увидеть *об раз* толкает его на безумство. На самом деле Печорин создан, чтобы терять; он делает все, чтобы потерять как можно больше, потому что только утраченное действительно и в полной мере принадлежит поэту. Лермонтов не договорился до того, чтобы сделать Печорина стихотворцем; поэзия, а не Персия могла бы стать для героя пространством его путешествия. Так, имея дело с целым миром, молодой писатель выходит с рогаткой против Голиафа; дело не в том, что средства его негодны, а в том, что они заведомо недостаточны. Однако именно этот контраст позволяет иному молодому быть «не хуже» писателя зрелого и мастеровитого. Забавно, что у Рыжего есть стихотворение «Почти элегия» как раз с таким криминально-рогаточным сюжетом, где поэт признается: «Под бережным прикрытием ливны я следствию не находил причины...» Беспричинность — еще одна характеристика неконтролируемого твор-

ческого выстрела. Предупреждая упреки, скажу, что я стасовала вместе Лермонтова и Рыжего не потому, что готова скрытно и за счет ресурса классики досрочно произвести Бориса в гении (хотя в глубине души надеюсь на хорошую для него перспективу). Речь идет о технических возможностях для молодого писателя сразу, без никаких причин, делать литературу. Стихи Бориса Рыжего всего лишь подтверждают, что такая возможность со времен Михаила Лермонтова не утрачена.

Собственно, речь идет об идее прогресса в искусстве в самом примитивном и линейном ее варианте. Вряд ли кто-то будет сегодня отстаивать ее сознательно — в открытом виде она до смешного уязвима; однако в коллективном подсознательном литературного сообщества она продолжает быть и цвести. Так, продвинутая постсоветская популяция молодых писателей стоит на том, что «новая» литература по определению прогрессивнее «старой» — последняя от одного присутствия «продвинутых» автоматически становится устаревшей. Поколение старших товарищей, внесших весомый вклад (их, за вычетом десятка-другого экстерриториальных персон, я бы назвала союзом обманутых вкладчиков русской литературы), верит в прогресс в пределах одной, отдельно взятой творческой биографии. То есть был литератор молодым — писал не очень, но подавал надежды; стал постарше, набрался жизненного опыта и мастерства — стал писать получше, а потом еще получше, а потом стал писать такое, на что уже начисляются сложные проценты. Последняя концепция прогресса менее артикулирована, зато (а может, и за счет того) *подразумевается* почти автоматически. На ней, в частности, основываются надежды, возлагаемые на литературных вундеркиндов: мол, если человек в тринадцать лет пишет приличные стихи, то к двадцати пяти он станет хорошим поэтом, а к шестидесяти, глядишь, и классиком. Несмотря на то, что надежды эти регулярно не сбываются, они на чем-то держатся. Идея линейного, *числового* биографического прогресса имеет между тем некую опасную протяженность «после запятой»: получается, что население литературного рая состоит из одних нобелевских лауреатов. Так любая фарсовая глупость имеет свойство оборачиваться вдруг печальной стороной: провожая литераторов в последний путь, должны ли мы вести учет потерь, объема которых не в силах осознать?

Однако в любом букете параллельного чтения найдутся примеры, опровергающие линейность. Так, долго молчавшая Марина Палей, которую по жизненному графику следует относить к «условно-молодым», показала мне писателем, уставшим от литературы. Ее «Сценарные имитации», публикуемые из номера в номер журналом «Новый мир», свидетельствуют о недоверии автора к тому способу писать, который прежде выражал ее художественные идеи, а теперь не выражает. Показывая читателю якобы экран, на котором ему демонстрируют якобы фильм, Палей имитирует то, что Виктор Пелевин в «Generation “П”» назвал «субъектом номер два», или «Номо Zapiens». Попытка, заимствуя средства у сопредельного вида искусства, более полно управлять читательским вниманием приводит, на мой взгляд, к обратному результату: текстовой коллаж теряет выразительность. Все абсурдные помещения с их компьютерными интерьерами и издали звонящими телефонами кажутся стертыми, много раз использованными, словно в этих шатких декорациях снимался не один малобюджетный сериал. Диалоги на смеси инглиша и рашена кажутся написанными именно ради изготовления этого специального коктейля: автор помешивает ложечкой, а осадок не растворяется. Правда, в иные моменты «фильм» продуцирует какое-то пронзительное и болезненное *настоящее время* человеческой судьбы; однако «субъекту номер два» не дают забыть, что это такая сложная литературная игра и что между ним и героем истории пребывают режиссер, оператор, сценарист — словом, целая призрачная команда персонажей-посредников, в которых на самом деле надобности не больше, чем у телеги в пятом колесе. Грустно говорить, но Марина Палей, будучи еще в неплохой литературной форме, все же несколько сдала. Что же касается Анатолия Азольского, то чтение романа «Кровь» еще раз убедило меня, что почтенный автор делает удивительно молодую прозу. Сама фраза Азольского, словно обутая в сапоги-скороходы, как нельзя лучше приспособлена для его авантурных сюжетов, и новый его роман, этот вывернутый наизнанку «подвиг разведчика», показывает, как можно вчистую обыграть советскую литературу на ее законной территории. Анатолий Азольский в прозе очень эффек-

тивен — такое впечатление, будто он, начиная новую вещь, забывает то, что уже написал: ему не жалко. Соответственно его ничто не держит, и нет необходимости в спецприемах, спецэффектах и прочих костылях.

Видимо, возраст писателя не есть категория паспортная. Все очень просто: ни в неопытной молодости, ни в годы зрелого мастерства писатель на самом деле не наживает средств, достаточных, чтобы выполнить творческую задачу. Ни жизненный опыт, ни профессиональные умения, ни изобретение нового приема, ни погружение в *иную* информационную стихию (правда, является ли Сеть таковой, еще большой вопрос) ничего никому не гарантируют. В Голиафовых масштабах двустволка мастера мало чем отличается от рогатки юниора; разделение на «молодых» и «классиков», основанное на разных, хотя и одинаково ложных концепциях прогресса в литературе, есть на самом деле попытка, отличая себя от других, какие-то гарантии получить. Может быть, Лермонтов, пребывая там, где нас пока что нет, знает тайну бесконечного писательского роста по прямой, но, как всякий призрак, вызванный для дачи показаний, предпочитает изъясняться загадками. Что до меня, то я — в дополнение к Букеру, Антибукеру и Аполлону Григорьеву — ввела бы еще одну литературную премию. Писатель-фантаст Олег Дивов в одном из своих романов придумал награду: Медаль За Наглость. Вот ее я бы и давала тем молодым писателям, которые хорошо умеют стрелять из рогатки.

А теперь я полностью привожу стихотворение Бориса Рыжего, где звучит та самая нота, что нужна мне для завершения разговора:

У памяти на самой кромке и на единственной ноге стоит
в ворованной дубленке Василий Кончев — Гончев, «Ге»! Он
потерял протез по пьянке, а с ним ботинок дорогой. Пьет
пиво из литровой банки, как будто в пиве есть покой. А я
протягиваю руку: уже хорош, давай сюда!

Я верю, мы живем по кругу, не умираем никогда. И оста-
ется, остается мне ждать, дыханье затая: вот он допьет и
улыбнется.

И повторится жизнь моя.



Владимир БЕРЕЗИН

СИМВОЛ ЖЕНЩИНЫ

Это будет разговор о литературе особого рода, литературе, что создает символы из живых людей. Особый род этой литературы — женский: речь о мемуарных книгах, написанных женщинами-звездами. Несмотря на прилагательное «мемуарные», эти книги — и впрямь литература, причем пользующаяся куда большим спросом, чем постмодернистские эксперименты.

Но это будет еще и разговор о символе женщины, который утверждается через эту литературу. Отставные актрисы и певицы пачками издают мемуары, наговоренные на магнитофонную пленку обработчикам, гораздо реже записанные ими, звездами, самостоятельно.

Сквозь множество редактур вырываются внезапно истинная интонация, подлинное выражение лица. Будто тонущий судорожно поднимает голову над водой. И исчезает.

Остается лишь символ.

Символ женщины, каким его понимает массовая культура, не имеет коннотаций ни с образом матери, ни супружества. Женщина, появляющаяся на обложке модного журнала, девушка в нижнем белье на обложке журнала мужского, красotka на придорожном плакате, чуть забрызганная грязью, — это женщина вообще. Она может жить по частям, то есть предьявлять ногу или грудь, но это не символ человека, а символ полового объекта.

Недаром бульварная пресса очень любит писать о том, что те самые звезды время от времени страхуют не свое тело целиком, а какие-либо его части. Ноги, грудь, волосы — таким образом отдельность частей приобретает юридическое подтверждение. Но и в сознании потребителей массовой культуры бюст или обнаженная нога существуют отдельно от звезды-символа.

Прическа превращается не только в символ знаменитости, но и в символ времени.

Интересно, что обложка женского любовного романа, ее идеальный вариант, создается по той же модели. Идеально выполненный заказ по оформлению такой обложки тяготеет именно к этой изобразительной стилистике женщины pin-up — женщины, превратившейся в символ для прикнопивания к стене. Существует красочная книжка Марка Габора «The Pin-up», в которой подробно рассказывается эта технология, разъясняется то, как изображение на обложке или постере становится знаком.

Женщина в массовой культуре напоминает рекламный плакат, в котором человек лишь подчеркивает уникальность вещи, а именно она, вещь, является центром замысла.

Неизбалованному отечественному читателю любовного романа раньше предлагалось в качестве обложки коллажи из каталогов одежды и журналов мод. Дело не только в авторском праве на рисунок и текст. (При лицензированной продаже авторских прав, между прочим, пакет текстов снабжается набором дискет с лицензированными же обложками.) В коллаже гибель индивидуальности, замещение ее функцией просто естественнее. И дело еще в эстетике — в журнале мод модель значит

меньше, чем платье, серьги важнее лица. Здесь, в каталоге одежды, вещь побеждает человека, который существует словно бы представленный за ней, на ее фоне. Персонажи на обложках совершенно необязательно должны соответствовать персонажам в тексте. Человек на обложке функционирует, подобно заднику в театре. Чем больше в символе движения, тем хуже.

Кумиру, как и модели на подиуме, раскрывать рот не следует. Говорящие символы так же страшны, как и говорящие статуи.

Впрочем, разговор об этом уводит нас в даль PR-технологий.

Вернемся к реальной истории, к образу реальной женщины с инициалами Б. Б. Кстати, так и называется книга, которую эта женщина написала. Это удачный пример, потому что это не только история превращения человека в символ, но и история кристаллизации символа в две всем известные буквы.

Несколько лет назад появились воспоминания Роже Вадима на русском языке. Кажется, теперь он единственный из бывших мужей Брижит Бардо, кто не подал на нее в суд за книгу ее мемуаров.

Перечислять всех, кто судится из-за книг, — занятие неблагодарное. Судебные иски во всем мире, включая Россию, стали неотъемлемой принадлежностью издательского дела, а зал суда — филиалом рекламной акции. Скандал всегда заставлял типографские машины крутиться быстрее.

Так вот, Роже Вадим написал: «Существует убеждение, будто я создал Брижит Бардо. Но именно потому, что она была никем не создана, ни ее родители, ни общество, ни профессия не смогли оказать воздействие на саму ее натуру. Она шокировала, обольщала, породила моду и в конце концов превратилась во всем мире в секс-символ. Но радостная, дерзкая, безгрешная нагота Брижит не столько волновала, сколько раздражала. Брижит не было никакой нужды раздеваться, чтобы шокировать...»

Сама Бардо в своей книге вторит ему: «Я была моложе, красивее, лучше сложена, умела двигаться и инстинктивно играла на своей естественности, которая с лихвой восполняла мои недостатки — лень и слишком вольные манеры».

Вольные манеры перестали пугать общество именно во времена молодости Б. Б., когда на штурм общественных норм побежали солдаты и матросы сексуальной революции.

Собственно, Бардо не была актрисой. Она была символом женщины, появляющимся в кадре.

И Б. Б. становилась блестящей актрисой в тот момент, когда она совпадала с той ролью, что ей предстояло играть.

А роль Б. Б. всегда была одна — роль женщины вообще. То есть она стала чем-то вроде киноманекенщицы, предъявляющей свое тело и непосредственное поведение.

Она предварила приход в массовую культуру манекенщиц и моделей. Драматургия и речь уже не были обязательными: слово уступило зрительному образу. Кстати, именно образ Бардо экспортировался в другие страны, из коих СССР не был исключением. Мы приняли моду высоких причесок, называвшихся по имени одной из героинь Б. Б. — «бабетта». Двойное «т» в названии для простоты опускалось, а в прически для увеличения объема вставлялись консервные банки.

Итак, Б. Б. практически не играла в кино, она в нем снималась.

Ее общественная деятельность выглядит куда более наигранной, чем фильмы. Какая-то суета вместе с ультраправыми, гипертрофированная любовь к животным, отдающая кликушеством.

Голова постаревшей Б. Б. внезапно вынырнула на гребне информационной волны в тот момент, когда бывшая кинозвезда написала будущему Президенту России о братьях наших меньших. Дескать, это все, что там у вас творится, — пустяки, лучше вот про животных расскажите.

Женщина, спасающая уток и живущая порознь с ребенком, в раннем детстве отданном на воспитание бабушке, вызывает недоумение. Можно недоумевать, почему история сына в мемуарах Б. Б. занимает меньше места, чем история ослика. Это недоумение неправомерно.

Мать — это другое амплуа.

Сама Б. Б. пишет: «Когда горничная уходит, потому что не знает, кого ей называть «месье», — это еще куда ни шло. Но если ребенок будет травмирован на всю жизнь тем, что его мать меняет любовников, как перчатки, в зависимости от погоды и настроения, от ссоры или случайной встречи, — это дело другое, гораздо серьезнее. Не зная, как быть, я дала согласие, фактически отказавшись от своего единственного ребенка и лишившись счастья, которое знает каждый, у кого есть дети».

Секс-символ — это слово-бутерброд. Слово загадочное. Скорее даже это не слово, а общественный миф. Он замещает живого человека абстракцией, которая позволяет домысливать происходящее после финальных кадров и ставить себя, зрителя, на место героя в воображаемом продолжении.

Поэтому такую абстракцию можно использовать многократно. Все-таки культура-то — массовая.

Есть такой мифологический сюжет, его, говорят, очень любил А. Н. Веселовский, глубокий знаток западноевропейской литературы и мирового фольклора.

Сюжет этот можно найти в «Декамероне» Боккаччо. История про то, как вавилонский султан отдает свою дочь за короля Алгавского. Принцессу Алатиэль с приданным сажают на корабль, который терпит крушение. Некий дворянин спасает ее и привозит в свой замок.

Алатиэль не знает языка и объясняется жестами. Дворянин напоил ее вином и «затеял любовные игры». Игры понравились, но дворянина убивает его брат и сам начинает жить с красавицей. Его убивают корабельщики и, не в силах поделить драгоценный приз, дерутся до смерти на ножах. Алатиэль попадает в опочивальню принца. Принц убивает герцога. У герцога женщину воруют. Она спит с господами и их слугами, она переходит из рук в руки, как фальшивый купон в рассказе Толстого.

Ей везде хорошо, потому что мужчины спят с ней и радуются ее телу. Она все так же существует без языка. Она вступает в любовные связи так же естественно, как ест и пьет.

Наконец, пройдя через множество постелей, она попадает по назначению — к королю Алгавскому. Про нее говорят, что все эти годы она провела в монастыре. Это почти правда — образ такой жизни беспорочен. Он естествен, как говорилось выше, будто еда и питье.

Рассказчик в заключение говорит: «От поцелуев уста не стареют, а, как луна, молодеют».

Последние слова — ключевые.

Несмотря на некоторую склочность, постоянно отмечаемую бульварной прессой, французский символ женщины остается беспорочен. Порок ей не свойствен, как, впрочем, не свойственна добродетель. Она — символ, очищенный от бытового восприятия.

Давным-давно мне говорили, что идеальный образ женщины в литературе создал Хемингуэй, придумав Брэт Эшли в своем романе «Фиеста». Говорили, что это произошло потому, что Хемингуэй ее не описывал, а рассказывал о том, что в леди Эшли видят другие люди: «...в закрытом джемпере, суконной юбке, остриженная, как мальчик, была необыкновенно хороша. С этого все и началось. Округлостью линий она напоминала корпус гоночной яхты, и шерстяной джемпер не скрывал ни единого изгиба».

Каждый из читателей видел в этом образе то, что хотел. Внешность леди Эшли менялась от читателя к читателю, но главным в ней все равно был характер, он-то всех и привлекал.

Однако пришло иное время, время зрительного ряда кино и телевидения. Литература начала переплавляться в сценарии, и в плавание по морю массовой культуры двинулись танкеры и лихтеровозы.

Б. Б. была тоже насквозь функциональна, как корабль. Но функцией ее стал символ. Массам понадобился символ женщины как сексуального объекта. Мэрилин Монро на эту роль не годилась, трагедия ее жизни не помещалась в символьные рамки. Монро была заведомо больше, чем просто объект.

А вот Бардо вошла в эту лакуну массакульты легко и точно. Она была естественна в море массакульты не как яхта, порождение рук человека, а как рыба — порождение самого моря.

Естественное образование — тем она и знаменита. По сию пору.

Но от символа лучше держаться подалше.

В своих воспоминаниях Б. Б. проговаривается восхитительными фразами — не смотря на редактуру. Она вскрикивает, сыплет восклицаниями. Все это в русском издании сохранено — может, именно благодаря редактору или хорошему переводу.

«Не могу же я спать одна!» — возмущается она в какой-то момент. Поэтому мужья и любовники менялись чаще, чем обожаемые козы и собаки.

Иногда, правда, псы ели барашков. Это не метафора, а реальная история.

Б. Б. посвящает ей печальный абзац.

Другой персонаж, отнюдь не мемуарный, которого звали Маленький Принц, предчувствуя такой оборот событий, хотел жить не с настоящим барашком, а с нарисованным, к тому же сидящим в ящичке. Таков был единственный путь гармонии между флорой и фауной, воображаемым и действительностью.

Мемуарная литература вообще опасное дело — в том смысле, что мешает имена и звания, путает придуманные поступки людей с подлинными. И в том смысле, что выволакивает барашка из ящичка, и всяк видит, толстый он или злой, слишком маленький или слишком старый. К тому же некоторые персонажи мемуаров, ставших художественным повествованием, обижаются.

Они идут в суд, ну и...

Об этом сказано выше.

Но вернемся к Брижит Бардо. Любовники и мужья заставляли страдать, они были временными, непрочными людьми. Ее раздражало отсутствие гармонии и то, что губы от поцелуев перестали обновляться.

Надо сказать, что естественная гармония в мире была утрачена в тот момент, когда было съедено яблоко. Это история известная.

Яблоко вручила мужчине символическая женщина. Имя ее знакомо всем и тоже стало символичным. Отчества у этой женщины не было.

Отчество Брижит Бардо можно сконструировать, но это будет неестественно и не нужно, потому что весь мир и она сама пользуются инициалами, больше похожи на логотип. Символ самой Брижит Бардо.

Нас это не пугает. Нам вообще к аббревиатурам не привыкать. Большинство из нас родились в стране на четыре буквы, а уж на Б. Б. у нас есть, скажем, Б. Г.



Изрекший: «...Квинтер, син»

ОПЫТ ПОРТРЕТА, СОСТАВЛЕННОГО ПО МАТЕРИАЛАМ
КНИГИ «ДЕТСКИЙ ПОЭТИЧЕСКИЙ ФОЛЬКЛОР. АНТОЛОГИЯ»

Среди многих исторических тайн не осталось ни одной неразвенчанной. Эта, может быть, самая последняя, и притом нет каких бы то ни было доказательств, верны ли мои догадки.

Есть десяток разрозненных свидетельств, отчасти выговоренных столь высоким научным языком, что сказанное почти не доходит до сознания, отчасти искаженных ужасом и потому похожих на гортанный громкий крик.

Итак, доказательства отсутствуют, и потому верить моим догадкам либо отвергать их — личное дело каждого.

Меж тем *они* живут рядом. Повсеместно. Всюду.

О том, откуда *они* взялись, сказать трудно. Зато можно догадаться, как распространялись по свету. Незаметные, казалось, движения иногда сливались, принимали вид всплесков истории.

Хроники зафиксировали эти всплески, но истолковали в меру пристойно. Так отразили они некое движение, названное крестовым походом детей. И объяснили, что, прельщенные посулами, полуголодные и босые, ребячьи толпы потянулись дорогами крестоносцев куда-то туда, в иные страны, ища неизвестно чего и неизвестно чего ожидая. Большинство их погибло в пути, а тех, кто добрался, истребили иноверцы.

В рассказах этих все ложно, кроме самого названия. На самом деле, *они* вовсе не гибли и тем более не были истреблены. *Они* истребляли сами, кого могли одолеть. Иногда уничтожали целые народы и, принимая название народа, сами занимали его место. Иногда, если противник оказывался чересчур силен, после жестокой и недолгой борьбы *они* делали вид, будто смирились, растворялись в противнике, жили тут же, исполняя чужие установления и не нарушая чужие обычаи, но пожирали народ изнутри.

Отличить их трудно, и вовсе не потому, что *они* неприметны. Трудно, потому что вид *их* примелькался. Лишь взглядевшись заново, почувствуешь, кто стоит перед тобой. Потому я и предпринял попытку нарисовать *их* портрет.

Вот глаза — вечный символ духовности:

Под дугам, дугам
Ходят яблоки с кругам.

Вот нос, привычно обозначающий телесность:

У чурки две печурки.

Вот язык, должный бы нести слово, но чаще несущий молчание или дикий лепет:

Доска лежит на болоте,
Не сохнет, не гниет,
И ржавчина не берет.

Все это — лицо, а ниже обтянутый материалом каркас:

Алексей Божий,
Обшитый кожей.

Упоминаемые тут имена не так уж и важны, ибо их множество, разноименных и одинаковых, первобытно механистических, неуклюжих, безжизненных, а потому и лишенных смерти.

Андрей-воробей
В озере купался,
Руки-ноги утонули,
А живот остался.

Как это вышло? А вышло из-за того, что конечности тяжки, по крайней мере ноги — ведь из металла («кую, кую ножки»¹), а чрево — полое и пустое («Нинка-крынка», «Томка-котомка»).

Двигается это создание по земле:

Сердце бьется,
Нос трясется,
Глаза выпрыгнуть хотят;
Ноги тонки,
Бока звонки,
Бом, бом, бом!

Двигается и порою бормочет. Невнятно, и о чем, ведомо только ему подобным.

Янзы, дванзы,
тринзы, волынзы,
пята, лата,
шухтер, бухтер,
квинтер, син.

Голем? Вполне возможно². Уж верно, нежить, что подчеркнуто: «Ах ты Федька-боббк!»

От таких следует зачураться, отпугнуть их, противопоставив чего пострашней. Коза рогатая — вроде бы не опасный зверь, почему же ее призыва-

¹ Случаются и вариации:

Анна-банна,
Нога деревянна,
Блин толстой,
Погоняй, не стой (с. 295, № 1031).

² Некоторые черты и действия определенно соотносятся с тем, что описывают специалисты: «Согласно рецептам, наиболее популярным в эпоху «практической каббалы» (начало нового времени), чтобы сделать Голема, надо вылепить из красной глины человеческую фигурку, имитируя, таким образом, действия бога; фигура эта должна иметь рост 10-летнего ребенка. Оживляется она либо именем бога, либо словом «жизнь», написанным на ее лбу; однако Голем неспособен к речи и не обладает человеческой душой... С другой стороны, он необычайно быстро растет и скоро достигает исполинского роста и нечеловеческой мощи», — сказано в специальном пособии (Мифологический словарь. М., «Советская энциклопедия», 1991). Особое ли ответвление это «их», фольклорное ли отражение — раскроем время.

ют на помощь, ограждаясь от големоподобных? А почему, защищаясь от сглаза, строят пальцами «рожки»?

Не спасешься — конец. Смерть хоть человеку, хоть животному. Зря ли повадки у созданий мясницкие, лекарские, зря ли они наслаждаются разрушением?

Головы роняем,
Хвосты задираем,
Глаза ковыряем.

Глаза! Вечный символ духовности...³

P. S.

Я хотел предупредить, ибо народ этот, исподволь выросши, способен поглотить все другие народы. Я хотел нарисовать портрет, чтобы, увидев возле себя какого-нибудь из них, их можно было сразу узнать.

Какая разница, чьи слова использованы в этом опыте портрета, «свои» либо «чужие»? Сказанное взрослыми, которые и ублажают, и запугивают сразу, лепеча по-детски, не отделить от сказанного детьми. Колыбельная переходит в запляску, в приговорку, в припевку.

И кто сложил этих големов, какой рабби Лев пустил их в мир, начертав особое заклинание? Мы? Тогда чьи же лица отражаются в сказанном, словно в зеркале:

(Поля стеклянны,
Межи деревянны)?

Тут и обжигает ужас.
Неужто наши?

ЧЕЛОВЕК ЭПОХИ МОСКВШВЕЯ



³ Дальнейшее представить можно лишь в кошмарных снах и мистических видениях. Некоторые смогли и мучились потом всю жизнь: «Повсюду тянулись деревянные шпалеры, увитые сложными сплетениями вен — очевидно, искусственно сращенных; густая темная кровь пульсировала в них.

Жутко мерцали грозди бесчисленных глазных яблок, растущие вперемежку с какими-то отвратительными, похожими на малину наростами; когда я проходил мимо, они провожали меня настороженным взглядом. Глаза, большие и маленькие, всех цветов и оттенков. С чистой, ясной радужной оболочкой, и рядом — водянисто-голубой лошадиный глаз, с мертвым, направленным вертикально вверх взглядом» (Густав Майринк. Кабинет восковых фигур. СПб., «Тerra incognita», 1992, с. 236).

Они сделали больше, чем уничтожили автора этого фрагмента. Распространили слухи, ославили, назвав его сочинения «черной фантастикой». И к предупреждениям его все относились, словно к пустому вымыслу.

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

Подписные индексы нашего журнала в каталоге Агентства «Роспечать»:

для Российской Федерации — **73293**;

для стран СНГ — **79209**.

Во втором полугодии 2000 года каталожная цена на один месяц:

для подписчиков Российской Федерации — 36 рублей;

для подписчиков стран СНГ — 41 рубль

плюс стоимость доставки.

В редакции можно оформить подписку на «Октябрь» по льготной цене и приобрести отдельные номера. Выдача и продажа журналов производятся ежедневно с 12 до 17.30, кроме субботы и воскресенья. Справки по тел. 214-31-23.

В розницу наш журнал можно приобрести в московских книжных магазинах:

«Ad marginem» — 1-й Новокузнецкий пер., 5/7;

«Библио-Глобус» — Мясницкая, 6;

«Гилея» — Б. Садовая, 4;

Литературный клуб «Графоман» — 1-й Крутицкий пер., 3;

Книжная лавка при Литературном институте им. М. Горького — Тверской б-р, 25;

Книжно-нотный салон «Летний сад» — Б. Никитская, 46;

«Мир печати» — 2-я Тверская-Ямская, 54;

ЗАО «Согласие» — ул. Бахрушина, 28;

«Эйдос» — Чистый пер., 6.

Распространением журнала «Октябрь» за рубежом занимаются:

американская фирма «Ист Вью Паббликейшенс» (East View Publications, Inc. 3020 Harbor Lane North Minneapolis, MN 55447 USA. Tel. (612) 550-0961. Fax. (612) 559-2931. В Москве тел. (095) 777-65-58, факс (095) 318-08-81);

государственная внешнеторговая фирма «Наука-экспорт» Академцентра «Наука» Российской академии наук (State Foreign Trade Company «NAUKA-EXPORT» of «NAUKA» Akademizdatcentre of the Russian Academy of Sciences. 90, ul. Profsojuznaja, Moscow 117864, Russia. Telefax (095) 334-74-79, (095) 334-71-40). E-mail: nauka @ naukae. msk. ru

Читайте в следующем номере:

СЕРГЕЙ ШЕРСТЮК

ДНЕВНИК ПОСЛЕДНЕГО ГОДА

В генеральской семье, жившей в Москве на улице Горького, в 1994 году умер генерал; через три года погибает в огне его невестка, Елена Майорова, прима ефремовского МХАТа, а еще девять месяцев спустя умирает ее муж, известный художник Сергей Шерстюк...

Все, к чему ни прикасался Сергей Шерстюк, либо превращалось в дневник, либо неудержимо стремилось к этому — чтобы внутри продолжить мутацию. Будучи офицером запаса, историком искусства по образованию, автором нескольких нетрадиционных романов, лидером московской школы художников-гиперреалистов, драматургом и постановщиком своеобразного созданного им “театра жизни”, Артистом в широком смысле и весьма нетривиальным интеллектуалом, он все же в первую голову являлся многоликим автором собственных дневников.

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
*До конца года «Октябрь»
 предполагает опубликовать:*

Анатолий АНАНЬЕВ. Призвание Рюриковичей, или Тысячелетняя загадка России. Книга третья.

Алексей ВАРЛАМОВ. Роман.

Николай КЛИМОНТОВИЧ. Далее везде. Книга прозы.

Нонна МОРДЮКОВА. Записки актрисы.

Юнна МОРИЦ. Книга «Рассказы о чудесном».

Стихи.

Ирина МУРАВЬЕВА. Дневник Натальи. Повесть.

Анатолий НАЙМАН. Роман. Стихи.

Юрий ОЛЕША. «Прости меня, Суок, что значит вся жизнь». Письма Ю. Олеши к жене.

Владислав ОТРОШЕНКО. Новочеркасские рассказы.

Олег ПАВЛОВ. В безбожных переулках. Роман.

Рассказы и статьи из новой книги.

Людмила ПЕТРУШЕВСКАЯ. Рассказы, сказки.

Евгений ПОПОВ. Повесть. Рассказы.

Михаил РОЩИН. Рассказы.

Павел САНАЕВ. Детский мир. Роман.

Ольга СЛАВНИКОВА. Бессмертный. Повесть.

Борис ХАЗАНОВ. Корсар. Повесть.

Сергей ЮРСКИЙ. Продолжение новой книги.

А также новые произведения Петра АЛЕШКОВСКОГО, Юрия БУЙДЫ, Игоря ВОЛГИНА, Александра ВОЛОДИНА, Фридриха ГОРЕНШТЕЙНА, Нины ГОРЛАНОВОЙ, Анастасии ГОСТЕВОЙ, Владимира КАНТОРА, Анатолия КИМА, Михаила ЛЕВИТИНА, Владимира МАКАНИНА, Афанасия МАМЕДОВА, Александра МЕЛИХОВА, Лилии ПАВЛОВОЙ, Григория ПЕТРОВА, Ирины ПОЛЯНСКОЙ, Игоря ПОМЕРАНЦЕВА, Антона УТКИНА, Леонида ФИЛАТОВА, Александра ХУРГИНА, Евгения ШКЛОВСКОГО, Асара ЭППЕЛЯ и др.

Постоянные рубрики ведут известные критики Ольга СЛАВНИКОВА, Кирилл КОБРИН, Владимир БЕРЕЗИН, Евгений ПЕРЕМЫШЛЕВ, писатели Александр МЕЛИХОВ и Андрей СТОЛЯРОВ.